

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

1 2001

2001

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

2001

ЯНВАРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Олег ПАВЛОВ.
В безбожных переулках 3
- Анатолий НАЙМАН.
Кратер. Стихи 55

Галерея

- Ирина НИКОЛАЕВА.
**Два человека под одной кожаной обложкой. Беседа
с Давидом Маркишем** 60
- Давид МАРКИШ.
**Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя
Исаака Бабеля** 67

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Владимир КАНТОР.
Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталитаризма 119

Северное измерение

- Валерий ПИСИГИН.
Письма с Чукотки 135

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ХАЗАНОВ.
Критик. Критика. Литература 175

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Псевдонимы и псевдонимки 180

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Слово о Хаджи-Мурате 186

Титульный лист

Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ 189

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

***Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
853 экземпляра журнала.***

***Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.***

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.11.2000. Подписано к печати 19.12.2000. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 6370 экз. Заказ № 3031. Цена 39 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

В безбожных переулках

Киевский дедушка

В детстве я любил «брежнева» — лет с пяти умел узнавать его изображение на экране телевизора, чувствуя, что это важный для всех человек. Откуда он являлся и даже кем был, толком я не понимал, но если впускался в комнату, где у окна в углу возвышался цветной телевизор, когда дедушка смотрел и слушал на сон грядущий программу «Время», то ожидал всегда лишь его возникновения. Телевизор включался один раз в сутки, как этого хотел дедушка. Он отдыхал, сидя в кресле у журнального столика, откуда светила лампа, и парил ноги. В комнате плавал мягкий полумрак: он не любил яркий электрический свет. На лице светились «окуляры» — очки, что увеличивали его глаза, как лупы, и отражали в полумраке экран. Телевизор светился всеми цветами радуги, похожий на окно в ушедший день.

Что делал днем дедушка, я не знал. То есть он делал одно и то же непонятное — ходил. С утра по красным и прямым, будто его генеральские лампы, ковровым дорожкам коридора здесь же, в квартире, пока не уставал. А еще нахаживал многие километры по аллеям парка. Возвращался к обеду, принимал пищу, отправлялся на покой в свою комнату. Дремал, пробуждался второй уж раз на дню и до ужина опять отправлялся на пешую прогулку по аллеям.

Он оставался дома, если шел дождь, но и тогда всё равно облачался в костюм, надевал шляпу и расхаживал по коридору в хмуром ожидании, с зонтиком в руках. Если дождливым был весь день, он менялся в настроении так, будто простужался и заболел. Удалялся в комнату, куда можно было заходить только бабушке, ложился на диван, и было слышно сквозь стенку, как диван стонет да скрипит, потому что дедушка не находит себе места: то встает, то ложится, а если лежит, ворочается.

Прожитый с бодростью и со здоровьем день настраивал дедушку на самый мирный лад. Программу «Время», наверное, смотрел он ради ведущих, потому что ласково здоровался с ними, называя запросто по именам, когда появлялись на экране. Бабушка хлопотала у его ног, то подливая в таз погорячей, то холодной, если жгло. Потом усаживалась на край дивана и всё забывала, начиная то охать, то усмехаться, слушая новости. Стоило диктору или дикторше произнести слова «Леонид Ильич Брежнев», как дед восклицал: «От губошлеп! Развалил, понимаешь, партию, допустил, понимаешь...» «Ну что ты брешешь? Что ты брешешь? И охота тебе брехать?» — подавала голос бабка. «Эх, вы, сани, мои сани, сани новые мои! — смеялся дед, чтобы позлить ее. — Много знаете вы сами...» «Уж знаю, Ваня, сам-ка ты лучше помолчи». Когда в телевизоре всплывало бровастое с массивным скошенным подбородком лицо, дедушка поневоле замолкал, а потом беззлобно щерился и цедил: «Ну, здравствуй, Лёня...»

Я понимал, что он не любит «брежнева», и слушал эти разговоры с ощущением тайной власти своей над дедом. Но меня пугали, умирляли не Брежневым,

а каким-то дедом Бабаем. Бабая оживил мой дедушка — «киевский», как я всегда про него рассказывал, когда воскрешал в памяти: «Летом я был у киевского дедушки», «Киевский дедушка мне подарил»... Киевский он был потому, что жил в Киеве, на улице Шамрыло.

Дедушка Ваня, он же «генерал Иван Яковлевич Колодин», как величал сам себя, когда говорил по важным делам с трубкой телефона, которую мне также под страхом, что придет за мной Бабай, запрещалось отчего-то брать в руки. Дедушка, что грозил непрестанно его пришествием, не был в силах испросить прощения у Бабая за мои проступки. Деду был известен каждый мой шаг и все поступки, которые я совершал, но тотчас о том же узнавал и Бабай. Жил он, Бабай, всюду, где запрещено было гулять. В темном, сыром подвале, куда вводила лестница на дне подъезда — в бомбоубежище. На аллеях, в овражках и перелесках или у прудов парка. Как и все дворовые ребята, я все же бегал тайком через улицу, где трусили яблони в заброшенном саду, что окружал единственный во всем парке тоже заброшенный, большой каменный дом. Или, если хватало храбрости, отправлялся совсем далеко — туда, где жили на деревьях белки, и приносил для них яблоки. Но только прибегал я домой, стараясь даже виду не показать, как выглядывал из-за портьеры дедушка и всё уж знал. «Я же тебе говорил, не ходи со двора, не бери чужих яблок... — вздыхал дедушка. — Всё. Идет, идет за тобой... Пропал ты, Олеша... А я ж тебе говорил!»

Бабай жил на свете этом лишь по мою душу. Только за мною должен был он однажды прийти и забрать к себе, в одинокое свое тоскливое царство. Зная, за что такое наказание, я редко когда успевал подумать о нем, нарушая дедушкины запреты, зато в ожидании наказания страх овладевал душой до того, что я в слезах молил дедушку не отдавать меня Бабаю. Дед всегда охотно соглашался спрятать меня и командовал залезть под огромную двухспальную кровать в одной из комнат, под которой после лежал я не один час, если удавалось ему все это проделать втайне от бабушки. В другой раз он говорил с Бабаём обо мне по телефону, сообщая тому, что я уехал домой в Москву, а за это несколько дней сидел я послушно в квартире и не просился гулять. Или отправлял опять же в комнату, сидеть в ней тихо, а потом заявлялся, когда был я уже ни жив ни мертв, и сообщал, что Бабай на этот раз не пришел.

В ожидании этого прихода я прощался с жизнью, не в силах осознать иначе той вечности разлуки, когда навсегда теряешь свой дом, своих родных, воображая пустое запертое жилище Бабая, где нету ничего, кроме, быть может, его собственной лежанки, и куда дед этот, у которого ничего больше в жизни не было, даже своих внуков, утаскивал и до меня многих и многих грешных несчастных детей. Дедушка рассказывал, что детей, которые попадали к Бабаю, потом уж не могли отыскать и спасти, а сам Бабай никого никогда не прощал: пока ты хорошо работал для него, во всем ему подчинялся, он оставлял тебя жить, а если снова не слушался или плохо делал, что он приказывал, то заживо съедал. И тогда наступал черед следующего. То есть вот и мой давно наступил черед. Со мной Бабай долго ждал и долго жил один, без прислуги, отчего с каждым новым днем делался голодней и злей... Бывало, напуганный дедом, лежа в дальней комнате под диваном в ожидании прихода Бабая и слыша, как дедушка бреется или ходит на кухню узнать про обед, я не понимал: почему же не горюет он, что Бабай идет за мной?

Потом, когда он же оказывался моим спасителем, все эти мысли улетучивались и я любил дедушку больше всех людей на свете. Но при мысли о Бабае в моем воображении рисовался не иначе как родной дед: каменнолицый, бровастый, громко хохочущий да всеильный — такой всеильный, что все милиционеры Киева улыбались и низко кланялись ему. Я же знал одно всеильное слово, которое даже на дедушку имело действие, непонятное мне,

но самое надежное, стоило только произнести: «А я про тебя брежневу скажу...» Дедушка пристально, чуть презрительно глядел на меня как на чужого, однако больше не повторял того, чего мне не хотелось и на что обещал я пожаловаться «брежневу», обходя, бывало, целый день, как вредную, кусачую собачонку.

Они были тоже очень похожи, «брежнев» и дедушка, почти как одно лицо, только дедушка был поздоровее, сухощавей и никогда не чавкал. Дедушкины фотографии тоже печатали в газетах, у него было так же много орденов, и читал он в таких же точно очках с тонкой золоченой оправой по бумажке на митингах, где я стоял подле него, только ему и видимый под огромной темной трибуной. Но дедушка думал только о себе, а «брежнев» обо всех, и был дедушка не такой добрый, да к тому ж чувствовал я, что «брежнев» куда как главнее моего дедушки — главнее генерала и, наверно, всесильнее и важнее Бабая.

Когда спускался я гулять во двор и протискивался мимо черной пустоты под лестницей, что вводила глубоко в подвал и где мог подстергать за непослушание дед Бабай, то, бывало, набирался мужества да отчаяния и орал в ту пустоту: «Брррежнев!» И мигом убежал, думая, что оглушил, обезоружил, а возможно, даже и убил этого Бабая, каменноголица да бровастого, который хочет меня унести навечно к себе в полный тьмы да смертной вони подвал.

Дедушка, конечно, и не думал, что, страшая меня этим Бабаем, пугал почти самим собой. Самый ужас был, когда он наряжался и гремел орденами; такую золотую одежду я видел только у «брежнева» и своего дедушки — всю светло-золотистую, с золотыми шитыми блямбами на плечах и золотыми пуговицами. Одевала его как маленького в эту броню из орденов бабушка — так любовно и нежно, что даже обычная пыль, поднятая в воздухе долго хранившимся в шкафу мундиром, светилась в лучах этого ее любования золотцем и осеняла деда, была ему родной. Облаченный в мундир, дед стоял посреди комнаты, на узорном ковре, утопая по щиколотку в его голубовато-серой дымке, и дожидался, когда будут поданы ботинки — «чоботы», как называл всю обувь, любя давать своим вещам такие простецкие юридические названия. Он давно ничего не умел делать сам или боялся делать, в страхе за свое здоровье, так что даже разувала и обувала его бабушка. Без ботинок он не позволял себе ступить и шагу, хотя и по ковру, — боялся простудиться. И сердился, когда бабка, не начистив их еще с вечера, начинала чистить обувку у него на глазах — плевала в щетку и всеми силами душевными, эдак угрюмо, зловеще, погружалась в грязную работу, заставляя дедушку киснуть да уставать. «Са-аня! Са-аня!» — звал он жестоко, но и жалобно, а то давал указание лично мне, хоть все мы находились у него на глазах: «Олеша, позови бабушку, что-то она там не справляется, скажи — дедушка уже ждет».

Я бросался исполнять и в три шага наскакивал на бабушку, которая от капризов деда уже теряла терпение: «Ну, что тебе еще надо? Вот сам чисть свои ботинки, а я не буду!» Дедушка пугливо и покорно замолкал. Бабушкино мучнистое лицо украшал шрам из гуталина, делая его каким-то разбойничьим. Она пыхла, ругалась про себя, никого не замечая вокруг. Дед очень скоро оживал и снова думал только о себе, поучая меня вместо бабки для равновесия и здоровья мешавшихся в его душе чувств: «Олеша, ну ч-то ты, ч-то ходишь?.. Иди-ка на балкон, подыши воздухом, тебе это полезно будет для здоровья...»

Но через минуту он успевал вспомнить, что на балконе в сундуке береглись его рыболовные крючки, лески да грузила, и осеняла его мысль, что я могу туда залезть. А подтихую в ту самую минуту я и вправду уже запускал ручонку в дедовский заветный сундук.

И вот слышалось нервное, капризное: «Олеша, внучек, уйди с балкона, там дует! Уйди, а то простынешь! Саня, скажи Олеше, ч-тоб он там не ходил...» Эту,

родом из крестьян, жадноватую жилку всегда окутывала, прятала в деде своим жирком забота, но даже в самых малых годах я понимал, что дед не заботится обо мне, а жалеет, боится за лески свои да крючки.

Дедова жадность обижала меня, и я плакался, покидая укрытие балкона: «Жалеешь, дедушка, крючков, а их вон как много...» «Нет, не жалею, — сам обижался дед и уже упрявился: — Ты, Олеша, не знаешь, какие крючки бывают острые, какие они опасные... Спроси вон у бабушки. Саня, скажи ему...» «Да брешет он всё», — запросто вступала та в разговор, хотя была еще большей эконожкой, чем дед, который все деньги отдавал ей на руки до копейки, отчего, верно, и могла так развиться у него, у генерала, эта жадность по каждому пустячку, по копеечным крючкам. «Ты, Олеша, ему не верь, не верь... Это ему жалко. Жадный он! — И с охотой, не иначе обиженная давеча его допросами, куда она столько потратила, произносила пугающий деда, торжественный приговор: — Тьфу ты, черт не нашего бога, про всех, про всех ведь думаешь, что у тебя своруют. Даже на внуков родных! Я те вот что скажу — вот она, зараза эта, жадность, тебя и погубит! Вот ничто, а жадность — так точно!»

Дедушка жалел расставаться с тем, что нажил, он упрямо не ждал от жизни ничего хорошего, да и от людей. Боялся, что самому не хватит, даже крючков. Был мнителен, терпеть не мог одалживаться, а еще крепче — давать займы, не уважая тех людей, что просили. Я всегда что-то просил, отчего ему не нравилось гулять со мной, а мне не нравилось ходить с ним на прогулки по сырому, мрачному парку (он назывался в народе «хрущевским», потому что и парковые аллеи, и пруды, и сад — все было устроено когда-то для Хрущёва, вокруг его дачи, где после него никто уже не жил, хоть сам белый каменный дом, казалось, очень старинный, и стоял забыто в парке культуры и отдыха на том же месте) или ездить в наш домик на Трухановом острове.

Этот домик дед устроил для человека на днепровской рыбалке. Это была деревянная железнодорожная будка, в которой умещалось только две панцирных кровати. Так как в будке был склад его спиннингов и всей рыбацкой утвари, дощатые стены укрепляла снаружи кирпичная кладка, а три окошка наглухо задраивали щиты. Дедушка опасался, что домик обворуют, но его только затапливало каждую весну, когда растекалась по острову днепровская вода. От этого ли, но в домике всегда было прохладно и пахло речной сыростью.

Мы ездили в домик без дедушки, а дед отправлялся рыбачить на Труханов один, всегда с ночевкой. На рыбалку с дедушкой я ходил всего раз, после чего никогда его больше об этом не просил. Сборы начинались с вечера: перед дедовой рыбалкой бабушка распаривала геркулесовую кашу и готовила еще одну особенную еду для рыб, ни на что не похожую по вкусу, — сам я видел, что варила она горох. Из гороха получалось тесто, в него бабушка втирала мед. Эта еда выходила такой вкусной, что я просиживал на кухне в ожидании, когда бабушка разрешит урвать и съесть от еще не остывшего теста щепотку-другую. В то утро дед поднял меня так рано, что даже бабушка еще спала. Мы ехали в пустом трамвае по брусчатым киевским горкам. Город заливало солнце. Дед всю дорогу молчал, а на Труханове сделался ласковым, потому что вместо обещанной рыбалки заготовил на весь день для меня и себя работку: обложить домик смесью цемента с молотым кирпичом, чтоб еще утяжелить его и не дать воде проникать под стены. Не желая отстраивать пусть и небольшой, но каменный дом, который, уж точно, никуда не уплывет, держась на фундаменте, и где всем бы хватило места, он куда больше потратился на всяческие укрепления со всех сторон этой дощатой, доставшейся ему даром коробки.

Кирпич заранее накрошил работник и свалил кучей у домика; он же, наверное, завез и цемент. Делать укрепление дедушка почему-то ему не доверил. На

земле этого мужика, что жил да работал на острове, и стоял наш домик — на лу-гу, где возвышались огромные копны сена, похожие в моем воображении на слонов из зоопарка. Хозяином их также был угрюмый, молчаливый дедов работник. Не знаю, почему он отдавал деду часть своей земли, получал плату за свою работу или нет, и не знаю, что же их свело. Завезти цемент, кирпич, помочь во всем могли бы и два сына, но дедушка никогда ни о чем их не просил, предпочитая иметь дело со своим странным работником, что являлся послушно по первому его зову. Сам же он звал мужика за глаза «конюхом» и высказывался, что «много водки жрет этот дядя». О пьяницах всегда говорил с грубостью, хоть сам сделался трезвенником, когда вышел в отставку.

Меня водили на конюшню — по дороге за нашим домиком, я видел коней. Было непонятно, почему эти дышащие силой исполины подчиняются невзрачным людям, похожим в сравнении с ними разве что на ящериц. Их глаза, больше человеческих, глядели никуда. Огромные лошади порой паслись прямо в дубраве за калиткой: стреноженные, они тяжело прыгали меж деревьев, выискивая себе корм, или стояли и не двигались, созерцая друг дружку. Взгляд мой завораживали путы — толстые канаты, навязанные узлами, что должны были, наверное, доставлять им только страдания. Этого я и не понимал — что лошадей заставляют страдать, а они терпеливо подчиняются людям. Я никогда не видел, что веревками можно так связывать, лишая возможности свободно двигаться. Я подглядывал за лошадьми, бывало, так долго, что начинало чудиться, будто и они подглядывают за мной. Я знал, что думаю о них, но тогда уже всерьез хотел понять, что же они думают обо мне, раз глядят и глядят своими глазами.

Хижина конюха проглядывала в отдалении, за вишневым садом, который почти скрывал ее от глаз. Это была деревянная постройка на сваях, крытая соломой. В другое лето, когда в Киев отправляли отдыхать еще и сестру, что была старше на девять лет, мы с ней ходили в сад за вишней и блуждали по нему, как в лесу. Сестра никогда ничего не боялась, и я с нею ничего не боялся, увязываясь за нею нарочно, чтобы попасть туда, куда запрещалось или было одному страшно. Она же терпела меня поневоле, чтобы молчал, зная, что если не возьмет с собой, то я доложу все деду или бабушке. Но если я добивался своего, то был с ней заодно и никто не мог вытянуть из меня после ни словечка. Она брала меня за руку, и мы потихоньку уходили в чужой этот сад за вишнями, до которых я сам никак бы не смог дотянуться. Однажды в саду нас застала врасплох женщина, что вышла вдруг на крыльцо соломенной хижины. Она показала мне очень похожей на мою маму, только говорила грубым голосом и на языке, которого я не понимал. Позвала в дом, но мы не поднялись даже на веранду — вынесла вишню, персики в тазу, чтобы мы брали, сколько хотим. Бабушка после ругалась, что мы угощались у этой женщины.

Дед так вовсе перво-наперво запретил мне ходить на ту сторону, когда приехали в домик, — только за водой на колонку. Мне думалось, что конюх бьет свою жену и что ей, должно быть, плохо живется в этом доме на сваях. Когда я пробирался за водой — казалось, в самую глушь сада, — все оглядывался, видел ли наш домик, нахожусь ли еще под его защитой, а у колонки, замирая, пока ведро с громким бульканьем набиралось водой, глядел и глядел на хижину под грязной соломенной крышей, подернутую черными изломанными ветвями вишен, будто паутиной.

В тот день мы легли рано: дед на раскладушке прямо под небом, а я в домике. Утром пошли на Днепр. Даже ловить рыбу дедушка, наверное, мог лишь там, где знали, кто он такой, и уважали: на берегу, свободном от людей. Территория, на которую нас впустили, была вся огорожена сеткой, а встречал деда какой-то улыбающийся мужчина. Обо мне дедушка всегда говорил: «А это мой внук из Москвы...» И те, с кем он говорил, переспрашивали уважительно у меня: «Из Москвы?» На что я отвечал, стараясь важно бурчать, как дедушка: «Из Москвы...»

Берег был пуст. Вода здесь казалась грязной, холодной. Дед велел слушать, когда зазвонят колокольчики на расставленных по берегу спиннингах, а колокольчик до обеда звонил всего один раз. Дед научил меня, что нужно оглушить пойманного леща и зарыть поглубже, где холодно, в прибрежный песок. Когда я ударил трепещущего леща булыжником по голове, он затих, а из головы выступила кровь. Так я сгубил первый раз что-то живое, наученный дедом и гордый тем, что сделал. Это событие и стало в моих мыслях «рыбалкой». Потом я посидел еще у рыбьей могилки в расстройстве, что больше нельзя увидеть этой пойманной рыбы, и уснул подле нее на песке, пригретый солнышком, одурманенный скукой... Разбудил дед. Он поймал под конец, пока я спал, еще одного леща. Возвращение домой, когда нужно было проделать тот же самый путь, только утяжеленный усталостью и скукой, казалось наказанием без вины, было всегда неожиданным.

С бабушкой мы обычно возвращались домой на катерке, понтонная пристань была прямо у пляжа. Это время суток на пляже, когда холодало и всё вокруг делалось обыденным, а купальщики исчезали, оставляя песок каким-то помятым, истоптанным, было уже знакомо, будто бы отродясь. Она покупала билеты, мы садились по борту на деревянную лавку, где сидело уже много людей, таких же, как мы, вытряхивая однообразно пляжный песок из туфель, отчего им оказывалась усеяна вся палуба. Катер начинал отходить, вода кругом вспенивалась. Было никогда не понятно, что же несло его потом по воде, — казалось, сама река. Днепровские воды жирно ворочались за бортом. Дул мокрый ветер, каждым махом окропляя лицо брызгами. На середине Днепра открывался вид во все стороны света. Когда катерок причаливал к берегу, одетому в гранит, жизнь опять делалась обыденной и маленькой.

С дедом возвращались пешком. Шли долго, по бетонным плитам, что лежали на острове вместо дороги. Я любил дерево шелковицы, росшее на отшибе, там, где бетонная полоса только выходила на прямую, отчего задерживаться подле шелковицы на обратном пути уже не хватало терпения. Но дерево с такими ягодами, как это, казалось мне, росло на свете только одно — на этом острове. Ждала еще на пути заброшенная вышка для прыжков с подвесным парашютом, что была когда-то аттракционом. Проходя мимо, думал о той далекой высоте, куда вводила железная лестница внутри вышки, отчего захватывало дух. Но незаметно бетонка выводила на пешеходный мост через Днепр, и потом, глядя нечаянно с его середины вниз, на мглистую толщу воды, отнималось дыхание от высоты, на которой вдруг оказался. Переходя мост, я поневоле воображал, что падаю с него. И уже дома видел это как сон, просыпаясь в поту от пережитого до самого конца ощущения падения. Шагать по мосту в людской толчее было мукой. Чувствуя его колебание, дрожание под собой, я думал, что мост обязательно обрушится, если на него встанут сразу много людей. Дедушка посмеивался надо мной. Ему нравилось, что я притих и боюсь. На него в такие минуты будто сниходило успокоение. Так он избавлялся от переживаний, что начну делать все, что захочу.

Мы ехали в трамвае, где дедушка опять молчал, но, перейдя порог дома, стал ласковым, нахваливая все то, что мы сделали с домиком, и я понимал, что теперь пришел его черед слушаться и бояться. «Да пропади оно пропадом! Да кому оно нужно! Вечно ты так, ни себе, ни людям! Ну что, рад? Ты еще золотом его покрой!» — покрикивала бабушка, узнав, что он опять потратился, да еще и тайно от нее. Но принесенные дедом лещи на этот раз ее усмирили: она очень любила уху, которую варила с такой радостью, будто для себя одной, хотя все лучшее отдавала сперва деду, потом накладывала в мою тарелку и только тогда доедала что оставалось.

Наверное, дед потому относился без шуток к ее приговорам, что бабушка и была в прежней жизни судьей. В альбомах много я видел однообразных

фотографий разных лет: широкий стол, накрытый или не накрытый сукном, но всегда — с графином посередине; три строгих человека — только три, стоя или сидя за столом; однако завораживали не люди и вся их кладбищенская торжественная строгость, а стулья под ними — тяжеловато-черные, будто чугунные, с высокими узорными спинками, что украшали, как короны, головы людей, сидящих за столом. На фотографиях разных лет, от самых старых, водянисто-блеклых, до свеженьких и блестящих глянецом, на которых бабушку я видел уже узнаваемо седой, и люди встречались разные, никогда не попадались одни и те же, и разительно менялись одежды, да и выражение лица бабушки. Были фотографии, где она стояла в полный рост с худой крепенькой папкой в руках, погруженная в нее с угрюмым сосредоточенным выражением лица чистильщика. На старых фотографиях она была самой молодой, сидела не в центре, а скромненько с краю, одетая в потертый то ли пиджак, то ли френч, тогда как за столом восседали самодовольные военные мужчины и похожие на них женщины, такие же самодовольные, гладко и с иголочки одетые в плечистые пиджачки толстухи, с пышной лепниной причесок на головах — не прически, а пироги. Лицо молодое бабушки было неуверенным, но и цепким, жестоким: жестокость впивалась в него и делала его свет неживым, стальным. Однако чем старше бабушка была на фотографиях, тем добрее, и где она сидела председателем, на лице ее уже теплились чуть заметная улыбочивость, снисхождение, похожие на грусть. Те другие, что сидели по краям, напряженно глядели вперед, будто чего-то втайне боялись, а она не боялась; и костюмчики на ней были светлые да мягкие, всё больше из шерсти. А на одной фотографии она и вовсе сидела по-домашнему в вязаной шерстяной кофте.

Дед очень опасался и другого: чтобы не умерла она раньше, чем он. Своим здоровьем он любовался, гордился, не допуская того положения вещей, что бабушка его переживет. Но что она не доживет до глубокой его старости — это деда тоже угнетало и мучило. Он не находил решения: раньше ее он умереть никак не должен был, а после ее смерти жить и в мыслях не мог. Своим здоровьем, то есть безалаберностью и равнодушием к здоровью, бабка его поэтому сердила. Мог разволноваться, если только чихнула, — тут же звонил в госпиталь, заказывал ей у знакомых профессоров обследование, готов был на месяц заложить ее в больницу, только бы навечно вылечилась, и укутать в самые теплые одежды. Бабушка Шура была младше его на десять лет — сухонькая и беленькая, будто косточка, бодрая да неунывающая. Казалось, что все болезни изжарились в ней, как на огне, и была такая здоровая — сухарчик, — что и в старости бегала по базарам, стряпала, обстирывала, ухаживала. Но, зная страхи деда на свой счет, она никогда не притворялась больной, чтобы чего-то добиться от него.

Своего она добивалась такой вот судейской чужеватостью в голосе, перед которой он сдавался, чтобы она скорее сделалась снова доброй, родной и послушной.

Бабушка Шура жила однообразной жизнью домохозяйки, делая каждый день одно и то же. С утра первым трамваем ехала на базар, где и покупала всё, кроме молочного. Деду был положен паек: с коробкой продуктов приезжали на дом здоровые молчаливые крепкие мужчины, похожие на фельдъегерей. Бабушка заказывала черную икру и гречку — остальным брезговала, да и не хотела лишать себя каждодневных утренних путешествий на базар. На базаре можно было торговаться, купить подешевле и самое свежее, и к тому времени она просто не могла жить без базара, где крикливо общалась с торговками, а по дороге в трамвае узнавала все новости, с удовольствием погружалась в соседские сплетни хохлушек, ругая заодно с ними весь свет. «А вы почему курочку брали, гражданочка?» — тянулась она ко всякой бабке, если замечала, что у той из авоськи торчит желтая скукоженная куриная лапа или свесилась мертвая голова с грешком.

Все любили в Киеве курочек и ездили за ними на базар.

Бабушка уважала живых кур, хоть дед нешуточно сердился, когда покупала живых, а она называла мороженных кур «дохлятиной». Его коробило и пугало то, что происходило уже на кухне, но мне это не казалось противным или страшным, и, узнавая, что бабушка утром поедет на базар за курицей, я перед сном упрасивал ее не готовить бульона без меня. Ей нравилось мое любопытство и то, что не брезговал кушать ее бульон, о котором она рассуждала как о самом полезном для здоровья. Я не замечал даже самой курицы и всего, что совершала с ней бабка, любовно заговаривая «рябушкой», до того момента, как умолкшая разом птица с фонтанчиком крови вместо башки выпархивала прямо из-под топора и пронесилась безмолвно по кухне, после чего падала у ее ног. Бабушка говорила — «засыпала» и была довольна, что беспокойная злая сила, жившая в курице, вышла теперь уж прочь и не испортит ее добренький целебный бульон.

Она всё готовила на маленьких сковородочках и в маленьких кастрюльках — не любила оставлять киснуть и морить в холодильнике, а может, ей и легче было от постоянных каждодневных забот. Ели мы по отдельности от деда, после него, никогда не сидели за общим столом. Дедушка ел долго, потом, выходя из-за стола, сам всякий раз заглядывал в комнату, где я был, и отсылал на кухню, чтобы поел. Я садился на его нагретое место, и бабушка подавала уже мне. После этих хлопот она собирала деда на прогулку, готовила обед и только тогда, до возвращения дедушкиного к обеду, с часок отдыхала, читая газеты. Читать газеты она тоже любила. Дед у нее спрашивал по возвращении, «есть ли свежая пресса». Они выписывали «Правду», «Известия», а также «Правду Украины» и «Советскую милицию», откуда дедушка многое занимал для своих докладов. А всё, что пересекалось в газетных публикациях с его судьбой или службой в органах, вырезалось и хранилось в отдельной папке. Я знал, что все взрослые всегда где-то работают, однако оставалось в сознании не то, где они работали, а кем были там, на своих работах. Про деда я думал, что он работал милиционером, но когда дед слышал это слово, то морщился. Сам себя называл он словом «чекист». Еще постоянно я слышал от него слово «бендеровцы». Они были двумя главными словами в его жизни. Но если я хвалился или защищался во дворе, то говорил все равно так, как этого мне хотелось: «Мой дедушка генерал милиционеров». Про «бендеровцев» и «чекиста» как-то и не шло на ум. Или говорил, уже понимая, что сказал неправду, но из всех сил желая, чтобы это так было: «Мой дедушка — генерал милиционеров и дружит с Брежневым». Однако это бывало лишь в Киеве, во дворе дома на улице Шамрыло, где дворовые ребята дружили между собой, очень ясно презирая меня как москвича и пугая, а уж я в ответ — этих ребят. Раз швырнул в меня кто-то камнем, я даже ничего не успел увидеть, откуда и кто. На глаза вдруг хлынула кровь, их залило ею, и только от багровой непроницаемой пелены перед глазами поразило ужасом, будто их выкололи. Не понимая, что произошло, я упал на колени, плакал, ничего не видя, и вертелся на одном месте волчком от боли в голове и от ужаса, что ослеп. Тут же подхватили меня какие-то люди, я оказался в больнице и потом помнил лишь ощущение, что заново смотрю на мир. И после всего, что случилось, испытал именно счастье, был очень счастливый, когда возвратились домой. Через день опять побежал гулять во двор, хвастаясь раной.

Чаще всё читанное в газетах называл дед, усмехаясь, «брехнёй», и спрашивал бабка, бывало, будто хохол свою жинку: «Саня, ну шо там брэщуть?» — хотя украинское презирал, если и промовлял, то в издевку, как, наверное, презирал отчего-то и все эти газеты, но исправно и даже ревностно выписывал, вставляя кусками в свои речи. Бабушка докладывала, что прочла, и он забирал газеты после обеда в свою комнату, за чтением их, лежа на диване, и засыпал. Пока он спал, дремала и она, свернувшись калачиком, делаясь маленькой, похожей на ребенка.

Комнату, в которой мы с ней жили, занимала старая двуспальная кровать из ореха, так что место оставалось лишь для двух кресел у столика в углу и книжных шкафов у стены. Это была их с дедом спальня. На стене висел его парадный портрет, в той же оправе из орехового дерева, из которого была сработана и вся мебель. Не знаю, отчего дед выселял сам себя из спальни — но, даже ночуя в разных комнатах, ворчали они друг на дружку, что каждый из них храпит. Так как дед не интересовался книгами, то по книжным шкафам лазил я вдоволь. Книги для меня были как кубики, я в них играл, и никто этого не запрещал. Дед будто забывал про эту комнату, потому что уже не жил в ней. Он мог часами расхаживать по коридору, совсем близко, и проходить всякий раз стороной. Двери в комнатах были распахнуты, но их занавешивали бархатные портьеры. Я слышал звук его шагов за портьерой и, бывало, неожиданно спохватывался, поднимал глаза и видел с удивлением, что дед молчаливо наблюдает за мной в щелку из-за портьеры, стоит за ней, будто прячется. Если я играл в это время с книгами, то слышался его слабый голос: «Читаешь, Олеша? Ну читай...» Если просто лежал и вовсе ничего не делал: «Лежишь, Олеша? Ну лежи...» После он удалялся, оставляя томительное ощущение, что еще стоит за портьерой, хотя по коридору, из стороны в сторону, снова блуждали шаги.

Было трудно понять, что любит дедушка, а чего не любит. Он ничего не говорил прямо, затаивал ответы на вопросы, даже самые простые, притворяясь добреньким, когда не хотел чего-то сделать или рассказать, и незаметно избавлял себя от общения. У бабушки всё делилось на то, что она любит и чего не любит. Если что, она так и говорила с жестокостью в голосе: «Я этого не люблю...»

Она не любила поцелуйчиков и вообще сюсюканья. Не любила, когда у нее попрошайничали. А любила шоколадные конфетки в прикуску с чаем. Любила ходить по универсальным магазинам на Крещатике, где полно было разных товаров, и, влюбляясь в какие-то вещицы, покупала их тайком для внуков, а когда мы приезжали в Киев, то впихивала в чемоданы уже под самый отъезд, внушая, чтобы ничего не говорили деду. Но в то же время в каждый наш приезд они с дедом решали, какая вещь нужнее всего для меня и сестры, и дедушка важно объявлял о грядущей покупке — их с бабкой подарке. Отправляясь исполнять его волю, бабушка была похожа на солдата. Мы ехали опять же на Крещатик, пересаживаясь с трамвая на автобус.

Все автобусы в Киеве были не такие серые и худые, как в Москве, а толстые и желтые, похожие на клоунский ботинок. Ехали они грузно, лениво, будто ползли. В них набивалось народу побольше, чем в трамвай, а потому и слышались вместо разговорцев соседских только ругань да склоки. Стоило одной бабе двинуть недовольно боками, как поднимался похожий на вороний гвалт. Речь мешалась, вылезали наружу все пороки человеческие, и кишащий ими автобус медленно влачился до конечной остановки, туда, где все схлынывали, сходили. Бабушка оправляла костюм и ругалась, как всегда, когда была очень сердита: «Да пропади оно пропадом!»

С бабушкой я привык засыпать под звуки радио в темноте. Она любила слушать радио. И купила даже особенные приемники, себе и деду, которые удобно было взять в постель, маленькие и с длинным шнуром, что подключался к радиоточке на кухне. Она лежала с приемником на своей половине, вздыхала, зевала, охала и будто б умирала, затихая вдруг в один миг. Под ухом у нее еще шептал приемник, играла тихая полуночная музыка для радиослушателей или дикторы досказывали последние новости о событиях за рубежом и в стране. Потом в ночи громко игрался Гимн Советского Союза, без слов, одна лишь музыка, точно некому уж было и петь, потому что все в нашей стране спали. Радио умолкало. Комната погружалась в кромешную тишину. И если я вытерпывал до этого часа, то поскорее засыпал, чтобы не оставаться

в ночи одному. Будил бабушку приемничек. Будил Гимном Советского Союза, игравшимся в шесть часов утра. Бывало, и я пробуждался от его звуков. Видел комнату, уже залитую нежным утренним светом. Слышал, как зевает, охает, вздыхает, вставая со своей половины кровати, моя бабушка, и, зная, что еще долго буду спать, прежде чем она разбудит меня по-настоящему, с блаженным покоем возвращался в свой сон.

Дом на проспекте

Вначале был телевизор. Первое, что помню,— это черно-белая картинка, где всё двигалось, наверное, издавая звуки, привлекательные на слух. Из ясель глядел в ее сторону и затихал, отчего телевизор в комнате оставляли включенным, даже если не шли передачи; выключали — когда засыпал. Осмысленно начал указывать тоже в его сторону. Еще не умея говорить, глядел на экран и подпевал человеческим голосам из этого ящика. Когда клали на ковер, полз к телевизору и обмирал подле него от удивления. Помню много отдельных черно-белых картинок из телевизора, не знаю, правда, из какого они времени и что это были за передачи. Так как до телевизора легко было доползти на четвереньках, то не было охоты ходить пешком. Научился раньше срока говорить. У телевизора сидел, поджимая под себя ноги, как лягушка. Когда это уродство привлекло внимание, тогда, наверное, поняли, что телевизор уже опасно управляет мной. Спыхватившись, разлучили с непривередливой, но оказавшейся опасной нянькой, то есть перенесли ящик в другую комнату и держали дверь в нее закрытой.

Но, научившись ходить, без труда проникал в эту комнату и нажимал на пластмассовую педальку. Телевизор включался... А картинка на экране управлялась непонятной силой — она включалась сама, и являлось вдруг изображение с человечками, а до этого часами было видно одну паутину и слышно голова как за стеной.

Я понимал, что умею сидеть «лягушкой» и что это только моя удивительная способность. Когда оставался с телевизором подолгу один на один, то воспринимал себя частью той реальности. Искал, где находится вход в нее, где она прячется в этом ящике, чтобы оказаться тоже внутри. Обычно, глядя в телевизор, всё менее чувствовал себя и всё вокруг в квартире настоящим. Входа нет — или о нем не говорят только мне одному. Я прислонял, бывало, лицо прямо к спящему стеклу экрана, вытерпливая резь и боль, заставлял себя не закрывать глаза и, ослепленный, видел вдруг не изображение, а хаотичный вихрь черных и белых точек. Но стоило отстраниться, хаос точек живо собирался в реальность. В этой реальности удивляло и угнетало разнообразие человеческих лиц. Я не понимал и пугался, зачем все люди такие разные, не похожие друг на друга. В этом чудился какой-то обман, что-то опять же не настоящее.

В телевизоре никогда не являлось знакомых мне лиц или хоть похожих — на маму, отца, сестру. И ничего из того, что окружало нас в квартире. Вдобавок всё в нем было черно-белым. Наверное, было ощущение, что есть две жизни и два мира. Оно, это ощущение, обрело себя в странных склонностях: к примеру, все в доме страдали от того, что я прятал их вещи, обычно мелкие, доступные по силам, будто их и не должно было существовать. Когда они переставали существовать, я уже не осознавал, куда и что запрятывал. Утраченный предмет оказывался порой до того важным, что происшедшее оставалось навсегда в моей памяти. Так я залез к матери в сумочку и утащил пропуск ее на работу. Пропуск запрятал в книгах, на полке, и забыл. А ее не пустили без него на работу. Она металась, искала его, трясла меня, чтобы сказал, куда спрятал. Потом, только со временем, он отыскался.

Еще всё казалось несоразмерным: отчетливо помню, как озираю нашу комнату, и она кажется мне огромной, будто снесли стену и из двух комнат сделали одну. Огромны все предметы и мебель. Все игры, которые сам себе придумывал, были попыткой покорить этот простор, с одной стороны, а с другой — спрятаться.

Залезал по книжной полке под самый потолок, а потом орал, чтобы сняли, потому что слезть с нее уже боялся. Залезть всегда норовил куда повыше, откуда всё уменьшалось, но на высоте как стужей охватывало и отнимались руки-ноги. Больше всего любил устраивать себе нору или домик под постелью, для чего ее нарочно раскладывали. Зазоры заделывал кубиками или занавешивал. Туда мне приносили еду, а иногда заглядывали ко мне, будто в гости, и это было самое чудное, когда я лежал в полутьме своей расщелины, а из другого мира являлось в щелке лицо матери. Еще любил наблюдать из-под постели, что делалось в комнате. Внутрь залезал с фонариком — это был фонарь на динамо-машинке, который светил лишь тогда, когда его жали в руке. Добывая из него свет, никак не мог уснуть. А только уставал, как укрывалище погружалось в темноту. И частенько в ней засыпал, слушался наступления этой ночи.

Шкура медведя на полу, под ногами. Чучела птиц надо мной. В шкуре нравилась шерсть, и нравилось заглядывать в медвежью пасть. Заглядывая, вдруг ощущал ужас от мысли, что медведь и сейчас может быть живым, глаза его из шариков, стеклянные, глядели совсем как живые. К шкуре из-за этого относился все же больше как к живому существу, был с ней добрым — гладил шерстку. А чучел птиц не любил. Они, два чучела, сидели на ветках, а ветки были приколочены очень высоко, и из-за этого в них мерещилось что-то хищное. Одно чучело было белое, полярной куропатки, а второе — глухаря. Понимал, что они неживые: отец раз снял со стены куропатку и показал, чтобы не боялся, какой сушью была она набита.

Одну стену в комнате занавешивала рыбацкая сеть, как бы украшала, потому что на сети этой были развешаны засушенные рыбы, разные кораллы, морские звезды, крабы — всё отцово богатство. Отец с упоением рассказывал об акулах и крабах, будто поднятых тут же этой сетью из океанской пучины. Он забывался и начинал жестикулировать, показывая, какие огромные в океане ходят волны, как огромны океанские глубины, и это словцо, «океан», сделалось в моем сознании подобием чего-то чудовищного. Рыбы океанские, хоть многие из них выглядели и впрямь чудовищами, однако не отпугивали: живость являлась разве на то время, когда о них рассказывал, махая руками и сверкая глазами, мой отец.

Рыбацкая белая сеть скрадывала стену, этой стены поэтому я никогда в комнате не ощущал. У той стены стояла кровать сестры, там она спала, как чудилось мне, далеко-далеко от нас с матерью — наша с мамой кровать была на другом краю комнаты. Сестра казалась мне чем-то одним с этим миром, хоть она тех океанских чудищ, чьи мумии висели над ее кроватью и воняли чем-то затхлым, вовсе не любила, как и многое в доме. Я долго не понимал, что у сестры был другой отец, не понимал, даже зная об этом, потому что никогда этого человека не видел.

Живя в своей квартирке, тот дом, внутри которого она находилась, ощущал я извилистой башней, уходящим в пустоту сумрачным лабиринтом. Дом даже не из кирпича, а из каменных блоков, отвесный, как пропасть. Серая стена его упиралась грудью в проспект, который казался, если глядеть из окна комнаты на дно этой пропасти, разве что ручейком. Мы жили на проспекте Мира. Со dna пропасти курились с неумолчным шумом пыль и гарь, так что в квартире никогда не открывались окна. Грязные и пестрые ручки из машин текли в разные стороны, а зимой от них валил со dna пропасти белый пар. Ночью отсветы фар с проспекта проникали в комнату и проходили светлыми лучами по потолку, смывая с него темноту. У окна я просиживал много време-

ни, наверное, потому, что видел еще толпы и толпы людей, то являвшиеся, то исчезающие в дверях дома-близнеца напротив. Потом узнал, что эти двери — вход в метро, под землю. А прямо под нашей квартирой был магазин, который назывался «Свет».

Наша квартира не имела замка: однажды выломанный, беззубый, существовал он как на пенсии по инвалидности. Изгоями в подьезде жила наша семья, а еще Иван Петрович и Стас со своей женой Ритой. Это были пьющие и вечно безденежные, неправильные люди, что нарушали покой да устои дома. Этих людей я видел — они часто оказывались у нас в квартире, а я у них в гостях, и они были живые. А сонмы других жителей дома, бесшумные и невидимые, как привидения, были все равно что мертвы. Эти мертвецы оживали, когда наезжала моя бабушка Нина. Шумная, тучная, стремительная, она, оказываясь в доме, принималась за все хвататься. Хлопали дверки шкафов, гремела посуда, чавкал холодильник. Квартиру, в которой мы жили, бабушка считала своей, она оставила ее нам. Мой отец был ее единственным сыном. Тогда я не понимал, отчего ей было все известно об отце. Стоило ему набуянить в доме, как она тотчас приезжала. Когда она появлялась, мать не желала с ней разговаривать и вместе со мной и со старшей сестрой закрывалась в маленькой, только нашей комнате. И были слышны лишь ее ругань с отцом да трубные какие-то зовы. Она хлопала дверью и пропадала, но я знал, что бабушка еще не уехала, что она где-то там, над нами, наверно, где жили «израилевские», «казинниковы», «люрюхины».

Всякого человека она так или иначе старалась превратить в снабженца, то есть извлечь из него какую-нибудь пользу для себя, пусть самую ничтожную. Самую ничтожную пользу, наверное, имели те, кто снабжал ее телефонными звонками, кого сама же просила шпионить за отцом. Она свято верила, что задаром или ни с того ни с сего люди не станут ей делать ничего хорошего. Могла одарить и так обязать человека помогать себе, а могла притвориться жалкой, чтобы из жалости ей и докладывали всё о сыне. Потом она ходила по этим же самым квартирам и замаливала его грехи — отца прощали, опять же, жалея ее. Это означало, что при следующем скандале уже не вызывали милицию, что и было для бабушки Нины самым важным. Она отнюдь не презирала своего сына, а еще безысходней любила, переживала, мучилась. Презирала же она тех, кто окружал в этом доме ее кровиночку и докладывал ей из жалости о его житье. Возвращаясь, она пила на кухне чай, чтобы успокоиться, и неустанно припоминала вслух, кто и что сказал ей дурного о сыне, ругалась с этими людьми. Это ее чаепитие редко когда заканчивалось мирно, потому что принималась она под конец ругаться и с отцом, не разбирая слов. Бывало, она будто прогоняла отца из дома; он уходил, чудилось, навсегда, в чем был. Тогда и она мигом собиралась, уезжала, хлопая дверью. Отец возвращался поздно вечером или даже ночью.

Обычно, когда обо мне все забывали, я тоже старался пропасть из дома; вышмыгивал за дверь и, как чужой, прислушивался к тишине в своей квартире, ожидая, что это исчезновение все же поднимет переполох. Но, стоя столбиком на лестничной клетке, чаще всего уставал ждать и возвращался обратно. Мне было некуда идти. Рядом, по бокам — соседские двери. За ними тоже нет шума. Дом погружал в свою дремоту. Сильные, старые, гулкие стены. Пахло пряно запустением — серые мыши владели домом, из каждого угла слышался их ветошный душок. Зияли пустынные лестничные пролеты, окружая зарешеченную шахту, по которой поршнем ходил лифт. Змеинное движение этого лифта по черным стальным канатам, сам он по себе — всё это было для меня тайной.

Лифт уходил туда, где я никогда не был, — высоко в лабиринт, куда я заглядывал, задирая голову вслед за его уплывающей в ровном гуле светящейся кабиной, но не видел конца. Видел я в окошках мертвенные округлые лица людей, они глядели из светлой углубины, как из воды. Наш этаж был таким, куда лифт

на вызов не приходил, и на этом этаже, казавшемся отчего-то ненужным, лишнем этаже обрывались, делались неприступными для меня ступени дома. Над головой нависала вся его громада, а я стоял на пяточке у дверей своей квартиры, чтобы в этом доме не пропасть.

Я не смел ступить в кабину лифта, именно что не смел — всегда стояла на страже консьержка и прогоняла от его дверки, зная, где живу, — на третьем этаже; и все пугали, рассказывая, что нельзя открывать эту дверку, иначе провалишься и случится самое страшное. Что там, за дверкой, кроется бездна, это я ведал уже и сам, когда вжимался в решетку и видел бесконечный зарешеченный со всех сторон провал, похожий и на тупик, откуда бездомно дышало что-то неведомое, нечеловеческое.

На самом гранитном дне дома жила в стеклянной будке Старуха: в будке той было видно топчан, стол, железную черную лампу, что следила даже посреди дня своим раскаленным недремлющим оком, чудилось, за самой Старухой. Я думал, что это не иначе квартира ее и что она такая бедная, но и вечная, бессмертная. Как бывает, старух этих, консьержек, было две — злая и добрая. Хоть могло их смениться и больше, пока мы жили в доме. Злой я вовсе не помню. Та, что добрая, с седым легчайшим чепчиком волос, нянчила меня в коляске — она сама любила об этом вспоминать. Ей оставляли внизу коляску, и она бралась за ней следить, то ли из жалости к живому крохотному существу, то ли из снисхождения к взрослым, нелюбимым в этом старом сановном доме людям. Старуха всегда имела для меня про запас конфету. Этих ее старушечьих конфет я не любил, как не любил с детства жалости к себе и к своей семье. Но когда она ходила отпирать двери, жалко выскакивая по звонку из своей конурки, шаркая тапочками, — тут она становилась мне родной, и любил я всю ее немощь и глупое усердие, а входящих в дом, тех, кому она услуживала, встречал волчком. Эти люди садились в лифт и пропадали из моей жизни, всякий раз будто навечно.

Соседей я никогда не видел и не знал, что это были за люди. Двери высокие, из двух массивных створок, будто в дубовых, до пят, шинелях. Лишь однажды увидел в одной двери щелку. Из щелки сквозил свет. Я подкрался ближе, не удержался, сунулся вовнутрь и провалился за порог этой чужой квартиры. «Кто там? — раздался откуда-то спокойный ровный голос. — Варвара Ильинична, погляди, что там такое?» У меня не было духа бежать, да и голос этот будто поймал меня, как мушку, в свою томную паутину. Зашаркали старушечьи шаги, и вышла из-за угла, из темноты на свет, похожая на пичужку старуха: небольшого росточка, в пушистой домашней кофте, с очками на носу. Она глядела то на меня — на комок живой в углу, — то на распахнутую настезь дверь и растерянно что-то соображала, опасаясь напугать, сделать что-то неловкое. «Это, Илья Петрович, мальчика соседского к нам занесло. Дверь-то я не захлопнула, ну и растеряха!» «Мальчика? — Голос с радостной охотой распахнулся мне навстречу, и я с удивлением услышал свое имя: — Олежку, что ли, маленького? Нины Ивановны внука? Ну, веди его, веди же, я хоть на него погляжу...»

Старуха неловко поманила меня, чтобы закрыть дверь, глядя с жалостью и не зная, что сказать мне для начала, такому неожиданному да самозванному гостю. «Проходите, дорогуша... — пролепетала она. — Проходите, проходите, мы вам очень рады... Будем знакомиться...» Я очутился в комнате. Посреди — круглый стол, покрытый мягкой бархатной скатертью; над столом нависал абажур с кистями, обдавая кругом света, так что и комната показалась мне все без углов, круглой. Воздух в комнате был непрозрачный и ощутимо сладковат, как чаек с сахаром. За столом в кресле восседал грузный старик, строгий, даже грозный на вид, укрытый до пояса шерстяным пледом. Он как-то весело, но и печально глядел на меня и подозвал сразу к себе: «Ну, здравствуй...» Меня усадили отдельно на стул, и появился стакан с чаем да невкус-

ное — я его попробовал — засушенное печенье. Верно, я дичился, молчал, хоть всё в комнате завораживало меня своей добротой, покоем прошлой жизни, и не было даже следа другого присутствия, все вещички были в комнате такие же старенькие, как и эти старые люди.

Вдруг старик сказал решительно что-то принести старухе. «Это микроскоп... Варвара Ильинична, нам бы водички, капельку... Так-с... А теперь погляди...» То, что я увидел, заставило меня отпрянуть и тут же вновь прильнуть к глазку: там что-то плавало, похожее на рыбок. После того как я нагляделся на это чудо, старик положил под микроскоп осколочек сахара, и я увидел прозрачные горы его кристаллов.

Не помню, как очутился в нашей квартирке. Никто так и не узнал, где я был и что увидел... Потом бродил я подле этой двери много дней и по многу часов, но не являлось в ней щелки, а было глухо. Кристаллы и водные рыбы зажили в моем воображении сами по себе, без старика со старухой и железного уродливого аппарата.

О том, что умерли наши соседи, старики, я узнал от доброй консьержки, с которой всегда о чем-нибудь говорил, потому что ей было скучно сидеть в своей будке. Она сказала, что в этой квартире больше никто не живет. И я стал думать, что смерть — это когда пустеет квартира, где жили люди. Подумал я о микроскопе, куда он делся, и обо всем, что видел в той квартире, и само собой мне представилось, что этого ничего тоже не должно было остаться. Все это исчезло, раз исчезли старик со старухой. Тоже умерло и больше не живет в квартире. Ощущать пустоту за их дверью было какое-то время любопытно. Я стучал по ней кулаком, если проходил и вспоминал о стариках, веря, что дверь никто не откроет. Но однажды поднимался по лестнице и увидел, как навстречу из этой квартиры вышли спокойно люди: мужчина и женщина. Консьержка сказала, что в квартиру въехали новые жильцы. Мысль, что в этой квартире могли снова жить, была мне противна. Я понимал, что старики уже не знают, что их квартиру заняли другие люди. Мне думалось, что если бы они знали об этом заранее, то жили бы в ней до сих пор. А так казалось, будто их обманули, а люди, что въехали в нее, взяли себе чужое, может, и микроскоп. После я много раз видел, как они входили и выходили, похожие в моем воображении на воров. В этой семье тоже рос ребенок, одних со мной лет мальчик. Иногда я видел его со стороны, проходящего по лестнице или по двору за ручку с мамой или папой, и испытывал к нему в тот же миг отвращение и даже злобу, а он прятал глаза, или это так мне чудилось.

Во дворе дома почему-то никогда не гуляли дети. От того, что я всегда слонялся по двору один, он казался временами местом наказания. Я не знал, что такое битье, даже окрики. Наказанием для меня было молчание матери, а самым строгим — это когда должен был оставаться один в комнате. В одиночестве я чувствовал только тоску, забытость. В такое время хотелось лечь и уснуть, чтобы жизнь проходила сама собой. Ощущение, что сделался вдруг никому не нужным, рождало растерянность и то состояние, когда мучительно не находишь себе применения — даже своей сделавшейся какой-то нестерпимой и жгучей, будто слезы, любви ко всем, кто отгородился от тебя за стеной. Я не понимал, за что бывал наказан; понимал лишь всегда, что прощен, когда мама звала к себе, целовала и успокаивала, разрывавшегося с концом наказания, всё время которого, как это чудилось, теперь уж она должна была испить жалостью и лаской, раз так долго не могла пожалеть.

Стены дома делали двор глухим, но и гулким, похожим на дно колодца — со всех сторон двор окружали стены.

Одна стена была вечно чужой, отвесная, мертвая, без единого окна в замурованной кирпичной кладке. Глядя на нее, всё делалось непонятным: зачем она есть, что скрывается за ней? И она глядела во двор с тупым равнодушным выражением, то ли рыла кирпичного, то ли бельма. Даже задирая голову ввысь, мог

я увидеть только ее же грязно-желтый кирпичный свод, откуда бы ни глядел. Можно было пройти прямо под ней, почти по кромке фундамента, царапаясь плечом за ее кирпичи, ощущая над собой какую-то зыбкость, будто вся она могла в одночасье опрокинуться. Стена выманивала на проспект, чтобы увидеть, что же кроется за ней. Из-под арочных ворот нашего дома с чугунной тяжелой решеткой, как в щель, была видна темная углубина чужого двора под колпаком массивной ограды. В одно и то же время в тот двор, похожий на дыру или нору, выводили людей в одних и тех же безразмерных одеждах синего цвета. Они бродили, а чаще всего ходили кругом в одну и ту же сторону. Слышалось одно и то же бормотание или стоны.

Стену своего дома я почти не отличал, наши окна выходили на проспект, а потому и не было стремления взглянуть в ее сторону. Если бродил по двору в темноте, к примеру, зимой, когда смеркалось рано, а я всё не уходил домой, то сотни чужих окон, горящих, как фонари, и почти близко и очень высоко, так что делались похожими на звездочки, слезясь в глазах,— завораживали до щемящего озноба. Свет в окнах будто бы выставлял из них стекла. Делалось не по себе от ощущения их распахнутости холоду. Тянуло жалостно заглянуть в каждое окно, в каждую сделавшуюся осязаемой ячейку, подающую свои признаки жизни за шторами или просто на свету, как если бы можно было там где-то незаметно присутствовать. Было еще ощущение: никто не знает о том, что я есть, будто и не существую в тот же самый миг, когда все это существует по ту сторону от меня, где так много жизни и света. Я бежал домой опрометью, оказываясь в тепле, просил всюду включить этот свет, отчего квартира, где в одной комнате обычно светила лампа на столе у сестры, под которой, уединенная ее свечением, она делала школьные уроки, а в другой, где жил отец, горел свечкой у изголовья его кровати старенький торшер да мерцал экран телевизора, вспыхивала и делалась вдруг похожей на новогоднюю елку. Но спустя время, когда праздничность и свежесть вдруг осыпались, она стояла в глазах новая и неожиданно чужая: стены, мебель, вещи — всё проявилось как из негатива, постороннилось, выстроилось голо от пола до потолка по ранжиру.

Во дворе жил свой ветер, что выдувал из воздуха пустые стеклянные колбы и потом ронял, отчего и слышался временами будто бы звон разбитого об асфальт стекла; гремел гневно нищим мусором, каждой жестянкой или склянкой и холено обтекал желтушную позолотцу домовых серпасто-молоткастых лепнин; бился с грохотом о дубовые запертые двери дома, ворота и проникал в него, крадучись, сквозь щели, дыры, гуляя после с хозяйевитым гулом по этажам. Часто я видел, как ютились во дворе одинокие парочки, заблудшие с проспекта. В углу двора был закут, что весной покрывался травой, а в холода оказывался мерзлым песчаным островом среди морской серой толщи асфальтов. Там в любую погоду и время года находились скамейка, песочница, деревянная низкая горка, почти вкопанная в землю, и железные качели на цепях. Всего по одному — будто для кого-то одного. И те двое, что прятались здесь, казались со стороны тоже чем-то одним, срастались и сплетались друг с дружкой. На острове еще обитали, как живые, деревья — липы и дуб. Дуб, уж точно, был на свете еще тогда, когда не было ни этого двора, ни дома; я ходил вокруг дуба, будто по дорожке, что могла куда-то увести, и не понимал, где же ее начало и конец.

Деревья во дворе я знал каждое, от какого-то чувства, бывало, припадал к стволам, стараясь их обнять. Они то щебетали, то хранили молчание под высоким покровом своих же разлетевшихся по небу ветвей, оперенных листвой. И будто слетались в разное время года разные стайки, то нежно-зеленые, то рыжие и ярко-красные. Что деревья росли в этом месте, и спасло их, потому что там, где даже не было асфальта, стояли в ряд, казалось, наглухо заколоченные металлические домики гаражей. Они лепились к стене, за которой открывался вид на безлюдную узкую улицу, дрожащую всякий раз, когда по ней тяжело прокатывался трамвай. По одному из деревьев я научился залезать на гаражи, а потом и прыгать с крыши на крышу. На грохот выбегали лишь кон-

сьержки, пугали, грозились позвать милицию, чтобы слез на землю, но, одолев нечаянно страх куда сильнее — что мог сорваться, не допрыгнуть, упасть, — этих старух, охраняющих покой дома, я не боялся, а вот слова «милиция» опасался, поэтому тотчас слезал и прятался в тесных лазах за гаражами.

Когда листва замертво опадала, деревья походили на пустые разоренные гнезда. Голые сучья, хворост ветвей черно испещряли небо над головой. Ветер злился, кружась как на чертовом колесе, листья оживали, взлетали невысоко от земли, тоже кружились. Однажды такой вот осенью, когда было тоскливо, сестра научила меня делать паутинки из листьев: она умела обобрать лист до самых маленьких прожилок, отчего он делался похожим на ажурную паутину. Не знаю почему, но меня завораживало, когда листья превращались в то, чем не были.

Завораживало всё живое. Порой нападал на такое неизвестное мне существо, отколупывая кусок гниловатой дубовой коры, под которым оно тайно от всех жило. Жук вдруг с жужжанием на моих глазах взлетал в небо, волоча коробочку своего панциря на тоненьких, выскочивших из-под него мушиных крылышках. Или являлась сороконожка, похожая на множество человечков, что не бросались врассыпную, а дружно, как по команде, устремлялись бежать к одной цели. Чудилось, что в них-то есть сила да могущество, а вот я сам слаб: живущий в стенах громадного серого дома-дерева, будто в расщелине коры, человечек, что появился на этот свет не просясь — так вот, как обнимал не спросясь те деревья, в которых, оказывалось, живут они в своей тайной склизкой гнильце.

Праздники

Не помню ни одной встречи Нового года. Не помню, чтобы мы всей семьей праздновали, когда было бы весело и все сидели за одним столом со вкусной незнакомой едой. Быть может, я не знал про Новый год потому, что отправлялся спать еще до двенадцати, и вот жил без ощущения этого праздника смены года, начала новой, неведомой жизни.

Елка вырастала в квартире посреди зимы, вселяясь в стены ее как живое существо — взяли, привели из лесу, где она жила. Зеленая, колючая, вышиной под потолок. Все зимние дни, когда в квартире нашей жила елка, я ходил взволнованный и притихший. То, что было для взрослых праздником, по незнанию делалось для меня многодневным царством ужаса, а они и не чувствовали, что праздник надобно сделать для меня понятным.

Вот я приходил домой, а уже стояла в большой, в отцовской комнате елка, и отец подводил к ней силком полюбоваться, раздражаясь, что я не радуюсь, и скоро теряя ко мне интерес. Потом вдруг я чувствую, что остался один, слышу голоса в большой комнате, где елка, и меня тянет туда, где мама, сестра, но перед глазами новый ужас: мама вознеслась высоко под потолок и нацепляет на макушку этой елки рубиновую звезду. Эту звезду я знаю, помню — она не та, что с неба, а из жизни. Она всюду главная, всюду на виду, ее любили, как мне чудилось, все люди — и вот она в руках у мамы, так близко, и у нас под потолком! Отец развалился на диване и даже не поманит меня к себе — лежит безразлично, недвижно, будто не человек, а одежда от человека. Пол в комнате усыпан чудными блестящими маленькими игрушками: рыбки, птички, шары... Их высыпала из коробки сестра и сидит рядом с ними. Видя эти игрушки, я забываю страх, млею и потихоньку прибираю к рукам бирюзовую птичку, какую никогда еще не видел, верчу-кручу ее, как если бы хочу отыскать дырочки, и вдруг... Обрушивается гром голосов, обрушивается вся только что виденная мной картинка нашей жизни. Уже мать резко обернулась в мою сторону и взглянула пронзительно, с испугом за меня с потолочной вышины; сестра бросается на меня с обидой и близко вижу ее лицо, но ка-

кое-то некрасивое; а отец теперь садится на диване и выговаривает матери... Птичка, разбившаяся об пол, на тыщу осколков — кажется, что пылинок,— разлетелась у моих ног. Ору, реву, бросаюсь бежать, думая, что убил птичку, а это разбилась бездушная вещица, стекляшка.

С тем уже пережитым горем я засыпаю, убаюканный матерью. А когда я засыпал, и был праздник. Наутро памяти нет о той птичке, потому что комната чисто убрана, а на елке вижу точно такую и еще точно такую же — будто бы снова та птичка родилась. Под елкой есть для меня подарок. Наряженная, елка добреет, похожа на чужую тетю, главным в ней делается украшение, которым вся она усыпана с самой макушки, я задираю голову и глазею на рубиновую звезду, и ощущение, что дом у нас стал открытым для всех людей, еще сильнее становится, когда приходят-уходят весь день гости. Беру у них из рук конфетки, шоколадки и вовсе забываю, чей же я, стараюсь не позабыть, кто моя мама, потому что нельзя этого забыть. А когда гости исчезают, мама остается наконец одна и больше не страшно.

Вдруг в комнате гасится свет и загорается огнями елка, и горит багрово-багрово наша звезда, бросая на весь потолок паучью алую тень. А где-то, ставшие тенью в этих отблесках, мои родные. Слышу смех отца — снова он тянет меня к елке, к огню этому, который он сам, верно, устроил и хочет, чтобы это видел сын. Но я снова реву, и мама меня от него отнимает. Он резко, обиженно что-то выкрикивает, что-то в тот же миг делает мне непонятное, вынимая комнату на свет, будто из-под полы. Но теперь в комнате кажется даже тускло, не так светло, как всегда. Разноцветно тоскливо мигает стекляшками, словно наказанная и поставленная потому в угол, поблекшая сразу елка. Все недовольны. А я чувствую, что сделал плохо всем и что-то ушло из комнаты — она холодная теперь и чужая. От чувства вины брожу за отцом, куда б он ни пошел: он курит угрюмо на кухне, развалившись на другом диване, на кухонном,— обношенном скрипучем старичке, а я стою одиноко в дальнем от него краю кухни, у двери, немножко прячась за косяк, так стою, будто подглядываю из-за угла, но это вдруг отца смешит, и он громко-громко гогочет и уже не хочет от веселья курить. Вдвоем шагаем в комнату. Он упрямо гасит в ней свет и зажигает для меня елку снова, и я терплю — гляжу на эти брызги да искры огоньков, что сыплются прямо в глаза из мглы. Хватаю руку отца, которого не вижу, а только слышу гром раскатистый его смеха, вцепляюсь покрепче в эту надежную родную руку — и вот я сильней своего страха, сильней этого исчадия, этого космоса колких быстрых огней!

После такого испытания тянуло в большую комнату уже на другой день, чтобы пережить всё заново. Когда обо мне забывали, где я есть, но и сами — и мама, и сестра, и отец — куда-то пропадали из моего сознания, снова и снова надо было попасть в ту комнату, где в пустоте мерцали на елке гирлянды огоньков. Было ощущение, что никто в этой комнате больше не живет, даже отец. Отец почему-то редко когда входил в нашу комнату, и найти его было можно только на той половине квартирки. Но и своя комната, казалось, была ему до того ненужной, безразличной, что, раз потушив в ней свет и заставив гореть на елке гирлянды, он уже забывал о них или не хотел вернуть обратно комнате привычный ее облик. Я заглядывал в ее заброшенное полутемное пространство, пропахшее куревом и высвеченное радужно огоньками. Только кругом елки роилось что-то живое, теплое, уже манящее теми огоньками и само по себе радостное. Такой радости, что сама по себе, нигде в квартирке, ни в каком ее уголке нельзя было отыскать — там сами по себе витали усталость, напряженная нелюбовь моей сестры к моему, не родному ей отцу и инстинктивное безразличие к нему матери, будто к обреченному. Попадая в комнату, помня, как мы были в ней вместе с отцом, в конце концов я залезал под радужное облако огоньков, чуть не под самую елку, где дышал терпким

смолистым духом и затаивался, начиная вдруг осознанно переживать то время, когда никто обо мне в квартирке не помнил. Возможно, проходили даже часы, прежде чем меня спохватывались. Звала, искала мама, а я молчал.

После же мог молчать потому, что пугался вдруг этой молчанки. Заползал глубже под еловые ветви и видел, как мама входила в полутемную комнату, и голос ее был уже таким громким, словно говорила над ухом. Но раз или два она под елкой меня не нашла, и я со слезами сам бросался за ней, выкарабкиваясь на свет из темноты, будто из ямы. Почему-то ясно я чувствовал в тот миг, что предаю отца в обмен на ее любовь. Ясно чувствовал, что не буду ей нужен, если не брошусь к ней сам, сам ее не отыщу. Но со стороны могло быть и вовсе иначе: могла мама знать, где я прячусь, да и все в семье могли это знать, потому и не обращали внимания, а то и подыгрывали, испытывая, как долго я вытерплю.

Праздник во всем походил на игру в прятки. Его от меня прятали, когда укладывали спать. И если появлялась в доме елка, то неожиданно, будто тоже была спрятана. Прятался и я от всех — под елкой. Прятался в дни праздников отец — уходил из дома и приходил уже какой-то другой, опять же будто спрятав себя настоящего в расштанной, кривой фигурке, в обносившемся мятом пальто.

Однажды ко мне приходил Дед Мороз. Двигутся фигурки черно-белые, немые моих родных. Только что ничего не было, и вдруг ко мне подводят, казалось, чучело человека. У нас ведь были чучела тетерева и полярной куропатки — вот они, и живые и неживые, то есть живое в них только снаружи, а под перьями мертво. У этого человека, что двигался мне навстречу, лицо было, будто облепленное снегом: снежная борода, бровищи, пряди из-под шапки, такие же, как и перышки куропатки. А кафтан ярко-красный — как грудка у глухаря.

Дед Мороз склонился надо мной, стал ласково напевать да оглаживать, щечка снежной своей бородой, а дух от кафтана его был, словно под ним — щелко опилки. Но никогда я не думал, что и люди могут быть чучелами. Да к тому же это чучело говорило человеческим языком, живо двигалось. Я взглядываю пронзительно из-под его плеча на маму; ее лицо делается растерянным, грустным.

Я очень ждал Деда Мороза. Наверное, поэтому мне его и заказали на дом, чтобы исполнить мое сильное, страстное желание. И он был в тех же нарядах, как на картинках, однако я сжался весь, сознавая, что это чучело, что к нам в дом пришло что-то чужое. Ведь Дед Мороз на свете должен быть один, единственный на весь мир, и в этого единственного я со всей страстью и верил; нет, этот не был чудом! Я вовсе не понимал, что это сговор, обман. Было так, будто они, родные, в него верили, и только я один, огорчая их, не верил. Мне видны были его глаза — две фальшивые стекляшки. Самое главное — эти глаза меня не любили. Он глядел на меня как в одну точку, и самым важным для него было побыстрее вытащить подарок из мешка; а вытащил он автомат, стрелявший огоньком. Подал его, как собака подает лапу, словно и не зная, что исполняет самое заветное мое желание, о котором вчера я ему молился. Мама тогда сказала мне пойти под елку и попросить Деда Мороза исполнить самое главное желание, и я стоял там на коленках да громко, как она учила, произносил желание вслух. Чучело ушло. Я бродил по квартирке с автоматом. А в тот же вечер или уже на следующий день углядел за шкафом, что стоял у нас в коридоре, коробку и вытащил ее наружу. На ней был нарисован такой же, как и мой, автомат. Коробку прятали за шкафом, и я почувал, снова не понимая обмана, что мою молитву, маму, этого чучелу, коробку да исполнение желания связывала одна общая тайна. Не было чуда, но вместо того явилась тайна, загадка. Эта загадка меня угнетала, потому что все скрытое, полуявленное было страшным, будто тени и шорохи. Потому и я спрятал коробку обратно за шкаф, а сам ходил около солдатиком со своим автоматом и никому ничего

не говорил — слушал, подглядывал. А когда снова заглянул за шкаф, то робки почему-то там уже не было. Ее все же незаметно для меня перепрятали.

С тех пор я знал, что играю с кем-то в прятки, но не понимал, с кем и что это за игра. А когда елка вдруг исчезала из комнаты, то игра так и не кончалась. Надо было слушать и подглядывать, чтобы понять скрытое, спрятанное. Но, понимая уже, что нет такого Бога для всех детишек на земле, неожиданно для себя скрыл я от всех, что это знаю, и много лет еще загадывал под елкой желания, чтобы слышала мама. Я скрывал, что знаю, как бабушка Нина не любит маму, а та уж не любит в свой черед мою бабу. Скрывал, прятал в себе очень многое, страшась того, что увидел или сделал понятным для себя. Праздник приходил в семью как призрак и призраком уходил. Чудо стало игрой. Игра — обманом.

Ни мама, ни отец не устраивали праздников в свои дни рождения, из-за этого я толком не помнил, кто и когда в семье родился, путая даже, сколько им лет, потому что даты их рождения никак не отложились в моей памяти. Когда хотела для себя праздника в свой день рождения сестра, то условием этого праздника было — чтобы никто из нас ей не мешал; помню, как в ее шестнадцатилетие мы с мамой ушли из дома, а когда возвратились, замерзнув на холоде, гораздо раньше, чем обещали, то застали ее почему-то одну, без гостей, и в злых слезах, и она уже сама убежала до ночи из дома.

Лет с шести в мои дни рождения мама водила меня в главный «Детский мир», что на Лубянке; в этот дом, который казался изнутри таким же огромным, что и снаружи, чудилось мне, никто просто так не мог попасть, и в толпе детей да родителей представлял я себя с мамой чем-то одним с этой толпой, будто у всех детей был день рождения и каждый получил право выбрать себе здесь подарок на десять рублей. Это были, наверное, большие деньги в семье, где отец вечно не работал, но для мамы было важно, чтобы уважать себя, сделать мне в день рождения такой подарок. Подарок заменял или испулял праздник, ведь в тот день не было семейного застолья, да и некого было собирать. Своды огромные зала отнимали у меня речь, длинные очереди теснили от прилавков зевак. Мама протискивала меня сквозь толпу, чтобы я посмотрел на игрушки. Так как я не умел считать, то спрашивал у мамы, хватит ли денег купить то или другое. Десяти рублей хватало на любую, но только одну игрушку. Бывало, я видел, что мальчику купили автомат, и тут же хотел такой же. Или луноход. И всегда продавались еще солдатики. Из года в год лишь это и встречало на прилавке: автомат, луноход и солдатики — буденновцы, рыцари да морячки. То есть выбор делал из одного и того же. Но я всегда и просил то же, что и все просили у своих матерей. После, дома, залезал в тот же день этому автомату в нутро, где хоть что-то было мне ново, а еще через несколько дней игрушка превращалась просто в куски деталек, в хлам.

Когда я стал взрослее, уже и от киевских дедушки с бабушкой получал в день своего рождения перевод на десять рублей; на обратной стороне квитанции, где было место для сообщения, бабушкиным почерком умещались две одни и те же строчки: «Желаем счастья, здоровья, успехов в труде и в учебе. Твои бабушка и дедушка». То, что перевод приходил так издалека и что целый год они могли вовсе ничего не знать обо мне, но помнили всё это время, думали, вдруг так уродливо преувеличивало мою любовь к ним, что в душе рождалась вера: там, где они, и есть моя семья.

Праздники внушали чувство одиночества, а не радости. Было всех жалко, и себя самого тоже. Отчего-то семью я и воспринимал как нечто одинокое, а когда ее уединял праздник, то выходило так тоскливо, будто вокруг никого нет. Однако иногда наша квартира на проспекте Мира вдруг распахивалась настежь и для гостей. Все эти чужие для меня люди собирались у отца, были его друзьями. Бывало, до ночи из его комнаты слышался шум праздника: рой спорящих возбужденных мужских и женских голосов, то визг, то всхлипы гитары, дребезжа-

ние бутылок и стаканов. По квартире туманом разбредался табачный дым, а в нем бродили, будто в поисках друг друга, глуповато-добренькие мужчины в свитерах и женщины в узких электрических платьях, от которых, напротив, веяло чем-то холодным и злостью. Можно было наткнуться на чужих мужчину и женщину то в коридоре, то на кухне, даже в ванной, ощущая при этом, что досаждаешь им своим появлением. А бывало, что какой-то мужчина, бродящий в тоске по нашей квартире один, назойливо хотел выказать себя чуть не моим отцом, называя «стариком» и заводя душевные, непонятные разговоры. Или женщины сюсюкали, лезли с ласками. Поэтому я не любил этих чужих и неизвестных людей.

Праздник же приходил ко мне весной — в день, когда мама не будила поутру идти в детский сад. Я просыпался и понимал, что отчего-то остался дома, — и все остались дома, как если бы захворали и получили бюллетень. Ощущение свободного, даденного в подарок дня с первых минут просветляло это утро. Именно что утро, с которого начинался день, а не темный вечер или даже ночь, когда случался Новый год. С проспекта уже доносилась бодрая, сильная музыка. Еще сонный, я вскарабкивался на подоконник и глядел вниз, на проспект. По проспекту проходили многолюдные колонны, шли и шли толпами нарядные, чудилось, счастливые люди — сотни, тысячи людей! Шагающие впереди колонн несли высоко над собой багровые стяги, как будто вспыхивали, рассекая весенние волны воздуха. Плыли величаво транспаранты, окруженные зыбью таких же красных флажков. В толпах бурлили разноцветные воздушные шары, то и дело взмывая в небо, упущенные кем-то из рук, похожие на залпы салюта. Многие люди несли в руках алые бумажные гвоздики почти в человеческий рост, которых всходило вдруг целое поле. А на катафалках вместе с толпой двигались панорамы пшеничных полей, заводов, фабрик, крутящиеся глобусы мира со стайками белых голубей, будто облетающих мир, и огромные портреты «ленина», «брежнева», с которых они глядели как живые. Кружились легко ветерками песни. Всё наполнилось дружными криками «Ура! Ура!», звучащими в ответ на какие-то призывы. Людская праздничная река текла по проспекту перед моими глазами много часов, а я с отчаянием ждал, что настанет миг, когда праздник уйдет дальше. И вдруг обнажалось асфальтовое дно проспекта, пропадала из виду последняя колонна. В доме всё еще спали. Я перебежал босиком в комнату к отцу и снова ухватывал глазом праздничное охвостье из окна его комнаты. А потом включал телевизор: видел пустынную замершую Красную площадь, парящую безмолвно в знаменах, застывший Мавзолей, чувствовал до дрожи счастливое свое единение со всей этой торжественной тишиной. И вот колонны, казалось, только прошедшие под нашими окнами, входили на площадь. Пока я смотрел трансляцию с Красной площади, просыпался отец, закуривал, и так — молчаливо, лежа на кровати — скуривал сигаретки одну за одной, наполняя пустынную утреннюю комнату худым горьким дымом своей «Примы», глядя за парадом, как и я, не отрываясь, но тяжело-дремотно, по привычке.

Воздушные шарики, утерянные демонстрантами, бывало, возвращались и болтались неприкаянно над проспектом, когда по нему уже открывалось автомобильное движение. В них еще хватало духу, чтоб держаться на плаву и не потонуть в горячих течениях смога. Они залетали и к нам во двор. В тот же день находил я в опустелом нашем дворе и шарики, и флажки, и даже огромные бумажные гвоздики на палках. Наверное, всё это бросали здесь демонстранты, что на марше сбегали из профсоюзных колонн и прятались у нас в подворотне, пережидая, когда смогут выйти. А я со всем чудесным в руках, что находил, вышагивал по двору, воображая утро, ветры песен, зыбь красных флажков, дружные возгласы счастья.

Мама

Когда я думал о маме, вспоминал о ней, видел ее или даже когда не видел и не думал, то она всегда присутствовала во мне, но не в каком-нибудь возвышенном смысле, а так ощутимо, как плоть. Где она? Что с ней? Каждую минуту, чудилось, с рождения, жил этой тревогой — каждую, каждую, каждую минуту этот импульс посылался, как дозорный, куда-то ей навстречу и возвращался, успокоившись, но только на минуту. Почему-то еще ребенком, совсем ничего не понимая о смерти, я так боялся маму потерять, боялся утратить осязаемую связь с ней, будто о смерти мне было уже не иначе как известно. Осознание, что есть смерть, начиналось с этой детской тревоги о матери. Смерть для меня никогда не была чем-то далеким, призрачным, полуявленным: мама не внушала страха за свою жизнь или даже за здоровье, сознательно считая это для себя чем-то недопустимым, но мне казалось, что я мог бы изобразить эту смерть, с каким она лицом и прочее, будто запомнил ее хорошенько, когда пугался за жизнь своей матери. Страх смерти был страхом ее потерять.

Она мало давала знать о своей прошлой жизни, хоть и ничего не скрывала. Это был такой обман. Чудилось, что я знаю маму, и я знал, что значит каждый оттенок ее голоса; знал о том, что рождает в ней гнев и когда она обязательно улыбнется. На самом деле она не давала почувствовать, что есть в ее жизни еще что-то. И я не думал, что у нее могла быть другая жизнь: всё, что было с ней до моего рождения, для меня не существовало, как если бы мы с ней родились в один день. Я засыпал, вцепляясь в ее волосы. У мамы были длинные, до плеч, волосы, и прядь волос я завивал на свой кулачок, крепко себя с ней связывая, и только тогда мог уйти спокойно в темноту сна. Ей это было неудобно и, наверное, больно, но освобождалась от ручонки моей, только когда я засыпал.

Вдруг у нас в квартире появился щенок, подобранный где-то отцом. Щенок пачкается на моих коленях, когда я его тискаю. Я бросаю щенка. От ужаса удивления бегу с ревом к маме. Мама видит мои мокрые колготы. На кухонном диване лежит и курит отец, и я оказываюсь перед ним, как тот щенок. Он щенка этого любит, любит с ним играть, а вот лежит, глядит на мокрое пятно, и нет у него для меня снисхождения. А сказать, что это сделал щенок, не могу, потому как случилось то, чего никогда я еще в своей жизни не ведал. Не вытерпеть — это унижение, внушенный уже позор. Мама уводит меня, успокаивает, переодевает в сухое, колготы идет стирать, ее скрывает шум воды. В комнате я оказываюсь снова один, без мамы, и только этот шум в ушах. От сухих да глаженных, будто бумажных, колгот такое ощущение, как если бы простили грех. И лицо после плача — сухое, бумажное.

В углу комнаты слепо тычется щенок, выползает на ковер и ползает перепаши, потому что лапы его, слабые, разъезжаются под пузом. Ползет ко мне, противно попискивает. Но вдруг мне становится его жалко, а душа теплится осознанным счастьем: то ли спас его, то ли простил. Мама не наказала и даже не отругала, а получил я больше ее любви за то, что оказался так жалок.

Я никогда не видел ее лицо злым или чтоб оно было хоть с каким-то недобрым выражением. Все черты лица правильные, и выражение его от этого кажется правильным, спокойным, так что ему всегда доверяешь. Глаза глядят спокойно, ровно, как если б взгляд всегда собран и внимателен из-за какой-то мысли. Она не любит молчать, речь ей так необходима, будто она что-то осмысливает в словах. Порой в том, что она говорит, просто слышно ее настроение, и она говорит, осмысливая это настроение, слушая свой голос, как если бы он звучал внутри и говорила б она что-то про себя. Когда она задумывалась, губы ее часто шевелились, она все равно что-то произносила, как немая,

одними губами. Она не добренькая, а упрямая, убежденная во всем, что делает. Потому она никогда не признавала, если была не права, это было для нее, казалось, физически невозможным — осознать, что она могла поступить неправильно. Тогда уж все оказывались не правы, но только не она, и это была черта, которую именно как слабость и надо ей было единственно прощать. Принуждать ее каяться да осознавать свои ошибки — значило бы мучить, то есть значило бы не любить ее; однако столько умела она прощать любимым людям, что это искупало неумение ее раскаиваться: в том, сколько она прощала, этого раскаiania было сполна.

Нежность, что доходила порой до страдальческого трепета, во мне пробудил однажды вид ее страданий. Это случилось в том возрасте, когда я помню всё бывшее только как призрачные мгновения потусторонней какой-то жизни. Сажу в большой комнате на ковре да играю оловянными солдатиками. У меня их куча, этих солдатиков, — просто блестящие, конница гражданской войны, где все в буденовках, витязи, морячки и натурально раскрашенные под солдат болванчики — зеленые, в касках, с красными погончиками, застывшие по стойке «смирно»; а один стоит со знаменем, и это знамя — острое, похожее на штык. Копошился, играл, а по комнате ходила мама в своих заботах. Уже я бросил от скуки солдатиков, а тот, что со знаменем, затерялся на ковре — мама его не увидела и не убрала. Она снимала штору с карниза и когда спрыгивала с подоконника, то попала ступней прямо на штырь знамени. В квартире, кроме нас, никого не было. Мама упала на ковер, повалилась грудью и сквозь зубы издала один только мучительный стон. Что-то произошло. Она падала на моих глазах, но я не понимал, что же с ней происходит, только видел ее лицо, такое немощное и страдающее, будто его изнатужила вся боль, какую она только способна была стерпеть, чтобы не испугать меня. После всего на миг я увидел и оружие этой пытки — тварь эту со знаменем, что глубоко, чуть не по пояс, вошла ей в ступню. Мама как-то выдернула его, поползла, а я впервые в жизни, верно, увидел кровь, она хлынула у нее из раны. У нее остался шрам на серединке ступни. Я, как судорогой, был окован чувством вины. Стоило только увидеть на лице ее гримасу недовольства моим поступком, похожую на то, когда, сжимая губы, терпят боль, как сводило душу этой судорогой. Будто сама возможность, что могу принести ей боль и страдания, хоть всё произошло поневоле, мучила после с малых тех лет. Но это чувство тогда же стало и очень сложным, потому что неминуемо я осознал и то, что возможность причинять боль есть и у мамы.

Так или иначе, но однажды она причинила мне боль или то, что осознано было мной впервые как боль, и это было душевное мучение, почти схожее с физическим. А случилось так, что она в первый раз не пришла ко мне, когда я не мог заснуть и звал ее. Были гости в доме, отцовские дружки, и она, наверное, хотела скорей уложить меня спать, а сама рвалась в компанию. Засыпать без нее я не мог, но это был не каприз, а что-то более глубокое, она же сама к тому меня и приучила; и вот вдруг не оказалось у нее то ли силы, то ли желания свои же правила исполнять. Но ведь до этого они исполнялись, и это было для меня, верно, самой жизнью, ее правила, без которых мигом окружали, терзали непонятность да страх. Она тогда уложила меня и сказала, что выпьет стакан воды и вернется, и это было как обещание, а вера в обещания у детей схожа с верой, что их любят. Потому ждал я исполнения этого обещания и тем более не мог заснуть, что было это и ожиданием необходимым маминой любви, покоя, уходящего в ночь. Она не шла. Стал я звать в темноту всё громче и громче, а темнота делалась без мамы всё невыносимей и страшней. После кричал уже навзрыд, рыдал, звал ее, но она не шла, будто и вовсе ее не стало.

Наутро я не мог говорить — сорвал голос; а в ту ночь уснул, вероятно, только от изнеможения. Не помню, как она мне всё объяснила, но я ей не поверил, и в душе явилось еще неведомой ясности видение, знание — что она говорит неправду. И это чувство не стало затаенным во мне, а обрело себя пусть в молчаливом, но осознанном осуждении той же неправды. Но еще неожиданней тем самым я обрел черту, самую глубокую в маме: и она осуждала, остро чувствуя, всякую неправду, будто родилась судьей; и она мучилась чувством вины от одной той возможности, что может причинить боль, а это давало ей дар справедливости, такой же, как дар веры, дар любви; но вот, причиняя боль, она с трудом это понимала или же, словно судья, даром своим убеждала себя уже в том, что поступила справедливо, и боль душевная, которую она причиняла, становилась как суд, как нравственный, в исполнение приведенный приговор.

Узел этот в наших душах завязался сам собой, и не по родству, а словно бы потому, что он был чем-то роковым. В том все мы — родные — должны были мучить друг друга и никогда уж не распутаться. Судить друг дружку, чувствуя в том справедливость. Быть друг для друга орудием пытки нравственной, сами того не осознавая, то есть отчего же, нет — осознавая это как благо! Мама много со мной разговаривала, почти со страстью к разговору, будто в словах она утоляла голод. С детства я всех посторонних удивлял серьезностью, почти угрюмым выражением лица: я ведь с детства слышал только эти мамины разговоры и впитал, как губка, ее серьезность. Всякую мелочь ей требовалось сделать для себя понятной. Если я портил одежду или игрушки, мама говорила, впрочем, без жалости к потраченным деньгам, а как бы делая вслух на мой счет важные выводы, что мне нельзя покупать «дорогих вещей». Еще делала вывод, что я не умею ценить подарков, но это, кажется, даже льстило ей — что я превращал в хлам игрушки, а было не раз и такое, что дарил кому-то их. Она объясняла это как бескорыстие, отсутствие жадности; больше всего гордилась, что приучила не думать о деньгах и относиться к деньгам с презрением. И я не смел уже думать, что люблю деньги, путаясь вообще, люблю ли я деньги или это стыдно их любить — так и в остальном.

Но я мог бегать весь день по двору, зная, что никто не спохватится. У меня была родная сестра, однако что-то всегда разлучало нас, будто и росли как не родные — в разных местах, порознь, — а не под одной крышей. То есть я понимал с каких-то пор, что родились мы от разных людей. И порой мучила мысль, что уже матери я могу быть не родным; подкинутым кем-то, найденным где-то, о чем только один я и не знаю. Я знал о себе только то, что слышал из ее рассказов, и было мучительной тайной то, чего не знал. Мучительной потому, что нельзя было знать: будет ли так, что тебя ни за что и никогда не разлюбят, или будет так, что станет можно прожить вдруг без тебя.

Новая жизнь

Его комната дышала спертым табачным духом, он почти не выходил из нее, и я в нее тоже больше не заходил. Это было то время, когда в доме появился щенок. Квартира пустела, обрастала плохой, безрадостной тишиной. Принес собачонку отец и в единственный, наверное, в самый последний раз всех обрадовал, а со мной еще и вечерами разговаривал, рассказывая о собаках, и дал право придумать имя щенку, будто и принес его мне в подарок.

И я назвал ее Лёлькой — по имени заграничной жвачки, «лёлики-болики», о которой знал, то есть видел у мальчика обертку от нее. О жвачках слышали, наверное, все дети, но мало кто знал, какого они вкуса, цвета и даже — для чего или как их надо жевать. И если появлялся мальчик и показывал всем, хвастаясь,

обертку от жвачки, то эту обертку ему приходилось не только давать поглядеть: дети долго по кругу ее нюхали, как собачки, а то и норовил кто-то лизнуть. У «лёликов-боликов», у обертки разноцветной, был пряный вишневый запах, почти как от варенья. О жвачке я мечтал равно с той страстью, что и о собаке. Но после ничего больше не было радостного. Мама измучилась одна ухаживать за щенком, а если она была на работе, то лужи щенячьи заляпывали квартиру: замывала их только она, в конце дня, когда возвращалась, но успевало пропахнуть, а сестре и отцу было все равно.

Через день-другой и собачка стала всем безразлична, а я наедине со щенком, который почему-то то кричал писком, то затихал, точно издох, еще больше тосковал.

Лёльку никто не полюбил, разве что навязалась еще одна живая неприкаянная душа, которой было плохо, но она-то уж не молчала, а скулила, пищала, не умея еще лаять; не держась твердо на лапах, только падала через шажок, больно ударяясь то о шкаф, то об пол.

Вдруг в коридоре появился холодильник. Новый и чужой, непонятно чей и непонятно для чего. Белый, гладкий, внутри просторный да светлый, будто целая квартира. Домина, а не холодильник, и я как увидел — так влюбился в него. Он пах так, как пахнут новые вещи — дурманил сладковато голову и заставлял ощущать всё кругом каким-то новым. Когда открывал его дверцу, то внутри загорался свет, будто освещая залу. На полке в нем лежали две баночки паштета — разноцветные, с иностранными буквами, и больше ничего не было, а может, и хранилось что-то, но не привлекло моего внимания так, как эти диковинные баночки. Таких никогда я еще не видел и не ел. Они были отложены как что-то отдельное, неприкосновенное, чужое — чего сроду тоже не бывало. Спрашиваю маму: а чье это всё? Она отвечает неожиданно: «Наше», то есть это звучит неожиданно, так что я сразу понимаю — это то, что не принадлежит «ему». Если и слышно, то только так, как о безымянном, почти как о предмете: «он», «его», «ему»... Он уже больше не отец, а какой-то предмет без души, которому что-то принадлежит, и по квартире проходит незримо граница; и я уже даже не касаюсь тех вещей, что окружали с рождения, но стали вдруг «его шкафом», «его ковром», «его холодильником»... Мне жалко этих вещей, и я расстаюсь с ними, забываю о них с непривычкой и тягостью, потому что с ними или в них нельзя уже почему-то играть, и мирок квартирки сжимается на глазах.

Мы ездили с мамой покупать школьную форму. Портфель, куртка, брюки, которых отродясь я не носил, так потрясли, что, облачившись дома в школьный костюм для примерки, не дал его с себя снять, и матери, чтобы все отгладить, пришлось ждать, когда я усну; она сняла костюм со спящего, потому что и уснул в нем. А ночью я проснулся от криков. В комнате ярко горел свет, и стоял посреди нее отец. Он что-то кричал, а после того, как все были разбужены, требовал, чтобы мы с мамой встали с дивана, пытался под него влезть. Он искал по всей квартире щенка, хватился его посреди ночи. Лёлька же забивалась бог весть куда, и он подумал, что заползла она в эту ночь под наш диван. Мама рыкала на него, чтобы он убирался прочь. Сестра сонно привстала и чуть не расплакалась от того, что происходило. Я же затравленно жался к маме, потому что и она прижимала меня крепко к себе, будто защищая от отца, который хотел добиться своего, звал Лёльку и лез переворачивать диван. Мне было страшно от пылающего среди ночи яркого электрического света и от того, с каким отчаянием мама отбивалась от отца. Он ничего ей не делал, даже не мог поднять на нее руки, хоть и озлился, что она гнала его прочь, и беспомощно пытался наклониться к ней, но это выходило у него так неуклюже, будто он хотел ее ударить, а мама отбивалась, не давая ему близко подойти. Тут и я закричал на него — это был залп бессвязный и стра-

ха, и детского бешенства. И он неожиданно подчинился, отступил. Убрался в свою комнату, так и не найдя щенка. Утром я этого не помнил, потому что шел учиться в школу. Но отца с той поры тоже надолго забыл, хоть он и жил рядом, за стеной. Раз только очутился в его комнате и отец сказал написать ему на тетрадном листке, с кем я хочу жить. Мама близко не было, и я притворился, понимая, какой ответ он из меня выпытывает. Своими каракулями, как он требовал, под диктовку написал на листе бумаги, что хочу жить с ним. После я писал точно такую бумагу для мамы, уже под ее диктовку. Старался, выводил буквы, не на шутку пугаясь, что если напишу неразборчиво, то где-то не разберут да отнимут меня у нее, и уже не помнил об отце.

Мама то и дело подзывала меня и страстно говорила, что у нас будет «новая квартира»... И я думал, что это какой-то дом рядом, на проспекте. Слышу постепенно о новом и новом — «новая школа», «новая жизнь», и наконец спохватываюсь, что ничего этого «нового» не хочу. Появилась новая еда; я не понимал тогда почему, откуда такое поразительное изобилие, отчего вообще стало у нас вдруг всего так много. А в коридоре новый шкаф: залезаю на его крышу, прячусь в нем — играю, и так проходит, верно, еще неделя.

В доме появилось у меня двое дружков, старше по возрасту, Андрей и Максим, что жили в дальнем подъезде, почти выходящем на проспект, как на другом конце света. Эти два мальчика-подростка отчего-то дружили со мной, к тому же я оказался с ними в одной школе — школа в утлом переулочке за нашим домом, — и они навевались ко мне в класс, защищали на школьном дворе от таких же бойких, задиристых, как сами, подростков. В школе я оставался после занятий до вечера, там же завтракал, а потом обедал в школьной столовой.

После уроков здание ее и двор пустели, а в пустынных коридорах уже можно было гонять да орать. Приходили мама или сестра, забирали домой, а в переулочке, проходя часу в шестом вечера мимо прямо пахнущего кафетерия, чуть не каждый раз я упрашивал зайти туда, чтобы заказали мне стакан воды с сиропом. Было что-то завораживающее в том, как в стакан вливался из узкой колбочки алый, будто кровь, сироп. Но глубже всего манил меня пряный, душистый кофейный запах, казавшийся чем-то отдельным. Всё дышало теплом булок и кофейных туманов. У столиков, что цаплями стояли на одной ноге, так же одиноко и, чудилось, на одной только ножке стояли за чашечками с кофе удивительные молчаливые люди. Буфетчицы узнавали меня и радовались, что зашел, будто взрослому, и это было простое счастье оказаться в кафетерии, среди этих добрых людей и ароматных странных запахов.

Мама пришла за мной раньше времени, что было удивительно, и сказала, что забирает меня сегодня из школы насовсем. А мы играли в школьном коридоре прямо на полу паркетном в настольный хоккей, и я вышел виноватым перед самым приходом ее: закатил нечаянно шайбу под дверь чужого запертого класса и лишил всех игры. Мама сказала, что мне надо проститься с учительницей и с ребятами, а я все еще старался просунуть руку под запертую дверь, в щель, куда пролезали только пальцы, будто мог достать шайбу: и мне не хотелось прекращать игру. Но дети вокруг уже замолчали и глядели с какой-то завистью, что я, оказывается, от них теперь навсегда уезжаю. Мы пошли домой, а я уже думал про кафетерий, и когда зашли, то неожиданно для матери, выпивая свою сладкую водичку, вдруг стал прощаться со ставшей давно знакомой буфетчицей. «А я уезжаю! До свидания!» В тесном зальчике на меня обернулось человек пять стоящих за столиками людей, мама потянула меня на выход, но буфетчица удержала ее хлопотливыми любопытными вопросами: «Что же это? Куда же вы?» «Мы переезжаем...» — слышу я какой-то извиняющийся мамин голос и, думая, что помогу ей, громко, старательно на весь кафетерий говорю: «А я в суде скажу, чтобы меня оставили с

мамой». Буфетчица догадывается мигом, охает: «Как же вы будете с двумя детьми?» — но мама ей не отвечает и выводит меня на воздух, где клубится от ветра по голому сумеречному переулку опавшая листва. После кафетерия холодно на ветру, зябко. Мама ничего не говорит. Мы молча тянемся в шуршащих листвой московских сумерках домой.

Весь следующий день, начиная с утра, маюсь я во дворе, потому что дома — сборы, а в школу не отвели. Жду Андрея с Максимом у проспекта, когда они придут из школы. Жду их долго, караулю у подъезда, а дождавшись, бросаюсь к ним и докладываю: «А я уезжаю». Они топчутся у подъезда и глядят на меня так, будто им за что-то стыдно. Ушли домой. Но после я вспомнил, что забыл попрощаться с мамой Андрея, и зашел в подъезд, откуда пустилась выгонять меня их консьержка. Я не знал фамилии Андрея и помнил только этаж, где он жил; и тогда набрался духу, бросился бежать вверх, мимо будки, не слушая ее криков. Взбежал по лестнице, узнал квартиру и позвонил, а дверь открыла мама Андрея, очень похожая на мою, за что я так и ластился к ней. Не знал, как зовут ее, а потому сказал, опять же старательно: «Здравствуйте. А я навсегда уезжаю. Вам Андрей сказал?» Андрей обедал на кухне и встретил меня уже чужевато, сердито, когда его мама впустила меня и поневоле пригласила обедать; взволнованный вкусом чужого обеда, я стал все рассказывать, будто ее сын, забывая, что поселился за чужим столом... Раздался звонок. За мной пришла мама, вся запыхавшаяся и растерянная; а за спиной ее — консьержка, которая то ли помогла ей отыскать следы мои, то ли не пускала так же занудно в подъезд и уж за ней-то бросилась вдогонку.

Мама молча схватила меня за руку и потащила за собой вниз по лестнице, так быстро, что у меня подламывались ноги и кружилась в голове. Во дворе тархтел впустую грузовик. Мама подняла меня в кузов, а там уже сидела моя сестра, держа на руках Лёльку, и собралась, набилась тесно, будто табачок в трубку, вся наша старая комната. Грузовик тронулся, поехал. Кузов заходил ходуном. Как в окошке, за пологом, что вздувался от ветра, замелькали дома, люди... Мгновениями я еще узнавал дома и наш проспект, но очень скоро ничего уже не узнавал. Когда полог опускался, кузов и вовсе заполнялся темнотой, в которой было слышно сквозь гул, как скрипит да шатается наша комнатка, а в ней, в глубине, дышит натужно мама, сдерживая спиной стенку из мебели, и унимает скулящую собачонку сестра. Всё, что у нас было, и даже мы сами, оказалось, уместилось в одном этом кузове.

Когда грузовик уже медленно блуждал по лабиринту куцых улиц, засаженных сплошь нелепыми пыльными кустами да заросших, будто сорной травой, вениками безродных тополей, и вонзилось в меня чувство, что я хочу обратно в свой родной дом. И, только стыдясь матери, не желая дать ей почувствовать свою слабость, отчаяние, я не заплакал и не заскулил от этого неожиданного беспощадного чувства тоски и нахлынувшего потрясения, что лишились своего дома и едем неизвестно куда, точно обманутые, брошенные.

Дом наш новый походил на парафиновую свечку, закопченный да оплывший так, будто свечку уже порядком пожгли. Двором была открытая асфальтовая площадка перед единственным подъездом с густо окрашенной масляной коричневой краской дверью. Двор окружали кусты. В глубине, за кустами, куда уводила проломанная через них тропинка, виднелись дощатый стол и две скамьи, где пили портвейн и резались в карты человек десять — двенадцать мужиков, оглашая двор то радостным смехом, то гвалтом матерщины. На них, утихомиривая, порой кричали еще похлеще бабки, что чинно, рядком сидели на скамейках перед подъездом почти в том же количестве, под дюжину, что и мужики. Может, это и не бабки были, а такие старые их жены, но показались они мне старухами, и не было видно близко а также старые их детей. Двое грузчиков, что вылезли из кабины, взялись выгружать нашу мебель; один потащил на спине наш новый шкаф, а другой утащил холодильник. Картежники умолкли и выглядывали поверх кустов. А бабки оглядывали с ревностью маму и сестру, одетых не как они,

будто непрощенных гостей. Одна нарочно громко гаркнула: «Глянь, приехала! Теперь мужика-то по-новой надо искать!» Народец засмеялся, довольный; бабки на скамейках и отдельные от них мужики были все по-своему польщены. После с любопытством пялились на мебелишку и вещички, что, будто голое, оказывалось у них на глазах. Обсуждали креслица, гарнитур. Были довольны — что всё худое, опять смеялись. Люди эти отчего-то безошибочно чуяли, что в ответ лишь смолчат.

Наша новая квартира — на первом этаже; узкий, как приступок, коридор; кухня — голые стены и кафель делали ее похожей на что-то больничное; две смежные комнаты, меньшая из которых могла бы вместить в себя только диван и шкаф, как и вышло потом, и ее заняла сестра; а вид из окон — кусты да деревья, растущие так близко к окнам, что до них легко было дотянуться рукой. И мама будто бы очень радовалась: она сказала, что всегда хотела пожить в тиши и чтобы весной и летом окна утопали в зелени. В квартирке было сыро, темно; чудилось, въехали во всё чужое да поношенное, от совместного санузла до обоев. Остро я почувствовал в ней неожиданно даже не свое одиночество, а мамино, и ее бессилие, которое она старалась скрыть: в ее жизни стало еще больше того, чего она не могла, не умела одолеть — перед чем была бессильна.

Наш с ней диван от переезда разрушился, равно как и у половины мебели что-то ломалось и отваливалось, стоило ее тронуть — у дивана оторвались с креплений боковушки, так что пришлось опустить его на пол и, даже раскладывая, спать будто на полу. Жили без штор, так как их было не на что навесить — прежние хозяева увезли свои карнизы. Комнаты первого этажа казались будто настезь распахнутые, и мы, когда темно, не включали поэтому свет, ходили в темноте. Заглядывали в окна какие-то рожи, пугая до визга сестру, так что переодеваться стало не по себе даже в темноте, и она пряталась для этого в туалете. Я почувствовал, что должен защищать маму с сестрицей; с кухонным ножом в руках караулил окна, ходил из стороны в сторону, наверное, воображая себя солдатом, чем очень их смешил. Из-за своего старания помочь только сильнее портил мебель. Когда мама купила молоток и гвозди, то первое, что сделал, — приколотил дверку в трюмо. Наверное, это выглядело зверством, что я сделал с полированной дверкой, вколов в нее гвозди. Она же стала кое-как висеть, и я был горд. В школу еще не водили, поэтому оставался дома до вечера один, когда сестра с мамой уезжали. Вечером, когда они возвращались, мы сидели допоздна на кухне и разговаривали обо всем. Пили чай, играли в карты. Моим домом стала просто моя семья, а семьей этой были две женщины. Еще от развода осталось в моей памяти слово «разнополые»; так как мы были «разнополые», нам и досталась квартира с двумя смежными комнатами, а где жил теперь отец, я не знал.

Мама, наверное, не хотела обзывать у знакомых ей мужчин. Наладить быт взялась сестра. Она и командовала в квартире.

Свою взрослую сестру я никогда не воспринимал как старшую, она и существовала всегда для меня как-то отдельно. Я знал, что она учится в какой-то «французской» школе и что ее любит Мешков, который тоже в этой школе учится. Мешков любил сестру много лет — чудилось, столько же, сколько и училась она во французской школе. Жил он тоже на проспекте Мира, но в другом доме. Все годы он казался мне одним и тем же человеком — низкорослый (сестра всегда была выше его на голову), стройный, блондинистый, бледный, с нервным румянцем, — хотя из мальчика превращался в подростка, а из подростка превратился в мужчину, но все равно ходил на мальчишку, хоть пыжился и даже отпустил бакенбарды с усиками: в тот год он поступил в педагогический институт.

Это и было всем, что я знал о жизни сестры. У меня много было в доме своего, хоть бы игрушек. А у нее ничего своего, казалось, не было, как у бедной; только чемоданчик-проигрыватель и с десяток пластинок она до слез отставала как свое, возмущенная, бывало, тем, что я замалевал обложку плас-

тинки или вообще притронулся к этим вещам. Свой стол, у окна, она уже не защищала от меня — всё, что хранилось в нем, делалось моей добычей. Она хотела, чтобы мама наказывала меня за то, что я делал с ее добришком, но выходила уже сама в ее глазах виноватой и будто бы наказанной, то есть «жестоккой» или «жадной». Тронуть меня сестра не смела, ей было запрещено это матерью — могла лишь терпеть до слез свою обиду и это унижение. Мне могло быть одиноко и тоскливо без нее, но не бывало ее жалко. Если я вредил ей, то потому, что не выучился с ней что-то делить. Но проигрыватель, маленький голубой чемодан с блестящими замочками, осознавал вещь сестры, если и не частью какой-то ее самой. И я не мог, действительно, к нему притронувшись, боясь сломать, как никогда не притрагивался к одной большой пластинке, оскверняя без раздумья любую другую, только попавшую под руку. Это случалось всегда одинаково... На столе у окна горела лампа, тускло освещающая и комнату. Ее учебники, тетради, как одежды, раскинулись в беспорядке у чемодана, установленного здесь же, прямо на столе, и казалось, что сестра от нас уезжает. Печальный голос и мелодия витали в комнате сами по себе, но чем ближе к распахнутому чемоданчику, тем явственней. А в нем кружилась большая черная пластинка, занимая всё место и так ярко отражая свет лампы, что слепило глаза. И кружение ее было поэтому мало заметно. Оно тоже скорее слышалось. Как шорох. Я искал глазами сестру, понимая, что она должна быть где-то рядом. Прислушивался, пропуская отрешенно сквозь себя и этот шорох, и печальное нытье большой черной пластинки. И за колыханием занавески улавливал удушливые всхлипы — она пряталась ото всех там, на подоконнике, сжавшись в судорожный комок, удивительно маленькая. Заплаканное ее лицо глядело на проспект, где всё казалось бездонным. Сестра слушала незряче голоса с пластинки, а я не понимал этих слов. Не понимая, бывало, помыкивал мелодию, будто она могла что-то объяснить. Но это ничего не объясняло, и тоже хотелось плакать. Стоило же заглянуть к ней, как сестра со злостью задерживала занавеску. Обложку этой пластинки, что хранилась у нее на столе, я воспринимал как фотографию. И мне думалось, что сестра разлюбила Мешкова и любит того, чье изображение я вижу. Мама входила в комнату и тоже заглядывала к ней, ласковая. И она же, рассерженная, хлопывала властно чемодан. Вцарялась гнетущая тишина. Я слышал, как хлопает дверь, — это убегала сестра. И я взбирался на брошенное ее место, вжимаясь лбом в холоднящее стекло окна, глядя и глядя, порой до самого ее возвращения домой, на бездонный, слезящийся огоньками проспект, и ждал, что увижу там сестру.

Каждый приход Мешкова в нашу новую квартирку был мне важен, потому что это приходил мужчина, но Мешков глядел на меня не как на маленького друга, в чем я нуждался, а как на что-то надоевшее. Мама молчала. Сестра уединялась с ним в своей комнатушке, с одним диваном да шкафом. Он даже ночевал у нас, на полу в ее комнатушке, когда караулил тех, кто подглядывал в окна. И раз подкараулил, близко к ночи: распахнул окно, прыгнул вниз, бросившись в одиночку догонять. Он вернулся из темноты побитый, но хвастался судорожно, что это он сам кого-то побил да прогнал. После приезжал со своими друзьями, уже не один, и тогда-то, наверное, они кого-то отыскивали да проучили, потому что в окна к нам больше не заглядывали.

Потом Мешков приехал со своим дедом; тот должен был помочь ему повесить у нас в квартире шторы. Я сидел на полу и глядел, как они деловито работали там, наверху, под потолком. Где-то близко была сестра. И вот в комнату вошла мама... Не помню, откуда она вошла, возвратилась с работы или уже была дома. Но она, по-моему, не знала, что к нам приехал Мешков со своим дедом. Мама вошла, поздоровалась и что-то сказала, что-то спросила для знакомства, совсем незначущее, быть может, по-женски легкомысленное, и вдруг дед Мешкова ей ответил: «Я не разговариваю с пьяными женщинами...» Они как раз стояли под потолком, дотягивая струну. Мешков шикнул на него. Но тот усмехнулся и с тем же выражением лица, топорно-грубым, брякнул

что-то еще, отчего мама, смолкшая растерянно, вдруг с дрожью, бледнея от гнева, произнесла: «Пошел вон...» Пожилой мужчина слез недовольно и взялся собирать инструмент. Мешков зарделся румянцем и отчего-то с важным видом помогал ему в этом. Они ушли, правда, уже сделав работу. Сестра со слезами, какими-то надсадными, скрылась в своей коробке-комнате, и мама не заходила к ней, просидела одна остаток вечера на кухне, где много курила и глухо молчала.

Потом Мешков опять стал у нас бывать. Они закрывались с сестрой в комнате, а я всё хотел туда заглянуть, чтобы оказаться с ними. Я тихонько открывал дверь, но Мешков ее тут же перед моим носом захлопывал или выходил и пугал, чтобы я не лез. Но страха я не знал, и никто никогда ничего не запрещал мне в доме делать; наверное, поэтому снова и снова лез, уже им назло, в комнату. Чтобы я не понимал, они переговаривались на французском. Мне было противно, когда я видел, что он целовал мою сестру, и я замирал от оскорбления, а по-детски — от отвращения даже, когда он трогал ее как свою вещь. Желая от меня избавиться, Мешков давал, бывало, с одобрения сестры мелочь, копеек двадцать, и говорил, что я должен за это сделать: не входить в комнату сестры. Или даже бросал горсть мелочи на пол, красуясь, наверное, перед сестрой, а во мне вдруг вспыхивала жадность, и я ползал в поисках медяшек, разлетевшихся по полу. Потом мучился презрением к себе. Медяшки ненужно копил в банке, хотя не мог их потратить даже на мороженое, потому что не выходил из дома.

Слыша, что мама терпит без денег до зарплаты, я не выдерживал и приходил к ней со своей банкой, где копил мелочь, и всё отдавал. Сестра — чувствовал я — презирала меня, когда подбирал я у Мешкова мелочь, и получалось, что они презирали меня вместе, хотя и по-разному. Но когда сестра говорила, чтобы я отдал ей то, что насобирал, как бы вернул хозяину, — а это случалось, когда ей до нетерпелу нужны были хоть какие-нибудь деньги, чтобы поехать к своим приятелям на проспект, — то я отдавал, сколько было, чувствуя за что-то свою вину перед ней.

Бывало, что она прогоняла Мешкова, унижая его нещадно, запрещая впредь так обращаться со мной, и отчего-то опять же плакала. Когда повышали голос, это вызывало во мне только желание еще больше что-то сделать наперекор. Сестру это выводило из себя, особенно в присутствии Мешкова. Как-то она крикнула оскорбительно на меня — и я было обозвал ее в ответ, крикнул: «Дура! Дура!» Она подбежала и ударила меня по щеке. И я, как звзрек, кинулся на нее; но до этого никогда у нас не было так — так отвратительно, так плохо. Сестра не могла уже сдержать себя, и, придя в ярость, начала рыдать, а тут выскочил из-за ее спины Мешков, и лицо его перекошенное, кулаки сжатые так меня испугали, что я бросился бежать — на кухню, к маме. Я успел только ухватиться за нее, как вбежал на кухню и Мешков, весь багровый, сжимая костистые свои кулаки. Мама ничего не понимала. Он произнес хладнокровно то ли «простите, Алефтина Ивановна», то ли «извините, Алефтина Ивановна», как говорят, когда хотят побеспокоить, и, отцепив меня от нее, как паучка, на ее глазах ударил со всей силой по лицу, так что я, оглушенный, упал на пол. После он сразу попятился и пошагал к выходу, верно, испугавшись. Хлопнул дверью. Сестра убежала за ним — и снова хлопнула дверь. Мы остались одни. Мама заплакала и стала меня оживлять, утешать. Меня никогда еще в жизни не били. Не знал я ни боли этой, ни чувств этих, когда тот, кто гораздо сильнее, бьет тебя только потому, что захотел этого или посчитал нужным. Мне почудилось, будто я жук или муха, словом, вовсе не человек; а еще испытал я в тот миг всю свою слабость, ведь я и был слаб, как муха слаб, но думал о себе, как и обо всех людях, считая, что одинаков с ними, будто такой же сильный, такой же в полном смысле человек, что и они, которого никто не может ударить. А главное — беспомощность матери. Ведь меня ударили у нее на глазах, и она ничего не могла сделать.

Той же осенью, когда закончились каникулы, я снова пошел в первый класс, но уже в новую школу. Два-три раза мама отвела меня туда и привела сама же домой, чтобы запомнил дорогу. За нашим домом, похожим на парафиновую свечу, оказалась череда таких же домов, блочных одноподъездных девятиэтажек. Надо было пройти по тропинке из бетонных плит мимо этих домов, после свернуть и идти прямо, а там пересечь спокойную улицу — в том месте были киоск «Табак» и киоск, где продавали газеты. Потом надо было пройти наискосок чужими дворами, срезая угол, и снова пересечь уже другую улицу; а кругом были невеликие пятиэтажные дома, окруженные деревьями, у каких-то домов росли почти куски леса, где прятались стаи ворон, что молчаливо сидели на голых ветвях да сучьях, и не было их слышно, будто уснули. Кругом низкие блочные дома, плешивые пустыри, которых никогда я не видел, и еще вовсе не обжитые, чем только не заросшие вялые просторы земли. На глазах возникали серыми дырами воздуха, почти деревенского, прямые и короткие улочки, надуманные будто бы ради одних своих названий.

Наш новый адрес был — «улица Седова»; а дальше, что легко было запомнить на всю жизнь: два, два, два... Дом, корпус, квартира — все по двоечке. Цифры-близнецы удивляли и казались мне долго загадкой, будто в их совпадении скрывался какой-то смысл. Но никакого смысла тайного за ними не скрывалось, кроме того дома, корпуса и квартиры, на которые они указывали. В первый месяц, возвращаясь из школы, я путал, где мой дом, а где точно такой же чужой, не доходил до своего дома и однажды даже ткнулся ключом в замочную скважину квартиры номер два, а открыл дверь чужой человек, мужчина, так что всё у меня замерло в душе. Еще не соображая, что попал в чужой дом, в чужую квартиру, принялся бесположно рассказывать этому человеку про то, что мы переехали и что должен я жить в этой вот квартире. Он принял меня то ли за дурачка, то ли за шпану и прогнал без лишних слов.

Станция Правда

К шести годам у меня обнаружилось косоглазие, я слышал: «Телевизор испортил зрение». Но больным или хилым себя не ощущал. Страдание заключалось разве что в очках, которые стыдился носить, ведь их к тому же залеплял пластырь, делая меня одноглазым. Из-за нелюбви к очкам что ни месяц то разбивал их случайно, то прятал и терял, а это угнетало до безысходности маму. Лечиться от косоглазия возили куда-то в Останкино. Это лечение походило на игру, потому что назначенной процедурой были гляделки в оптический аппарат — почти телевизор, только со встроенным в него биноклем, в черно-белых зрачках которого то появлялись, то исчезали, как тени, изображения-близнецы. Например, зайцы. Нужно было глядеть так, чтоб поймать одновременно взглядом каждого, то есть глядеть не иначе как в оба глаза. Очень долго. И при этом угадывать лишь по контуру, чье же изображение появилось, сообщая медсестре вслух. Потом уже всё помнил, делая только вид, что угадываю, а затем делал вид, что гляжу, хоть пряча глаза в бинокль, жмурился, чтоб ничего не видеть. Первое не казалось обманом, потому что должно было угадывать, пусть и помнил все картинки. А делая то, что должен, в другом обманывал уже сознательно — прикидывался, что гляжу во все глаза. Но скука процедуры отвращала сама по себе, и уже не было сил всю ее до конца стерпеть. А где не было сил, все облегчал чудесно обман. Стоило только обмануть уже не самого себя, а требующую одного и того же занудную медсестру.

Это было то время, когда бабушка Нина решила по-своему вмешаться в ход событий. Что ее со мной что-то связывает, понимал я от случая к случаю, но тогда же приходилось чувствовать: в доме происходит нечто плохое. Она обратила на меня внимание, когда ей стало, наверное, яснее ясного, что моя мать собирается с духом и хочет избавиться от ее сына. Он-то, сын, всегда и

заботил. Но забот было куда меньше, когда за ним следила, ухаживала женщина. Порой я слышал, как бабушка так и говорила о маме: «Эта женщина». Тогда, в 1976 году, чтобы уединить отца с матерью и попытаться тем самым спасти их брак, она решила забрать меня на год к себе — туда, где я никогда еще не был. И все были согласны, и всё было решено. К разлуке готовили разговорами о болезни. Этой мысли я всё охотней подчинялся, млея от особенного чувства, когда всё вокруг тебя, болеющего, делается нежным и добреньким, а сам становишься вдруг необходимой для всех персоной. Я знал, что пройдет всего год и я пойду учиться в школу. Но чтобы пойти учиться, нужно полечиться и успеть за этот год выздороветь, избавиться от своей болезни.

Вот бабушка приехала и позвала в большую комнату. Что-то спросила, но я дичился. Дала что-то в руки, сказала, что это жвачка. Ухожу из комнаты и бегу скорее в комнату, где сестра с мамой, кричу, что бабушка Нина подарила мне жвачку, уже не прячу радости, но всё тут же переворачивается: никто не рад. Ломаю напополам, тычу половинку сестре, чувствуя себя отчего-то виноватым. А пока в душе всё глуховато затихает, на глазах моих происходит следующее: вошел в комнату отец, увидел, как я делюсь с сестрой жвачкой, поглядел молча, постоял, вышел прочь, угрюмый, — и вот неожиданно слышатся крики. Он кричит на бабушку, что-то требует. Она огрызается на него, обзывает. Проходит так минут пять. Врывается в комнату к нам отец, всего его трясет нервной дрожью, подходит к сестре, вкладывает ей что-то в руку с силой: «Возьми, Олесенька... Это тебе...» Уходит куда-то прочь. Но теперь сестра глядит без всякой радости, так же виновато. После я снова вижу бабушку, она позвала меня спустя время. И, уже чувствуя, что ухожу к ней от мамы с сестрой, которые мне роднее, затаиваю где-то глубоко это чувство, раздваиваясь между ними и бабушкой. Она вальяжно лежит на диване, то ли спать собралась, то ли отдохнуть еще перед сном. Она осталась в доме, заняла диван и комнату отца, и это заставляет меня безропотно подчиняться ей как самой сильной в доме. Она захотела почитать мне книжку. У нее есть для меня откуда-то книжка детская с картинками — как хорошо!

Теплая полутемная комната — горит только торшер у дивана — мы лежим рядышком, она читает вслух сказку. Стараюсь услышать, понять, но оцепенение в доме таково, что я чувствую — это чтение вслух, теплая, на двоих, обстановка в отцовской комнате, куда вселилась она, — только ширма. Вдруг в комнату является с волнением мама. Она дрожит, хочет сказать или сделать нечто для себя очень важное. Мне кажется, что мама пришла за мной, что я и есть это важное. Бабушка говорит ей что-то резкое, и мне уже вовсе непонятно, о чем у них речь, между ними я как чужой, но остро чувствую, что делает бабушка: она выгоняет маму, командует ей, лежа со мной на диване, уйти из комнаты и закрыть за собой дверь. Появляется на шум отец, заходит нерешительно в комнату. «Убери от меня эту душевнобольную!» — приказывает бабушка ему. Отец растерян. Бабушка прижала меня, так что голос ее гудит прямо из ее груди мне в ухо, как если бы оказался я внутри нее, а там — покойно, тепло. Мама не утихает, отец ее вытесняет из комнаты, слышу обрывки: «Как вы смеете...» И вот отец захлопнул дверь, мама осталась там, за дверью, и вся моя семья осталась там, весь мой дом. Бабушка мне говорит ласковое слово и продолжает читать полным покоя голосом, а я затаился — голос этот уже греет меня да ласкает до мурашек по коже. Только того и жду с замиранием, что книжка будет дочитана и голос смолкнет. К своим возвращаться не хочу; пусть остаются они там, а я — в одной с ней комнате, где так покойно и хорошо. Она имеет власть надо мной потому, что отнимает меня у матери. Но я терплю и боюсь, жду, когда ж она отпустит от себя, а до этого чувствую, что остаюсь на ее стороне, лежа в обнимку, как трус, потому что она здесь всех сильней. А наутро бабушка увозит меня из дома на проспекте, как бестелесную тень, нагруженная даже не моими вещичками, а сумками с продуктами.

Я видел только белое как снег небо, глядя на него из леса высотных домов, хоть над Москвой жарко светило солнце и не было вовсе зимы. Мы втиснулись в автобус, где я вцепился изо всех сил в бабушкину тучную, как тесто, руку. То и дело я тянул бабушку за руку, чтоб она поглядела на меня оттуда, со своей вышины, и спрашивал, куда мы едем, должно ли нам еще, а в ответ слышал — «правда», «правда» — и не понимал, как может так быть, что мы едем с ней в «правду». Доехали до огромной площади, по которой сновали десятки таких же, как наш, автобусов. Кругом тысячи разноцветных людей, с чемоданами, детьми, разной, только что купленной утварью. Из растрюба гудящего площади рвались в небо наподобие звуков сверкающие на солнце шпильки вокзалов. Мы же спешили, почти бежали, будто за нами гнались. Я помнил Киевский вокзал и поезда, но этот вокзал был совсем другой, покрытый только навесом, как базар, и на путях стояли вовсе не составы вагонов, а будто б сцепленная вереница низеньких крепких автобусов — электрички.

Люди там сидели на деревянных лавках и густо стояли, как в автобусах, но это были все же поезда, всё пахло внутри смолистым горьковатым духом. Мне подумалось, что бабушка живет очень далеко, если к ней надо ехать на поезде. Уже сидя с ней на лавке внутри вагона, теребил ее, желая знать, куда ж мы едем, но снова слышал — «правда», «правда», будто бабушка соглашалась с чем-то. Скоро наш вагон тронулся. А я стал жадно разглядывать людей, думая, что все мы едем в одно место, и болтал без умолку со всеми этими, чудилось, добрыми людьми, вовсе не замечая остановок и того, что люди в пустотах времени появляются да исчезают, как огоньки... Очнувшись на плоской бетонной дорожке, поднятой над землей, откуда было видно в замершей дали голубовато-дымчатый лес. В конец пустынной платформы передвигались поодиночке человек десять, сошедшие с поезда. Руки почти у всех были заняты поклажей и отвисали, как жерди. Воздух молчал лесной тишиной и пах до головокружения хвоей. Электричка, будто с горочки, тронулась и бесшумно укатилась вдаль, превратившись на глазах в свежий зеленый ветер. По другую сторону открылось одноэтажное здание станции, похожее на спичечный коробок. Как на бережку, изнывали на платформе люди, ожидая, всё одно что переправы, поезда уже на Москву. Над платформой, парящие в воздухе, большие буквы — ПРАВДА — название станции. Таких слов, что насиживали плакаты да транспаранты, похожих на вездесущих ворон да голубей, было полно и в Москве, а их стаи налетали на проспект наш в праздники.

Мы бредем по платформе. Бабушка поучает: «Вот, вот, запоминай, сыночек... Станция Правда, улица Лесная — вот где живет бабушка. Станешь взрослый, будешь сам к бабушке ездить, гостинчики ей возить, навещать, отдыхать...— И бормочет уже себе под нос, снова вспоминая: — Станция Правда, улица Лесная...» А я удивляюсь: «Правда? Ты, бабушка, живешь в «правде»? Ну скажи, бабушка!» «Живу, живу...» «А тут живут, кто говорит правду? Скажи!» «И правду, и неправду — все, кому надо. Кому дали квартиру». «А тебе дали?» «Дали. А если будешь любить бабушку, тебе одному достанется, когда умру».

От станции бабушка шла долго. Каждый встречный человек оказывался ей знакомым, чуть не родным. Но я чувствовал, что люди больше смущаются, когда бабушка встречала их на улице как родных. Стоило молодой, покорного вида женщине поздороваться с ней благодарно, как бабушка остановила ее, называя «Анечка моя», да завела долгую беседу, обо всех да обо всем расспрашивая, особенно про то, кто да что купил у них в магазине. Женщина подробно ей отвечала, не уставая и благодарить; мне стало понятно, что бабушка чем-то выручила ее, дала что-то из одежды для ее детей. Но на том бабушка с ней не рассталась. Ей зачем-то было нужно начать изливать и свою душу, будто наваливаясь со всей силой на эту попавшуюся ей по дороге серенькую, неприметную женщину. Неожиданно я испытал чувство, схожее с унижением,

и мне стало стыдно за бабушку, которая как побиралась разговорцами у людей. Но вдруг бабушка, как если б нарочно для моих ушей, принялась с удовольствием жаловаться на мою семью, и я услышал, как она назвала маму «падшая женщина», а меня называла — «больной», «больной». Слушая, я стоял подле нее, как на привязи, и только растерянно, униженно молчал. Наконец бабушка рассталась с этой женщиной и мы молча пошли своей дорогой. Не замечая, что произошло со мной, бабушка, только мы отошли подальше, произнесла презрительно: «Оборванка... И дети у нее ходят оборванные, грязные». — И властно повлекла меня за собой, будто подальше от заразы. И мне так стало жалко эту женщину, ее детей, себя самого, маму, что хотелось заплакать. Мне еще почудилось, что только мы окажемся за стенами дома, когда никто ничего не будет видеть, то бабушка что-то сделает со мной: не будет кормить, станет наказывать за всё ремнем.

Но, пока мы шли, бабушка делалась, напротив, всё ласковей. А навстречу нам вырос островок: два светлых кирпичных дома, с ухоженным внутри двором, с травой, деревьями, асфальтовыми дорожками, где даже играли дети, и я успел подумать, что это и есть «правда». Лес отступил от домов и глядел с опушек, чудилось, опасливо, с удивлением на городские широкие дома. Бабушка совсем повеселела. Дом был как дом, только было пусто без лифта и пахло кошками. Когда бабушка входила в квартиру, то, прежде чем пустить и меня на порог, остановилась и внушительно сказала, стараясь, однако, говорить потише, будто могли услышать: «Когда я умру, сыночек, всё будет твое». Тут я в первый раз осознал, что она называет меня отчего-то этим словом — «сыночек».

Квартира была из одной большой комнаты. В этой комнате и жила она одна, без мужа. Это обстоятельство ее жизни открылось так же неожиданно для меня, как и сам этот мирок, где всё было чисто, светло, просторно, будто из воздуха. Дед с бабкой в Киеве жили куда иначе, там приходилось ютиться, чтобы не мешать деду, и душновато было от портьер да ковров. А бабушка Нина жила одна, и я вдруг подумал о том, что если есть у меня она, то должен быть и он — тот, кого зовут «дедушкой». Это и был первый мой осознанный к ней вопрос о нашей семье.

Бабушка торжественно указала одну из фотографий на стене. С нее глядел блеклый молодежавый мужчина. Сказала, что это и есть мой дедушка, ее муж, которого звали Павлом. Что он умер еще тогда, когда я не родился на свет. После этого, будто удивленная, что говорит о мертвом человеке, умолкла. Ждала чего-то долго и вдруг пугливо заплакала, прижавшись пугливо, сквозь слезы, рассказывать, кто он был такой, а я был так этим потрясен, что, глядя на фотографию, тоже беспомощно заревел.

Свет и покой в этой комнате, где я будто потерял себя прежнего в первый же день, казались мне потом долго тем порядком, что должен царить после умершего человека. Я ходил глядеть на фотографию дедушки Павла, как на могилку. Но это ощущение близости к смерти не пугало, не отвращало, а усыпляло, успокаивало.

Бабушка не ходила на работу и почти не выходила из дома. Было начало лета. Мы сиживали днем на балконе, и она рассказывала мне про дедушку. Если мы не сидели и не дышали воздухом на балконе, то ели или спали. После еды бабушка садилась в кресло, будто вращалась в него, и, что-то рассказывая, засыпала, а ее мерное, покойное храпение усыпляло мигом и меня. Потом был обед. И всё повторялось. Потом ужин — и так доходило до вечера. Вечером, успев уже по два раза выспаться, я бессонничал до глубокой ночи, часов до двенадцати. После ужина бабушка уже не садилась в кресло, а ложилась на диван, обкладывая себя маленькими шелковыми подушками, и включала телевизор. Через минуту-другую из подушек доносился ее храп. Я еще ждал немножко и, уверившись, что она крепко спит, пускался в путешествия по ящичкам шкафов, находя в одних медали, сверкающие

камушки, янтарь, спутавшиеся ворохом серебро с золотом — серьги, кольца, цепочки; в других — склады печенья, конфет, неизвестно откуда взявшихся у бабушки жвачек; а в остальных — залежи фотографий, бумаг, карандашей, чистых выцветших тетрадок, папок, заграничных диковинных авторучек, где засохли стержни. Печенье и конфеты тоже были тверды, как сухари. Но всё это бабушка хранила с великой страстью, не позволяя мне о том богатстве знать.

До ночи я играл со всем этим богатством, как со своим, грыз конфетки, пока бабушка пребывала в беспробудном своем сне, а когда телевизор, звуки которого делали для меня нестрашной ночь, вдруг начинал шипеть и мерцать, будто злился, я не выдерживал и будил бабушку — долго будил, пугаясь не однажды, что она умерла. Но бабушка вдруг с шумом оживала. Всякий раз она просыпалась, будто выныривала из-под воды, жадно глотая воздух, и долго не могла надышаться. Лоб ее покрывался в миг пробуждения золотым потцом. Лицо румянилось, как у девушки. Она в полусне еще спрашивала, хочу ли чего-нибудь съесть, — и так по нескольку раз: «Может, творожку?.. Может, сметанки?.. Может, колбаски?..» И успокаивалась, когда перебирала всё, что пришло на ум. И всё это у нее было — в баночке, в погребок, в холодильнике, все эти творожки да колбаски. Она стелила, с трудом волоча отекившие от сна ноги. И я мигом, еще при свете люстры, засыпал от усталости, в блаженстве думая, что когда она умрет, то я стану хозяином всего, что отыскал, и всей этой комнаты.

Бабушка хранила всё. Бывало после так, что она просила привезти в Правду вещи, ею подаренные, но давно мной изношенные, а нужным ей было это тряпье только для того, чтоб хранить, беречь его у себя в шкафу. Если вещь оказывалась выброшенной, то она очень огорчалась, страдала и долго не могла про нее забыть, поминая, а возможно, даже не веря, что ее выбросили, а не продали. Старье она собирала тоже в надежде продать: будто можно было потратить деньги на вещь и потом, износив эту вещь, выручить их обратно. Здесь, в Правде, ей все же удавалось выменять вещи на что-то полезное, хотя бы на помощь, чтобы, покупая для себя в магазине молоко, покупали и ей, а потом приносили. Добро ее во многом и состояло из такого вот тряпья да старья, хоть шкафы ломались.

От вещей страсть к тому, чтоб копить, прикапливать, перешла у нее и на все невещественное. Так за жизнь она скопила целую коробку писем, открыток. У нее была книженция, навроде записной, которую она так почему-то и называла «книженция». Там содержались фамилии и адреса людей, живших по всему необъятному Советскому Союзу, от Магадана до Кишинева, каждый из которых чем-то когда-то оставил зарубку в ее памяти. На каждый праздник, будь то Новый год или День Советской Армии, бабушка накупала открыток, засаживалась за свою «книженцию» и поздравляла всех этих адресатов, следуя строго по алфавиту. После она с ревностью ждала, когда к ней самой начнут поступать на праздник открытки из разных городов. Собрав урожай, бабушка определяла, кто ей не ответил поздравлением из тех, кого поздравила она. Этих она навсегда вычеркивала из «книженции», потерпев убыток. Именно так: при всей своей жадности до денег бабушка не скупилась на открытки, будто те, что приходили в ответ, окупали расходы ее с лихвой, а может, и приносили один ей понятный прибыль. Вести переписку она предпочитала с семейными или со вдовыми, как сама, женщинами; от одиноких мужчин ничего полезного не ждала и не терпела их на дух, будто моль. Иногда те, кто жил в Самарканде, сердобольные, высылали ей посылочку кураги. А кто жил на Украине слали килограмм-другой гречки. Притом половина этих добрых людей была с ней знакома почти только по открыткам и письмам. Но бабушка чем-то умела так расположить к себе, что становилась для них родной. Плоды этого родства душ, командировочных и санаторных дружб — открытки, письма, что слетались на каждый праздник, будто ласточки в гнездо — от-

правлялись на хранение в коробку. И никогда бабушка не позволила хоть бы одной открытке или письмецу пропасть. Наверное, это были сотни, нет, тысячи поздравительных открыток, копившиеся многие десятки лет, аккуратно перевязанные в стопки по годам, сложенные в коробку стопками, как банкноты, похожие и вправду на деньги, но большие, старые.

Так прошло лето — сонливое, теплое, полное покоя. Каждый день бабушка давала мне рыбий жир, понуждая пить его как лекарство. Еще делала каждое утро кашу: мешала тертые яблоки и морковь с медом и сливками. Чашку этой смеси должен был я съедать как лекарство от своей болезни. Потихоньку свыкся я с тем, что нахожусь у нее как на излечении и что не вижу дома, родителей, как все больные дети, которых увозят врачи. Что скрывалось за этим — я только чувствовал, когда тосковал по дому, но ясно не осознавал. Только когда я вспоминал о матери, будто просыпаясь ото сна, бабушка менялась в лице, точно срывая маску... Она была полной, даже тучной, но при том лицо ее было очень красиво: строгость и властность делали его похожим на искусную маску, что могла принять какое угодно, нужное по случаю выражение, однако после лицо непоколебимо принимало властный вид, только что, казалось, на дух уничтоженный, когда что-то у кого-то просила для себя или кому-то на кого-то жаловалась. Но тогда ее лицо делалось даже не властным, а злым, мстительным. Что-то слабое, дряблое, уродливое являлось со вспышкой ненависти к «этой женщине». Она почти не могла говорить, рыкая злые слова. Потом вдруг унималась, наверное, понимая, что пугает меня, и так же неожиданно выдавливая из себя жалобные слезы. Она жаловалась, плакала, а я начинал ее нестерпимо жалеть, уговаривая, что люблю ее и останусь с ней жить. Но бабка оставалась довольной лишь тогда, когда внушала осуждение родителей за грехи, будто они «пьют и курят», а мы с ней за эти вот их грехи страдаем: мы страдаем — а они пьют и курят.

Осень была уже куда тоскливей. Бабушка стала работать, здесь же, в Правде, на почте. Я сидел в ее закутке, помогая ей раскладывать газеты для почтальонши, штамповать письма, ухаживать за посылками — и так каждый день, будто и сам ходил на работу. Она всему хотела научить, начиная с того, какая пища здоровая и какими кусочками ее нужно есть. Писать, читать, рисовать, убирать и стелить постель учила. Говорила, что меня нужно отдать научиться плаванью и еще многому, о чем до нее никто и не подумал. Все мои рисунки и каракули для чего-то взялась тоже копить. Этим я увлекся так сильно, что не подмечал совершенно ее диктовки, потому что если рисовал маму или отца, то с огромными дымящимися сигаретами. А из каракулей выходило уж и нечто внятное, даже похожее на стихотворение, что называлось «Курякам и Пьянчугам». Этот стишок по ее наставлению я заучил и был очень горд, когда просила читать для нее вслух, — читал с выражением как на детсадовском утреннике, а она расхваливала, довольная.

Несколько раз отец с матерью приезжали в Правду. Выглядели они свежее, дружнее. Оставались ночевать, а наутро уезжали. Притом бабушка оберегала от меня всякое их уединение, и когда просился я лечь с мамой, то она зло душила в один миг это щенячье нытье. После их приездов я видел бабушку опять же довольной, уверенной в себе.

Потом встречали Новый год. К бабушке в гости приехал какой-то странный человек. Он был одних с ней лет. Такой тихий, невзрачный, что его присутствие было заметно, наверное, лишь для бабы Нины. Она была нарядно одета. Улыбка почти не сходила с ее лица, — а этот человек, которого бабушка называла Карлушей, фотографировал нас с нею у новогодней елки — так она хотела.

Зимой бабушка отдала меня в детский сад, наверное, потому что нашла новое место работы, куда с детьми не пускали. Детский сад находился прямо под окнами дома, а за ним уже начинался лес. Стало даже лучше и веселей, но

однажды она не пришла за мной, когда всех детей разбирали по домам. Такого полного сиротства я никогда еще не ощущал. Это было и унижение — спать на раскладушке там, куда поутру приходили дети: несколько человек, нас будили, приказывали убирать постели, умываться, одеваться, и тут же нас обступали домашние дети, одни норовя помыкать, другие простодушно жалели. Я не помню в точности, как и почему это случилось, но откуда-то знал единственное возможное объяснение: что бабушка моя уехала, но скоро приедет. На прогулках можно было смотреть на окно и балкон ее квартиры. И все это время я проводил в таком ожидании, будто стоя под ее окнами, думая, что встречаю бабушку. И однажды увидел ее: вышла на балкон, что-то вытряхнула, скрылась. Бросился к воспитательнице и закричал, что моя бабушка приехала. Та, верно, мало что поняла, но разрешила ждать уже в раздевалке, когда начали приходить за детьми. А за мной не пришли. Тогда, быть может, я просил пойти за бабушкой, которую видел на балконе. Но никто за ней не отправился. Не помню, что было со мной в эту ночь, и на следующий день, и в следующую ночь, так как уже очнулся от всего этого, будто был в бреду. Верно, за бабкой всё же сходили. И тогда уж она пришла. Но мне стало так страшно с ней жить, что, когда она засыпала и храпела, я не сдерживал слез и плакал, не постигая, отчего же так долго живу без матери.

Потом была весна. Я очутился в Москве. В огромной пустой квартире, опять же не понимая, как это произошло. Бабушка оказалась в ней хозяйкой. Это даже была и не квартира, а дом, в котором я проплутал все то время, что жил в нем. Помню лишь светлое окружение паркета, светлое и бездонное, точно ходишь по небесам; шведскую стенку до потолка в одной из комнат, потому что лазил по ней; настесь распахнутую гостиную, отделенную от холла во весь размах воздушным стеклянным витражом вместо стены; легкая обеденная мебель в гостиной будто танцевала и никогда не стояла в моем воображении на одних и тех же местах. Картины, охотничьи монументы из оленьих рогов, ружей, кинжалов. Стены книг, где на книжных полках стояли рядками собрания важно-тяжелых вещей, что могли быть лишь подарками, сделанными под стать тому человеку, который один, наверное, и понимал их смысл. Там были куски угля, окованные в серебро, шахтерские отбойные молотки, тоже маленькие и серебряные, воткнутые в малахитовые постаменты. Множество фигурок шахтеров. И еще в разном исполнении — округлая звезда с ядрышком в сердцевине, символ атомной энергии.

Я не понимал, кому это все принадлежит и почему бабушка хозяйничает в этом доме. Она обучила в нем жить как в музее, ничего не трогая руками и отчего-то втихомолку. Я помню путь, которым прошел, когда всего раз выходил вместе с ней из дома... Он начался с вымерших пустот этажа, спуска на бесшумном лифте, где все походило на комнату: свет, ковер под ногами, сбоку зеркало в человеческий рост. Там, где мы сошли, путь на выход указывала ковровая дорожка. За конторкой в глухой тиши лифтовой залы застыл милиционер, он отдал честь, будто механическая кукла, и точно так же проводил глазами к массивной, но легчайшей двери. От дома, что тянулся каменной лестницей на небеса, мы шли в подъем по скучной улице с желтушными низенькими домишками, пока не вышли на площадь, по которой вольно гулял ветер, перелетали лениво голуби. Я, наверное, никогда до этого не видел памятников или не оказывался так близко к ним — и вот увидел этого исполинского человека, курчавого, в плаще, с опущенной головой. После всё спускались и спускались по песчаной широкой дорожке, что тянулась в аллее одинаковых городских деревьев. Мне же было безразлично, куда мы шли. Всё кругом было неизвестное и чужое — походило на лабиринт. Это безразличие, опустошенность и свободу было всё же удивительно ощущать в душе. Понимая, что возвратился с бабушкой в Москву, я с той самой поры жил с ощущением, что теперь обязательно встречу свой дом и что каждая улица должна вести к

нему, а значит, быть от этого волнительной и знакомой. Но, кроме железного курчавого болвана на площади, ничто так и не взволновало и ничего не было похожего на мой дом или двор. А возвращаясь обратно, видел всё то же самое: бульвар, памятник, скворечники особняков, уединенную высотку, конторку с застывшим милиционером.

Сколько я прожил в этом доме? Что в нем делал? Не помню, не знаю... Но однажды бабушка ввела меня в одну из комнат, куда я до этого не входил. В ней восседала на какой-то детской постельке старуха, верно, только что очнувшаяся ото сна. Она была вся маленькая и сморщенная, с отростками бесцветными волосиков на голове, будто младенец, а личиком похожая на ворону. То ли веко, то ли поволока вдруг захлопывали ее мерцающий пронзительный взгляд. Бабушка с трепетом подвела меня к ней, что-то сказала, и тайная, будто прятавшаяся всё это время старуха, уже не моргая, долго и устало глядела на меня. После осмысленно произнесла мое имя — это далось ей, верно, с таким усилием, что сразу же немощно завалилась на бок. Держась на локте, она еще махнула рукой передо мной, будто прогоняла мух, и повалилась на спину, слегла, задышала тяжело и хрипло. Бабушка Нина вытолкала меня за дверь, и я снова очутился в пустоте, но уже понимая, что мы жили в ней, оказывается, не одни.

Потом будто бы вспыхнул свет — и вошел ее хозяин, а мы очутились уже в окружении его семьи. Маленькая старуха была без ног: я увидел, как хозяин с тем же трепетом входил к ней, подымал, совсем голую, на руках, когда бабушка Нина перестилала ее кровать. Вместо ног из-под старухи торчали розовые культшки. Было еще непонятней, зачем мы живем здесь с бабушкой. Я сидел на кухне, при ней, чувствуя, что она обслуживает хозяев, но чужой дородный мужчина, очень похожий на бабушку, называл меня ласково по имени и со смущением заходил на кухню, приглашая к общему большому столу в зале, за которым собралась его семья. Никого из этих людей я не знал и не понимал, какое имею к ним отношение, пока, сидя в их кругу за столом, не догадался по разговорам, что это моя родня, а хозяин дома — брат моей бабушки. После застолья хозяин подозвал меня к себе: кто-то из его взрослых детей нас фотографировал, — он сидел в кресле, обнимая меня одной рукой, а я стоял вровень с его плечом. Бабушка шикала из-за спины того, кто фотографировал: «Улыбайся...» — желая видеть на моем лице улыбку для снимка. Я же, напротив, окованный каким-то стыдом, еще и за нее, что она так унизительно хотела, чтобы я улыбался, сделался хмурым, угрюмым. Но хозяин рассмеялся и уговорил ее оставить все как есть. И когда ярко сверкнула вспышка, запечатлевая какой-то слепой уж и крошечный для меня миг жизни, я всего на мгновение почувствовал этого человека: крепость его плеча и его обыкновенный покой.

Почти сразу после этого бабушка засобиравшись уезжать. Вся большая семья провожала нас в дорогу. Хозяин подал ей полную сумку продуктов. Мы спустились на лифте. Милиционер за конторкой отдал честь. В промозглости дождя над площадью сверкнул мокрой кучерявой башкой одинокий памятник. Снова спустились — уже под землю, где ползущая змеей, будто живая, лестница, умыкнула в сухой и светлый мраморный мешок метрополитена. На глубину. В пронзительно узком, свистящем мглою туннеле помчался такой же светлый и сухой вагон метро, пущенный неведомо куда стрелой, полный людей. Мы вышли на огромной площади. Кругом были тысячи людей, с горбами и горбиками покупок, детьми, дорожной кладью, собаками, туристскими рюкзаками или сумками, раздувшимися от продуктов, из которых торчали то цепкие дохлые куриные лапки, то колбасные палицы, то соломинки макарон да измотанные склизкие рыбы хвосты. И шпили трех вокзалов сверкали в сумрачной сырости своими иглами среди ниспадающих тонких нитей дождя.

Потом было лето. За бабушкой приехал Карлуша, или Карл. Она собрала мои и свои вещи, сказала, что мы поедем к нему в гости и велела называть

дедушкой. Дедушка Карл жил в деревянном домике, на такой же станции, что и наша, совсем неподалеку, только называвшейся каким-то другим словом. Кругом жадновато ютились на своих кусках земли кирпичные гнездышки и дощатые скворечники дачного поселка. А люди, что слетались в них летом, огороженные друг от дружки заборами, не подавали никаких признаков жизни, жили будто бы тайком. Бывало слышно лишь, как днем фыркали, разъезжая по поселку, их автомашины, а к ночи, от скуки и дури, лаяли каждая из своего угла собаки. Дедушка Карл не имел собаки, равно как и вообще доброй или злой живности. Бабушка ночевала на его половине дома, а я жил и спал на веранде, среди пыльных, допотопных вещей. У дедушки Карла были сад, огород и очень печаливший его, ненужный пруд с неживой черной водой, откуда, однако, выходили по ночам водяные крысы и грызли яблоки, капусту, картошку, морковку, кабачки, тыквы — все, что он бережливо и трепетно растил. Он вздыхал и брался сажать все заново, весь день пропадая на огороде и в саду, сторожил колорадского жука и садовую тлю. Бабушка работала по дому или варила варенье. Я слонялся у пруда, где дружил с головастиками, что выплывали, только подходил к воде. Дедушка Карл кушал вкусные бабушкины обеды и тихо жил в своих трудах, а по вечерам бабушка позировала ему и он фотографировал ее у высоких цветочных кустов. Пышные бутоны склонялись над ней жарким, ярким венчиком, а высокие прохладно-зеленые стебли обнимали до самой земли. Фотографироваться было ее страстью — и улыбаться, обнажая всякий раз ряд жемчужных, крепких и белых зубов.

Я ничего не знал про того, кого она называла Карлушей, да и не хотел, наверное, знать. Он старался быть со мной родным, но, когда я однажды разбил на веранде какие-то допотопные часы на куске цветного стекла, очень расстроился, пожаловался на меня бабушке, а она поругалась с ним, громыхая всем, что было в доме. Но уехали мы от него через несколько дней, что случилось само по себе: к дедушке Карлу приехали гости. Зафырчала машина у ворот, всё заполонили чужестранные голоса, и этот одинокий тихий человек вдруг сделался окружен семьей чужестранных, но любящих его людей. Бабушка улыбалась и жадновато восхищалась Карлушей, в дом которого приехавшие иностранцы весело взялись носить из автомобиля подарки. Но, верно, Карлуше стало уж не до нее. Бабушка собрала свои и мои вещички, мы пошли на электричку. Нас догнал веселый, улыбающийся человек и, странно говоря по-русски, однако, совершенно понятно, протянул ей какую-то цветастую коробочку, а мне волейбольный мяч.

Бабушка после спрятала и мяч, и коробочку, я их больше не видел. Было еще лето. Мы опять сидели на раскладных брезентовых стульчиках и глядели с балкона на лес. Ели, спали, смотрели до поздней ночи телевизор. А я тайком, когда она засыпала в кресле у телевизора, добывал бумагу, карандаш и как умел коряво писал письмо для мамы, чтобы скорее приезжала за мной, так скоро, как только могла. Эти бумажки с каракулями, где жаловался на то, как плохо живется и просил ее приехать, просовывал в щелки между книг, которых много было в шкафу, будто в почтовый ящик. Излитое на бумагу, да еще спрятанное, было в моем сознании все равно что отправленное. Раз бабушка Нина случайно напала на такое письмо. Найдя одно, отыскала и другие, хоть, может, и не все. Найденное она читала вслух, с выражением, заставляя слушать, пока это чтение не довело меня до слез — стыда перед ней и какого-то жаркого страха за содеянное. После, когда был бабушкой прощен, я переписывал свои жалобы, будто грехи, под ее диктовку. Это письмо она, однако, не отослала в Москву, а так, чтобы я видел, положила к себе на хранение.

Когда за мной приехали, одеваясь, чувствуя и счастье и свободу, я забыл про бабушку, даже не отзывался, хотя еще слышал ее заботливые понукания. До зи-

мы я не виделся с ней: она была в плавании, нанялась поварихой на енисейскую баржу, когда тем временем не стало для нас дома на проспекте — нашего дома, что считала она своим.

Отец

Если произносилось мое имя, а откликнулся на него отец, то мне это было удивительно. И так всегда: думал в первый миг о себе, а не о том, что это относится к отцу. Если я думал о нем, то думал именно что о нем и обращался к нему мысленно — «он», «у него»... Одинаковая с ним фамилия делала нас уже совершенными близнецами. Правда, отчества оставались все же разные, но слышать, когда к нему обращались по имени с отчеством, было неприятно и странно, как если бы фальшивил звук. Чтоб нас различать, о нем говорили «большой», а имея в виду меня, убавляли — «маленький». После в том, чтоб осознавать себя маленьким, а его большим, уже не было необходимости: что пристало в семье, то без нее исчезло. Я уж не мог выговорить о нем этого слова, «отец», а тем более нежное, родственное «папа», чувствовал почему-то, что говорю неправду. А когда слышал от него «сын», то вздрагивал внутри, будто коснулось вдруг что-то холодное.

Но это был человек, которому я не только обязан был своим рождением; но и человек, чье присутствие в своей жизни я ощущал так зависимо, будто под кожу шит был металлический шарик и катался внутри меня, как хотел, нанося то и дело неожиданные тычки, напоминающая о себе и вновь пропадая.

Первое в детстве — это влюбленное в него желание побороться с его силой или пойти безоглядно на то испытание, на которое он посылал. Тогда они с матерью были для меня единым. Всякое лето отлученный от них, только и ждал, что они приедут, но мама лишь раз приехала в Киев с отцом. В день, когда они должны были приехать, я проснулся с раннего утра и ждал на балконе — высматривал их. Увидел. Вырвался из квартиры и пустился кубарем по лестнице, уже слыша там, внизу, их веселые голоса. «Мама! Папа!» А они слышат — и громче всего, почти раскатисто, оглашает замершие лестничные пролеты отцовский бесстрашный смех. Я и падаю ему на грудь: он ловит меня в свои объятия, как букашку, и сразу же, пока мама еще подымается, мы начинаем страстно бороться; он держит на весу, не отпускает от себя, до боли стискивая ребра, и только довольно гогочет, когда я гневно выкручиваю его голову за волосы, щипаю обеими руками за щеки и тяну с них кожу, будто резину. Мама, наверное, не любила наших шутовских драчек, и отец, подчиняясь только ей, сдавался, хоть мог бороться, если я того хотел, сколько угодно.

Он так равнодушно относился к себе, что походил характером на собаку. Подчинялся одинаково и детской ласке, и женскому приказу хозяйки, будто служил верой и правдой, а своей воли при этом не давал знать. Почти без сопротивления покорялся обстоятельствам. Увлекался тем, во что звали. Радовался, если радостно было кругом. В драки влезал без раздумья, по какому-то инстинкту, но не самозащиты, а справедливости. Почти всегда и часто бывал только бит, украшался снынками да ссадинами. Но оставался доверчив так, что обманывать его, а после глядеть с восторгом, как он легко всему поверил, да и верил до тех пор, пока не сжалишься над ним, было еще одной моей любимой игрой. Бывая обманутым мной и даже порой, наверное, жестоко, как это было, когда я подламывал хлипкую ножку под его креслицем, на которое он садился и тут же опрокидывался, а после пугался, что сам же его сломал, отец смеялся, узнавая от меня правду, и так восхищался то выдумкой моей, то ловкостью, то хитростью, что это его восхищение, как награда, лишь поощряло меня к подобным вещам. Он мог обозлиться лишь тогда, когда не помнил себя от чувства обреченности. В его характере было, однако, сильное самолюбие, стремление к тому, чтобы восхищать собой. Ради этого он мог рискнуть даже собственной жизнью — в остальном бессмысленно, без какой бы то ни было пользы для себя и других; а если не рискнуть — так соврать, чтобы вызвать все же это восхищение, удивление собой. Сидя на месте, вообще

без движения, или в четырех стенах, делался скучным и равнодушным, выбывал из жизни, будто такой, без приключений и праздников, она становилась ненужной. Мог ссориться, что плохо лежало, считая это не грехом, а какой-то доблестью: из уголка Дурова он украл циркового петуха и принес его в дом; там, где работал, тащил в дом инструменты и детали, просто из любопытства или восхищения этими вещами, но без всякой практической пользы. Как-то по-собачьи обожал он кости, млея от них, и если была в супе или борще цельная кость — обрякая мясом, жиром, жилами и притом мозговая, с нежнейшим жирнейшим червячком внутри, — то глаза его от восхищения даже выпучивались, он принимался шумно ластиться к хозяйке, хоть того и не требовалось, чтобы получить кость, и упивался до последней возможности, пока она не оказывалась до блеска обглоданной.

На Днепре отец бросил меня, не умеющего плавать, далеко в воду. Я бултыхнулся и тонул, но вопил от радости, зная ли свыше, веря ли всей душой, что в последний миг он меня спасет. Когда мать спала со мной, а не в одной кровати с ним, только просыпаясь и зная, что он дома, а не на работе, я бросался в его комнату, кидался к нему на постель, будил его, ведь теперь он был мой и я мог делать с ним все, что захочу. Мы дурачились и боролись, пока нас не разнимала мама. Но все это было, когда я еще ходил на самой-самой кромке жизни, а со временем, да, в общем, и не со временем, а через несколько тупых мерных толчков времени все это исчезло.

Я заразился ненавистью к нему, как болезнью. Как и всякая болезнь, моя ненависть овладевала душой и сознанием постепенно, только чувствуя пустое место. Она приходила через воздух, которым дышал. Она еще боролась с чем-то во мне и еще не была ненавистью, а, быть может, лишь ознобом — то жаром, то холодом, от которого было плохо. Она делала мне плохо, но прибирала как своего, чтобы жить во мне, быть, существовать. Она питалась слабостью, а немощным делал меня отец, отнимая как ударом то, что мог отнять только он.

Когда отец принес в дом щенка и подарил его мне, то сам же обучил, как нужно ласкать: чесать его за ухом. По неразумности, но желая доставить щенку удовольствие, я измучивал его этой чесоткой. Был отец трезв или пьян, но получилось так, что он увидел это, подскочил ко мне и, приговаривая, чтоб я знал, как больно было щенку, держал силой и рывками, как сдирают кожу, делал то же самое.

После развода отца с матерью я не видел его и ничего не знал о нем. Но в жизни моей, как бы на его месте, воцарилась бабушка: она и напоминала о нем, не позволяя забывать.

Как только она к зиме вернулась из плавания, я обрел в Правде свой дом. Она приезжала, брала на выходные после школы, и даже мама отчего-то подчинилась ей и сама привезла меня в Правду на каникулы зимой. Сильное тайное желание увидеть отца было во мне, а скрывал я это желание потому, что ощущал в нем что-то стыдное, ведь сам отец почему-то не искал со мной встречи. Я слышал от бабки, что устроился он на работу и много трудится, будто бы потому так все и происходит. Очень много слышал про алименты, которые он платит матери, и эти разговоры были бабке особенно важны, потому что прятался за ними настоящий обман. Отец не ездил и к бабушке, то есть не давал знать о своем существовании именно так, будто насколько не заботился о том, что происходит с ней. Это я смутно чувствовал по ее волнению, ожиданию, даже смятению. Но и она не ожидала, что он появится на моих глазах с какой-то женщиной в спутницах, чтобы только взять денег. Я увидел точно умершего, лежащего в гробу: с бесчувственным, опустошенным выражением лица, в ухоженной одежде, в которой, чудилось, всегда и помнил его.

Он посмотрел сквозь меня, хоть я стоял в сторонке и ждал, что заговорим. Бабка удерживала его и, наверное, поэтому не давала денег сразу, как он хотел. Это злило его. Он стал порывивать и, казалось, угрожать, нападать. Она дала ему испуганно бумажку, однако ему было мало. «Трешку жмешь? Для сына?..»

Но от нежелания дать ему три рубля бабка сделалась вдруг такой яростной, сильной, что он стал пятиться и под конец, казалось, сбежал.

Бабушка Нина с тех пор не скрывала, да и не могла скрыть, настоящего облика отца и часто плакала от этого, как от слабости, немощи, пробуждая жалость к себе, но не жалая меня до тех пор, пока я сам не делался таким же жалким, слушаясь ее внушений. Она внушала плохое против матери, исподволь приучая думать, как сироту, что она-то, бабушка Нина, и есть мне замена вместо «падшей женщины», и заставляла выбирать между собой да отцом, который мог ее не уважать и терзать на моих глазах, а я бросался на ее защиту, чего она и хотела, устрашая его сознательно тем, что я вижу и слышу происходящее между ними и будто бы отрекаюсь от него. Он уже считал перед собой виноватыми всех, а себя — безвинным, как жертву всех окружающих сил, доходя до бреда и до мирового этих сил против себя сговора. Мама внушала плохое против бабушки, из чего многое поражало и не выходило из памяти, как, например, рассказы о том, что когда я родился и нечего было есть — так как отец не работал, а у нее на руках был младенец, — бабушка именно в то время запирала на замок холодильник. Об отце она никогда не говорила плохо, считая, что жизнь его была изуродована собственной матерью, ее жадностью и жестокостью. Сестра внушала, какой она была сиротой в детстве, и я слушал как тайну, что она рассказывала про моего отца и мать. Все помнили лишь плохое и вспоминали всякий раз одно и то же, твердя будто молитву, разве что каждый свою. И я твердил то же самое, верил каждому из них, пока не оказывался сломлен в этой своей вере жалостью. Мне чудилось после таких разговоров, что уже меня жалеют и понимают и что роднит нас тайна, она же правда, которую я узнал. Правда каждого никак не связывалась у меня в сознании в целое. Казалось, должен быть обязательно виновный и неправый — это убеждение единственно и становилось во мне сильным.

Сестра вышла замуж, обручилась с Мешковым; помню ресторанный зал человек на триста, где были мама, я да ее отец, которого увидел в первый раз, а остальные гости — ее новых родственников; на следующий день молодоженов проводили в свадебное путешествие, это было на Рижском вокзале, и с того времени я почти не видел сестры, разве урывками; в квартире от нее остался лишь проигрыватель с пластинками.

Когда не стало сестры — а это было именно такое ощущение, что она ушла из нашей жизни, — тогда он и пришел... Я сижу на кухне, на кухонном столе тарелка, а в ней кругляшок вареной колбасы — для меня. Отец глядит на него как-то голодно. Пьян. Смотрит и говорит: «А ты все жрешь...» Равнодушно, с ухмылкой отворачивается и лыбится слюняво в сторону матери: «Алочка...»

Последний раз он приходил в нашу квартиру весной после развода, и было все иначе. Помня, каким видел отца зимой у бабушки, я прятался от его туманных взглядов, хоть речь шла обо мне — кажется, единственный раз отец заявил на меня свои права.

Еще не прощая маме того, что она освободилась от него как от обузы, почти бросила его одного, он довольно официально, будто участковый милиционер, заявился на квартиру к бывшей жене: в лучшем пиджаке, где на лацкане красовалась серебряная подлодочка — знак военно-морской подводника, несбывшейся его мечты. Обращаясь к бывшей жене, он никак не хотел или не мог произнести ее имени. Говорил с чувством собственного достоинства на «вы», а раз называл даже «гражданкой». Притом он волновался, чувствуя или понимая, что требовать ничего не в силах и каждую минуту она запросто может выставить его за порог. Ему же хотелось доказать, что он не пропащий, от которого она, думая так, вероломно сбежала. Показать своей бывшей жене, что он за человек, будто наказать, он вознамерился как настоящий мужчина: приехал не к ней, коварной пустяшной женщине, а к сыну. Кто-то внушил ему — не иначе бабушка Нина, что он имеет право брать своего ребенка, видаться с ним или устроить, к примеру, летний отдых. Ему стоило только доехать летом до Киева, куда меня отправляла мать на лето, а там уж и подхватил бы нас человек, от которого

зависел весь его план: человек, мне тогда еще совершенно неведомый, но до того уважаемый матерью, что она дала свое согласие и месяц того лета провел я с отцом.

После же, еще через год, он пришел уже такой. Он появлялся всегда неожиданно, будто даже в Москву его заносило откуда-то издалека, хотя жил в Москве, у него была комната в коммуналке на Трубной, о чем я знал и где бывал уже гораздо позднее раз или два, когда они — отец и мать — разыгрывали из себя снова мужа и жену, а я должен был ехать за ними, так как нельзя было оставить меня одного.

Это выглядело так, что он будто забирал нас или ее с собой, к себе — из нашей квартиры, как из чьей-то чужой. Но стоило матери проснуться в той похожей на гроб его комнатенке, как она спешно собиралась и мы уезжали, оставляя там его одного. И она с утра уже была другой человек — разумная, понимающая, что с ним здесь лишь можно, как камень на шею повесив, пойти на дно. А еще у нее была режимная работа; он же устраивался на работу, только боясь милиции, когда его припугивали, что ушлют, но долго не выдерживал ни на одной; устраивался обычно инженером или технологом, что-то один раз изобретал, вызывая к себе уважение, а после существовал только на этом к себе уважении, пока оно не иссякло от постоянных его прогулов и пьянства.

Он приходил и занимал то же кресло, которое было когда-то его, а теперь стояло у нас на кухне, продранное и не раз обгаженное собакой, которую он же принес щенком. Сидел в шляпе, в пальто, порой уже пьяный или ожидая денег, чтоб пойти за выпивкой; обсыпанный пеплом, что падал беспризорно с папирос, которые дымил одну за одной. А если приезжал с бутылкой, то потом бегал за вином, когда ее распивали. Я знал этот питейный подвал, воняющий тухло пивом, много раз что-то влекло юркнуть в него, увидеть изнутри, но никогда так и не мог одолеть страха и отвращения, а ненависть и боль сами собой научили меня молиться тому, чтобы этого подвала не стало, потому что, как думал я, тогда бы и не стало того, что было мукой. А порой он приезжал, уже где-то пропившись, еле держась на ногах, заявляя, что у него нет даже пятака, чтоб уехать. И, бывало, он так откровенно домогался выпивки, что обругивал от нетерпения маму — похабно, матерно и озлобленный убирался восвояси. Она имела силу временами его прогонять. То же происходило, когда он приезжал, но мы жили на последние копейки до получки. Если деньги выходили или их не было, тогда только наступало избавление от него. Когда он убирался, делалось покойно, но страх, что он снова вернется, угнетал: я ждал его следующего приезда, знал, что это обязательно снова произойдет.

Мне казалось, что мама была от него зависима, а он нуждался в ней только, чтобы получить свое, и потому я ненавидел его; но ненавидел лишь тогда, когда она впускала его в дом, а моя жизнь превращалась на те дни в смесь из страха и унижения, ненависти и стыда. Незаметно во мне выросла даже не мысль, а тайное желание его убить. Это было желание самому прекратить его жизнь. Сделать так, чтобы его больше не было. Если я был обучен этому желанию, то не иначе, как телевизором, и потому мне казалось, что сделать это, убить, удивительно легко, так же легко, как включить или выключить тот же телевизор; «убить» — значит сделать так, чтобы человек исчез.

Когда наступала ночь, я понимал — он уже не уедет, и это было как призывом к его убийству. Но силы и духа, чтоб осуществить эту страшную мечту, не могло найти у меня. Или эту мечту убила всего одна ночь, когда я вдруг понял, что есть еще один выход: убить себя, прекратить свою жизнь. И с этой мыслью, будто освобожденный ею и лишенный в первые мгновения всех других мыслей и чувств, так этого и не сделал.

В эту ночь отец с матерью ушли из дома. Сначала, как обычно, пили на кухне, а потом я вдруг увидел, что напяливают одежду, уходят куда-то в ночь. Слышу, она говорит, что уезжает к нему, будет теперь жить у него. Я так поверил в

это, что оцепенел и только наблюдал, как это происходило. Дверь захлопнулась. Я остался один в квартире. Ждал. После оделся и тоже ушел из дома, то ли боясь в нем оставаться, то ли надеясь их найти. Кругом было как в темной комнате: проступает из ночи то, что чернее ее, мертвые туши соседних домов, кладбища деревьев, какие-то тени, и слышатся шорохи, будто кто-то что-то волочет по голой, прихваченной морозцем земле. Толком я и не знал, куда идти, что делать. Бродил вокруг своего дома, после отчаяние толкнуло в какие-то дворы. В одном из них нашел качели, будто знакомое, живое, и остался в этом месте, где было уже не так страшно: вроде как не один.

Качели что-то значили в моей жизни. Была такая игра у дворовых ребят на улице Шамрыло, когда раскачивались как можно сильнее и выпрыгивали, летели кто дальше всех. Я играл в нее во дворе, где оказывался один, сам по себе. Раскачивался, прыгал, приземлялся, проводил на песке черту, прыгнуть дальше которой должен был опять сам. Поэтому, наверное, игра сделалась какой-то безудержной. И раз, подброшенный качелями под самый излет, я даже не выпрыгнул, а упал уже с них камнем, где-то с двухметровой высоты. Грудь ударилась о землю, и в тот же миг прекратилось дыхание: нельзя было ни вдохнуть, ни выдохнуть, будто отнялась сама способность дышать. Кругом не было людей. Но я не мог даже вскрикнуть, позвать на помощь, хоть был в сознании, лишь корчился без воздуха, видя перед глазами все так, точно глядел из наглухо задраенного аквариума. Кажется, осознал, что прожить могу столько времени, сколько выдержу без воздуха, и ощущал эту близость смерти уже каждую секунду. Сил бороться с ней не было. Начало меркнуть в глазах, гложуть в ушах. Стало удивительно легко, но и жалко, что все исчезает. Потом был миг, когда я ощутил, что умер; когда не чувствуешь себя и видишь все как с высоты. Но что должно было произойти, я не узнал и не ощутил, потому что успело вдруг начаться дыхание. Я глотал воздух, давясь и захлебываясь, в страхе судорожном, что это снова лишь секунды, но вот очнулся, задышал свободно, пришел в себя, поднялся, сделал несколько шагов, встал... и все было как прежде. То, что было со мной, я скрыл от деда с бабушкой. Лишь страшился долго-долго подходить близко к качелям. Но и страх этот со временем прошел; уже во дворе дома на проспекте, на других качелях, может, потому, что они были совсем детские, раскачивался, а то и выпрыгивал на лету, делая все то же самое.

А на тех качелях, в том дворе, сидел без звука. И вот поманила смерть: на шее был шерстяной длинный шарф, а над головой железная перекладина. Я видел однажды повешенного опять же в Киеве, одним летом, когда гостил у бабушки с дедом. Сбоку от нашего дома стоял выселенный заброшенный особняк, вокруг рос какой-то фруктовый сад, прямо на улице, как это часто бывает в южных городах, то ли абрикосов, то ли яблонь. На дереве, в гуще сада, повесился или был повешен человек: с утра его разглядели мальчишки, потом набежали люди из соседних домов, ждали милицию. А пока это происходило, он висел, чуть не касаясь земли, прогибая ту ветку. На него смотрели так обычно, будто на мешок, разве что не гадая, а что могло в нем быть, зачем его здесь оставили, кому это было нужно?.. И чтобы убить себя, достаточно было шарфа и этих качелей. Я размотал шарф, медлил, но шее стало безжалостно зябко, отчего я заплакал. Не было страшно смерти. Было страшно, что даже холод и ветер будто гнали одиноко только умереть. Но вдруг в одном из окон дома загорелся свет, раздались громкие голоса, такие же одинокие: происходила ссора, были слышны загнанные вопли женщины и крики, кажется, ее двух детей, сына и дочери, чем-то сильно озлобленных. Сначала я слушал все это с замиранием. После с удивлением, даже облегчением, понимая вдруг, что одной ночью в разных домах происходит, наверное, одно и то же. Только тогда я вспомнил о матери, о квартире, которую оставил незапертой. Охватило предчувствие или волнение, что, может быть, она уже давно вернулась домой. Квартиру я нашел пустой и просто остался в ней ждать. Они все же возвратились: наверное, когда дошли до метро, не

смогли в него попасть, ведь была уже глубокая ночь. Когда я только увидел отца, то заорал как зарезанный, и когда он шатнулся ко мне, то упал, бился, кричал, не подпуская его к себе.

Он так был потрясен, что глаза его вдруг стали пусты и светлы, как у ребенка. Мать что-то сделала, я утих. И уже он начал буйствовать, вызывая меня к себе на кухню, потому что она сказала ему за это время, как, бывало, говорила для чего-то, просто так, что он может отказаться от отцовства. Я дрожал уже от страха перед отцом, но сказал с ее неожиданного ободрения, чтобы он ушел из нашей квартиры. Потом она зачем-то потребовала от меня признания, опять же при нем, что я не люблю его и не считаю отцом. И это потрясло его еще сильнее. Вид его поменялся: глаза стали глядеть очень ясно и осмысленно-презрительно, он рывкнул на нее, срывая злость, полез даже ударить, но так и не решился. Я слышал, как он кричал, что пойдет и ляжет на рельсы, как метался по квартире, будто искал, чем себя убить, и вот хлопнул дверью, выскочил прочь, а я подумал, что, значит, теперь его не станет, он скоро умрет, как обещал.

Но отец исчезал и возвращался еще не раз. Как легко он обещал лечь на рельсы или выстрелить в себя из ракетницы, с той же легкостью оставался и жить. Когда фигура его была видна издалека, то он казался чучелом. Он был старомоден, как человек, выпавший из времени. Бывало, случайно завидя, как он шагает по дорожке к нашему дому, я бросался домой, будто можно было сделать так, чтобы он не попал к нам, но мама его снова впускала. Он входил на кухню, плюхался в кресло, не снимая ни пальто, ни шляпы, забыв о том, что вошел в квартиру, и долго сидел, бормоча матери всякие сладкие ласковости или, наоборот, противно рыгая матерщиной. А я цепко следил, когда он потянется в портфель за вином, словно мог схватить его за руку. Он сторонился меня, разливать и распивать на моих глазах стало ему тягостно, но не от угрызений совести, а как тягостно бывает в присутствии чужого, чужих глаз.

Заражался я ненавистью к нему, когда с ним сталкивался; но и жалостью заражался после встречи с ним, когда он уходил, как приبلудный пес, сам, а все чаще уже прогнанный матерью, жизнь которой сильно переменялась, так как родила ее дочь и требовала помощи. И то, и другое чувство смешались в моей душе и зависимы были от столького, что я и сам не был в силах управлять отношением своим к отцу; оно было именно что неуправляемо. Или управляемо духом затхлых винаща, как только я чуял эту вонь, смешанную с табаком, прелостью одежды и еще какого-то разложения, почти трупную.

А в детстве, когда мы жили на проспекте, я очень любил его пьяного, хоть и не понимал, что это за состояние. Он приходил и усаживался в то же кресло, не снимая того же шерстяного пальто с погончиками и старомодной шляпы, вечных, как осень или зима. Креслице называли «синим», по цвету обивки. Это кресло дарило ему в доме ощущение покоя, было его местом. Он делался добрым, позволяя вытворять мне с собой все, что захочу, как с куклой; а кроме меня, никто не общался с ним, когда он являлся и пропадал в своей комнате. Я же его не боялся, а только радовался, что он пришел, уселся и можно теперь играть.

Я наряжал его елочными игрушками. Он что-то радостно мямлил, ощущая себя обвешанным блестящей мишурой. Или я придумывал, что он охотник, старательно втолковывал ему, кто он такой, и когда отец кивал, послушно повторял за мной, то начиналась игра: я пробегал мимо него, как зверек, а он должен был меня ухватить. Но это никогда ему не удавалось, и, беспомощный, он будто радовался этой немощи своей. Больше же всего мне нравилось его связывать. Пьяный, он учил меня, пожалуй, одному только, чему мог научить, — вязать морские узлы. И после я вязал ему теми морскими узлами руки да ноги. Он послушно давал себя связать, казалось, гордый тем, чему обучил меня, а после выпутывался как мог из веревок.

Бывало, что я забывал о нем и убегал, и если сам он не развязывался, то так и валялся, связанный по рукам и ногам в креслице. Проходил час, и из комнаты доносилось доброе его, похожее на коровье мычание: он звал меня. И я вспоминал, что он связан, и, чувствуя себя сам уже чуть не охотником, вызволял его из пут. От него пахло кисло, табаком да вином, и щека его карябала меня своей щетиной, но я терпел, понимая запах этот как родной. Был он никому не нужен, всеми забыт в продавленном этом своем креслице. Он почти ничего не мог мне сказать, отчего минута с ним наедине, проведенная без движения или в молчании, ощутимо угнетала тоской. Бывало, он взрывался и начинал что-то реветь нараспев, будто петь, страшно переживая лицом эту свою «песню».

Но то была не песня — это начинал он читать в пустой комнате стихи, приняв меня вдруг за слушателя; ему нужно было только, чтобы сидел я у его ног на ковре и слушал, хоть одно человеческое существо чтобы было рядом с ним. Это были и его стихи — и тут заставлял он меня понять, что это не чужое, а его, им, отцом моим, сотворенное, так что у меня захватывало дух, словно он внушил мне, что имел колдовскую силу, умел колдовать. И когда начинал выть да реветь, морща лицо, как резиновое, выражая все чувства человеческие от любви до горя, то мне чудилось, что отец мой колдует. И если мне хотелось испытать да увидеть все снова, как по заказу, то я просил его «поколдовать». «А это Сергей Есенин...» — проносил он зловеще, так что и вовсе отмирала душа. Когда являлся этот «есенин», то я уж знал, что предстоит: отец начинал шататься и гнуться в креслице, ножки кресла тоже начинали ходить ходуном, и он чуть не умирал с первых же звуков: «Чччерный ччччеловееек... Чччерный, чччерный...» Меня охватывал ужас, и я ждал, что в окно влетит ведьма или привидение отделится от стены. Комната мрачнела, наливаясь сиплым дрожащим отцовским голосом, и делалась похожей на подвал. Я же испытывал всю силу и страсть ужаса, как не бывает даже нарочно, когда хотят ужаснуть, и время проносилось как в кромешном видении, а когда он умолкал, наступало неимоверное освобождение. Умолкая, он уже рыдал от того, что слышал с собственного голоса. Пугаясь рыданий этих, я потихоньку сбегал, бросая его одного в комнате, и долго боялся заглянуть к нему или не заглядывал уже вовсе, только прислушиваясь, что в ней творится. А он задремывал в кресле, и наутро могло оказаться, что проспал в пальто да в шляпе всю ночь.

Когда к нам еще ходили гости, его морские друзья, они приходили иногда со своими детьми, чтобы устроить праздник для всех. Тоже пили, веселились. А мы играли, но я помню ясно только одного мальчика, у которого во время игры увидел красненькую денежную бумажку, а потом утянул ее потихоньку из его пиджака, когда от жаркой беготни все побросали в комнате свои курточки, пиджачки, свитерки. Что такое деньги и для чего они нужны — я знал, но сам еще никогда их не тратил, видел только у взрослых. Позавидовал тому, что у мальчика было то, чего не было у меня, утянул и спрятал, как жадничал бессознательно до всего, что привлекало взгляд. Пропажи хватились уже перед тем, как уходить. Деньги искали по всей комнате, думая поначалу, что мальчик потерял купюру, когда играл. Только когда ее стали искать, я понял, что не просто взял чужое, а что это чужое не принадлежало мальчику и было очень важным для его родителей. Но молчал и даже помогал с усердием искать, думая, что так скорее забудут о том, что искали. Мальчика меж тем ругали. Я видел его растерянное, испуганное лицо, а сам уже подкашивался от стыда за себя, жалости к нему, страха перед взрослыми. Все были в комнате, и ничего нельзя было вернуть назад, хоть как-то подбросить украденное. Денежку я опустил в щель кухонного дивана, то есть она провалилась в него, была для меня недостижимой. Наверное, было заметно, что происходило со мной, но после тщетных поисков в комнате детям не устроили допроса или обыска. Гости ушли. В тот же вечер я вертелся около мамы, спрашивая: а что будет дома этому мальчику? Мама отвечала равнодушно: его нака-

жут. Потом я спрашивал, а что будет с мальчиком, если не он потерял эту бумажку или если она потом найдется, ведь тогда его накажут без вины. Но ответы, которые я слышал, лишь ту же смыкали душонку: для того, чтобы мальчика не наказали, нужно было сразу, теперь же сознаться в краже. Страх перед взрослыми чужими людьми с их уходом простыл. Во мне боролись жалость к мальчику и чувство стыда, отчего-то побуждающее скрыть правду. Когда я не стерпел и сознался во всем родителям, то не успел заслужить наказания и даже их презрения: первое, что сделали, — отодвинули на кухне диван, чтобы достать купюру, и увидели там с удивлением и смехом всё прятанное мною, верно, многие годы. Нашли всё, что пропадало в доме, нашли и чужую красненькую денежную бумажку. Но там же, за диваном, вперемешку с мышиным пометом оказались россыпи монеток всех достоинств, даже рублики, но те уже сильно погрызенные мышами. Прибежала сестра. Кухня наполнилась смехом. Громче и счастливей всех гоготал отец. И я стал счастливо смеяться, бегать, прыгать, хоть до того к горлу подкатывался слезливый ком. Отец выгреб все из этой копилки, монеты сосчитали, он снова веселился и хохотал. О моей вине было совершенно забыто, хотя кому-то, наверное, ему, пришлось позвонить и как-то сказать, что пропавшее нашлось. А с монетками отчего-то дали решать мне, будто это мои деньги были. Сначала я схватил их, унес, опять спрятал где-то в игрушках, но уже ссыпанные в банку. Но в тот же вечер пришел с этой банкой к отцу: отдал, подарил, расстался с нею без жалости, только чтоб он еще так же посмеялся, как на кухне.

На следующий день отец позвал меня и сказал, что я пойду с ним — или вместе мы пойдем, чтобы потратить мой клад. Мы шагали по проспекту, я млел от счастья, гордости и избавления от вчерашнего ужаса в душе. У киоска мороженого он дал купить мне самому вафельный стаканчик со сливочным, украшенный формочкой цветка. Мы пошагали дальше. Зашли в какое-то кисло пахнущее помещение, где стояли рядами на витрине полные бутылки. Отец высыпал мелочь на прилавок, опять не удерживаясь от смеха, рассказывая с азартом растерянной продавщице, откуда она взялась. Сказал под конец: «Лапонька, дай “Медвежьей кровью”...» Пока продавщица, напрягая зрение, с усердием гладила прилавок маленькими плоскими утюжками монет, я горделиво и счастливо ощущал, что сам, на свои деньги покупаю ему это, что было в бутылке, которую он после озорно и весело прихватил с прилавка. Верил я и в то, что это настоящая медвежья кровь — красная, какая и должна быть, только было удивительно и ново узнавать, что отец зачем-то питается кровью медведей. С этой бутылкой мы пошли не в нашу квартиру, а несколькими этажами выше, к Ивану Сергеевичу, у которого жила огромная черная собака, звавшаяся дог. Это было еще счастье — пойти, увидеть и хотя бы погладить эту собаку. Иван Сергеевич радостно пустил нас к себе. Они стали пить с отцом «медвежьей кровью», разговаривать, а я смотрел на удивительную собаку, что тоже подседа к столу, поворачивая то и дело морду в мою сторону, глядела с горестным выражением почти вровень, будто что-то хотела о них сказать, как они ей чего-то не дали.

Иван Сергеевич был отставной полковник Советской Армии, подрабатывал к пенсии где-то вахтером. Ходил в форме вахтера, гордясь ею как военной, и рычал командиром на всех в доме, если делали ему замечания, хоть и было за что. Когда его охватывала такая тоска, что не хотелось выходить из дома, он выпускал свою собаку из квартиры, если та просилась на двор. Она уходила, но не на двор, а гулять по лестничным пролетам, делая свое. Жильцы жаловались, а Иван Сергеевич приказывал им молчать. Не имея своей, я страстно хотел гулять с его собакой, канючил у отца, чтобы тот его об этом попросил. Но отцу то ли дела не было, то ли, приходя к Ивану Сергеевичу, все он забывал. Когда они сидели и пили «медвежьей кровью», Иван Сергеевич и сам начал горячо и задушевно просить отца чем-то обменяться. Отец показно кривился, охал, не соглашался, но под конец быстро согласился, едва Иван Сергеевич предложил отдать ему взамен настольные часы с батареей.

Отец ходил в нашу квартиру за какой-то залаченной фанеркой, на которой выжиганием было сделано изображение бородатого мужика, одна его голова. Теперь Иван Сергеевич охал перед тем портретом и поставил его на самое видное место в комнате — туда, где стояли только что красивые современные часы. Отец нахваливал фанерку. Иван Сергеевич нахваливал: «Вот же был человек!» Когда мы спускались по лестнице вниз, домой, отец вдруг опять заговорил со мной, слегка пошатываясь и поэтому отставая — так, будто захромал: «Ты маме не говори, откуда часы... Скажу, купили. Скажу, из магазина». После я увидел среди фотографий в его комнате снимок, на котором узнал бородатого мужика: только он сидел за столом, где стояли бутылки, а по столу ходила у него кошка. Я привык, что фотографии в комнате отца были из его жизни, даже если не он был на них сам, а просто какие-то корабли, рыбыны, чужие, казавшиеся случайными, лица. Про себя я понял, почему отцу не было жалко той фанерки — ведь у него была все равно что еще одна. Но не понимая все же, за что он выменял часы, я спросил у него об этом человеке. Отец откинул мигом голову, будто хотел завывать, как всегда с ним случалось, когда чем-то сильно восхищался. И даже вправду завыл, говоря потом что-то бессмысленное: «У-у-у-у... Это человек!»

Еще до разъезда мама водила меня к отцу в больницу, навещать его, и помню удивление от этой больницы, где все, кого я видел, а видел одних мужчин, были целы да здоровы. Здоровее, чем тогда, я отца не видел. Он был как вымытый и начищенный до вощенного блеска. Даже вальжанный, в пижаме да в тапочках, чуть ленивый, похожий на ученого, гладкого от своего ума и достоинства человека, так что и стоять подле него было неловко, как подле чужого автомобиля. Но сидел он скучный и со скукой встретил нас, как если б не понимал, зачем мы ему нужны. Он чего-то ждал, томился. Однако того, чего он ждал и о чем думал, от чего даже лицо его делалось сосредоточенным и умным, у нас не было. И это посещение оставило у меня чувство, будто мы пришли к отцу на работу и помешали ему думать. Только я не знал, о чем же он думал.

Последнее лето

В начале лета я уехал в Киев, а там успел позабыть, что еще ждала встреча с отцом. Киевские дед с бабкой мне о том вовсе не напоминали, потому что мой отец был для них тем существом, что никак не могло найти места в их сознании. Ниже насекомого или дурного дождичка, потому что и муху на варенье, и тот дождичек они все же замечали и понимали, зачем это есть на Земле. Бабушка нехотя сказала: «Звонил этот твой, приехал он к отцу своему», «завтра повезу тебя к этому твоему», «поедешь к этим своим».

На сон грядущий, когда было положено слушать у бабушки в комнате программу «Время» и кушать ряженку, чтобы подобреть перед сном, дед вдруг огрызнулся в сердцах, вспомнив о моем отце: «Саня, гляди, и на порог его мне не пускай, антисоветчика этого! Гони его палкой, если заявится!» Он терял покой от мысли, что отец мой оказался где-то поблизости, а завтра мог проникнуть и того ближе.

Утром бабушка Шура, помалкивая, дождалась, когда дед отправится на пешую свою прогулку, собрала меня на скорую руку и куда-то повезла. Я любил ездить с ней по Киеву; если бабушка выезжала в город, то на базар или купить что-то втайне от деда. Выходя из прохладного сырого переулочка с домами из красного кирпича, мы садились на остановке в трамвай, что на солнце блестел морской чистотой, и катились по мощенным булыжником узким улочкам, то с горы, то в гору. Все эти улочки вливались в конце концов в проспекты, такие же раздольные да светлые, что и Днепр, который мог вдруг блеснуть своей гладью где-то вдалеке. Улочки расходились от него будто волны, и чем ближе было к Днепру, тем круче они делались; а чем дальше от него — тем спокойнее да ухоженнее.

Нам открыла пожилая чужая женщина, бабушка с ней слащаво вежливо раскланялась, не заходя, однако, за порог; поцеловала меня, не утерпела и

всплакнула, передала ей с рук на руки, ушла. Прощаясь или провожая, она всегда теряла, будто копеечки медные, эти крохотные слезки, волнуясь и не понимая, что же произошло, делаясь вовсе не похожей на себя, уверенную да крепкую. В мебелированной до излишества квартире, да еще наедине с этой женщиной, я почувствовал себя брошенным. Женщина что-то напыщенно спрашивала у меня, а я отвечал, твердя с перепугу одно и то же — что живу у генерала дедушки, а я не думала, будто у меня никого нет. После появилась еще одна, помоложе, наверное, ее дочь, однако вдвоем стало им со мной еще тягостней. «Дедушка скоро приедет»,— говорила мне то и дело неловко пожилая женщина, так что чудился в словах ее поневоле обман. И чем больше проходило времени, тем тревожней становилось мне дожидаться в этой квартире: чудилось, что бабушку Шуру обманули и она отдала меня вовсе не тем людям, которые по правде должны были меня встречать, да и не слышал я почему-то ничего про своего отца. Но когда появился этот человек, то с одного взгляда я узнал составившегося, чужеватого, но в точности своего отца: скуластое продолговатое лицо, тонкий нос с горбинкой, серые цепкие узковатые глаза, с выражением от рождения снисходительным да насмешливым.

Этот человек ворвался в свою же квартиру. Мельком посмотрел на меня и, казалось, мигом забыл. Войдя, он спешил так ревностно, будто опаздывал на свидание, и кинулся стремительно к телефону. Звонил, домогался, ругался, требовал и только после, вероятно, сокрушенный, заговорил со мной. «Поедем... Папка твой дожидается... Галка! А где мои тапочки? Где тапочки мои, я спрашиваю, они вот здесь находились! Кто их отсюда трогал?!» — закричал пылко на пожилую женщину, наверное, свою жену. Слово за слово вспыхнула меж ними лютая, злая грызня. Поминали отчего-то и меня: «сын Олега», «сын Олега»... Только доведя женщину до рыданий, он успокоился и снова обо мне вспомнил. «Вещи у тебя с собой или как, без вещей? Писать хочешь?.. Галка! Собери там чего есть, может, колбаски, мяса какого... С утра я не жрал! Ну быстро, найди мне. А где моя куртка синяя из болоньи? Где она, спрашиваю? Кто трогал?! Галка! А ну ко мне!..»

У подъезда была брошена поперек дороги белая запыленная легковушка. Побаиваясь его да и вообще впервые усаживаясь ехать неизвестно куда в машине, встал я у задней дверки, но, уже усевшись, увидав, что я жду, он сурово позвал: «А ну, сажайся наперед». Глаза зыркали по сторонам, будто выискивая ему важное и не находя. Он не замечал, чудилось, дороги, а несло его только желание всех на пути своим обогнать. «Вот будешь у меня гостить, дам и тебе порулить. Папку твоего научил — и тебя научу»,— взялся он поразвлечь меня разговорцем, а между тем рванул на красный свет. Можно было удивиться, как ему повезло. Сколько ни рисковал он на красный свет и ни мчался, но пролетал как пуля по воздуху, не оставляя никакого следа, кроме стремительно-несмертельного посвиста. Одолевая робость, я спросил: «Дедушка, а разве можно на красный свет ехать?» Он резко, пугливо обернулся чуть не всем корпусом, глядя на меня, и замер от удивления, будто в тот миг к нему в кабину влетел не наивный детский вопрос, а звук милицейского свистка: испуг с удивлением относились к слову, которым изнатужился я его называть. «А я не видел красного, надо ж, проехал на красный свет...— опомнился он и буркнул недовольно, но с любопытством: — А кто тебя учил, что на красный свет нельзя? Нинка, что ль? Или Алка? Училки тоже! Слушай папку, что он скажет, а больше никого. И ты это, кровиночка моя, ну какой я дедушка там еще? Так не называй... Называй это, ну Петром, во! Ну или там это, Настенко! Во, как гусары будем, так и называй».

Лето было жаркое. Клубилась золотая пыль. Настенко развеселился и ни с того ни с сего все останавливался у стекляшек на обочинах, чтоб купить для меня то ситро, то конфет. Я шел заодно с ним. Всюду, куда он входил, говорил нараспев, будто распахивал еще какие-то двери: «Здравствуйте, женщины...» Продавщицы похихикивали, здоровались с ним, и вот уже принимался он с ними не-

умно болтать и кутить, покупая и для них конфет, целые коробки, но при том у них же самих. Можно было подумать, что ему нечего делать да и некуда толком ехать. Но стоило выйти из очередной стекляшки, как лицо его принимало волевое, решительное выражение. «Писать хочешь? Наелся? Это хорошо... Мне с тобой особо цацкаться некогда будет, ты учти, урожай у меня горит. На машине будешь учиться? Раз Настенко сказал, значит, сказал. А ну, лазь за руль. Чего, страшно? Ну, лазь тогда на пассажирское, пассажир...»

В стекляшках сам пропускал просто так рюмочку, под разговор. Настроение его стало в середине пути великолепным, и когда мы уже ехали полями, то он не раз жал на тормоза, великодушно предлагая мне обозреть то стоящие на бетонном плацу замершие строем новые трактора, то поля картошки. Притом речь его, вскипая до страсти, начинала бурлить словечками: «моего», «мое», «мне», «меня», «моими», «мой»... Всем, что я видел, оказывалось, он так или иначе владел.

Так вот, гусарами, домчались до Глевахи — просторного чистенького поселения из кирпича да бетона, объятая степью, с десятком одинаковых современных домов, похожих на теплицы. Настенко жил в одном из них — в большой и пустоватой квартире, все комнаты которой казались как одна большая да пустая комната. Увидел я отца. Точнее сказать, узнал. Он очень радовался, будто всё уже вышло, как он хотел. Остаток дня я шлялся по закоулкам чужой квартиры, а они шумно, долго пили на кухне. Отец ушелся, чуть держась на ногах, ничего не помня, упал на тахту и противно захрапел, а Настенко вдруг взялся жарить на ночь глядя мясо, бодро орудуя сковородами. Заметил меня, и как раз голодного, накормил огромными, будто лепешки, кусками шкворчащей свинины, а наевшись вместе со мной, отправился с удовольствием спать — и закончился тот долгий летний день, заключая в себе столько разного ожидания, что казался даже к ночи еще вовсе не прожитым.

Настенко вскочил рано, затемно, и всех поставил без промедления на ноги, собравшись ехать. Чтоб не потратить лишней минуты, он обходился без завтрака. Но за спешкой скрывалась и ревность. В садах, в доме летнем, куда мы ехали на отдых, он оставил на свободе женщину. Ее имя, оказалось, слышал я еще в киевской его квартире: это из-за нее он там ссорился, и ругался, и дозванивался, разыскивая ее почему-то в Киеве, будто она могла тайно от него уехать тем же временем в город. Утром он спешил скорей добраться до нее, но уже был спокоен на будущие дни, зная, что поселит нас там с нею рядышком. Если и был он сердечно рад нам с отцом, то как подвернувшимся соглядатаям, и я слышал, как внушал доброй отцу, чтобы тот поглядывал в его отсутствие за Полиной.

Женщине этой было лет за сорок, но моложе, казалось, выглядел он сам, а Полина сонливым своим и бледным видом походила на сильно изнуренную какими-то болезнями, или она и вправду была так больна, что даже посреди лета выглядела слабой, бледной, измученной. Кругом сладко пахло яблоками и дышало влагой свежей оврагов. Путались в прядях яблочных ветвей пчелы, и только их жужжащий полет был в заповедной здешней глуши громок, слышен. Полина была пленницей. Настенко держал ее здесь, боясь, наверно, близости рода.

Но от одиночества, ревности его и была она то просто печальной, то мрачной и вздорной, начиная вдруг на каждое его слово кричать. Прожив с нею день, Настенко не выдержал и уехал. В садах остались мы с отцом да Полина. Настенко разрешил отцу разбить палатку в отдалении от дома, а в сам дом нас и не думал пускать. Там одиноко жила Полина, и мы не входили в него во все последующие дни, еду готовили в сторонке, на электрической плитке — ее шнур был протянут из дома.

Сад, в окружении которого мы жили, был не стадом хозяйских деревьев, что паслись на садовом участке, а плодовым угодем, свободно раскинувшимся кругом на многие, наверно, километры, так что не было сил его обойти. Блуждая по его тропинкам, я долго не встречал ни одной живой души. Только слыш-

ны были гул пчел, шелест листвы и перестук от падающих на землю яблок... Раз я набрел в садах на бабку, пасшую корову, что подбирала с земли яблочки. Бабке было скучно и, не понимая половины ее слов, долго я с ней беседовал, рассказывая всё подряд, ощущая себя бесконечно важным, чувствуя, что спустился к заскорузлой бабке, будто на крыльшках, прямо с поднебесья Москвы. Долго внимая моим рассказам о Москве и ее чудесах, к примеру, о цирке, бабка заслушалась и выглядела такой замершей, тихой, будто уснула, но только забыла глаза закрыть и всё еще кивала согласно головой, укутанной в платок. Раз она ожила и удивилась ни с того ни с сего: «А шо то люды кажуть, шо Гагарин у космос злитав? А ты не слухай, сынку, то брэшуть... Та, може, прывэзэш мэни з Москвы валэнки?»

А после, к вечеру, в сады пришел оборвыш-мальчик с банкой молока, вручил его Полине, что-то брехнул и убежал. Полина подозвала меня и строго сказала, чтоб я больше не просил молока у людей и не ходил в сады. Будто наказанный, слонялся я по огороду и пасеке, подглядывая исподволь за Полиной, дожидаясь, что покажется она, выйдет на крыльцо. Полина пряталась весь день в доме. Говорила, что ей вредит солнце. Я не мог ее ни полюбить, ни даже пожалеть. Сам не зная почему, я не мог глядеть в ее глаза, похожие на янтарь, смолисто-тусклые и светящиеся как из глубины. Так прошел день, другой, и вдруг явилась бабка с коровой. Корова забрела в огород, а бабка, подслеповатая, полоумная, замотанная по глаза в грязный шерстяной платок, рада была, что пришла в гости.

Мы уселись под яблоней, и я начал старухе рассказывать, как и в прошлый раз, про себя самого, про Москву, про цирк. Прошло немало времени, солнце уже скрылось. Вышла на крыльцо Полина, увидела корову, старуху и закричала, будто от страха. Прибежал на ее крик отец. Прогнал старуху с коровой, а меня затолкал в палатку. Он сходил к Полине. Потом вернулся очень огорченный.

Когда я уснул, что-то случилось, уже глубокой ночью. Проснулся я один в пустой палатке. Грохотали пушечные раскаты грома. Парусина содрогалась от ударов падающих с неба потоков воды и вдруг делалась иссиня-прозрачной от вспышек молний, ползающих змеями по верху провисшей палатки. Я нащупал фонарик, но от страха включил еще и отцовское радио. Слушая успокоительный гул эфира в тусклом, как от керосинки, мирке, дождался наконец отца. Он влез в палатку дрожащий, с залитым водой лицом, к которому прилипли водорослями волосы со лба, и говорил, будто оглох, почти криком, чтобы я ничего не боялся и спал. Я зажмурил глаза и провалился в сон.

Очнулся от удущья влаги. Была тишина. Сквозь парусину палатки глядел яркий маленький зрачок солнца. Отца не было, словно он и не ложился спать в ту ночь. У дома стояла легковушка, замазанная по кузов глиной. На крыльце что-то делали Настенко с отцом. Всё это время я стоял молча, и все молчали, и я почувствовал, что мы с отцом должны уехать.

Настенко повез нас куда-то на село, к дальним родственникам. Было это село тоже далекое, так что ехали мы на машине полдня. Дорогой он уже весело и задиристо ругал бледную свою женщину, называя то сумасшедшей, то дурой, не желая думать, что подчинился ей. В конце пути мы въехали на широкий вольный двор, обжитый суетливым хозяйством, где, как на ковчеге, спасалось каждой твари по паре — гуси, утки, куры, а из распахнутой глубины конюшни глядела на двор мохнатая, засиженная мухами лошадиная голова. Нас вышла встречать вся семья: человек пять разного возраста детей и замотанная в платок, будто у нее болел зуб, худая женщина, а при ней мужчина, одного роста со своими детьми, полуголый, как и они, тоже в латаных-перелатаных штанах. Они знали отца, потому что дядька буднично с ним обнялся, хоть часом назад и не ведал, что заедем мы на их двор.

Настенко деловито справился о здоровье его батьки — оказалось, своего брата — и просто сказал, что оставляет нас на недельку-другую у них погостить. Женщина испугалась, что не приготовила загодя место в доме, и побежала хло-

потать. Дядька еще кивнул головой, и я услышал, что показалось мне отчего-то обидным: «Хай живуть».

Спустя время женщина завела нас в комнату, где застелена была белоснежным бельем постель и пахло бумажными цветами да иконкой, что таилась в углу; комнат в доме было две, и за то время она успела выселить из одной всех детей, отчего ходили они и глядели на меня насупленные. В тот же день дядька забросил хозяйство на жену свою и детей, за что та все поругивала его, когда думала, что мы не слышим, и они будто слиплись с отцом: пили самогонку. Меж тем всё, что говорил он с мрачноватой страстью и всерьез, смешило и счастливо другого пьяного, моего хуторского дядьку: беседа шла у них про охоту и рыбалку. Дядька глядел на отца, смущался и не понимал, чего так сильно хочет этот человек: рыбалил он сам, когда хотел, без всяких разговоров да сборов, а стрелял из дробовика поневоле, как сознался, что ни день: лису бил, что шастала, однако, еще без вреда для себя в его курятник.

Чтобы сделать отцу приятное, дядька немедля взялся устроить ему охоту. Они залегли за плетнем у курятника и стали ждать лису. Но чего-то она не шла. Видно, отец успел похвалиться, что может дробью попасть хоть в глаз курице. Дядька, раз не вышло охоты, притащил курицу, привязал за лапку к плетню и скомандовал без жалости к своей птице: «Братик мой, а ну пуляй!» Отцу стало неловко, но, храбрясь, он выстрелил. Дробь угодила курице не в глаз. Она дико закудахтала, взвилась. Он выстрелил и пробил ей уже крыло, из которого выступила кровь. Руки его задрожали, наверное, он не мог больше вытерпеть ее мучений. И дядька в сердцах, думая, что ненароком будто обидел его, схватился за топор, побежал к плетню и разом отмахнул несчастной башку. Курицу после он вознес победно над собой, как заправский охотник, чтоб приподнять настроение отцу как бы их общим трофеем, и сдал его, трофей этот, жене. Курицу общипали, нашпиговали салом, обтерли сметаной и сжарили в тот же день на сковороде. Ее подали на стол, однако как бы между прочим, а главным блюдом, сготовленным нарочно для гостей, был тушеный в сметане и с луком огромный кролик.

На другой день дядька решил устроить отцу рыбалку, то есть создать такие важные да нужные ему трудности. Для того надо было ехать на речку подальше, а не прямо за село и брать с собой резиновую лодку, потому что отец хотел обязательно закинуть с лодки свою хваленую сеть. На удочку ловился карасик, и я знал от детей, что за час на удочку ореховую они ловили на сковороде. А сеть была в речушке заросшей затеей бессмысленной, и уж тем более никогда дядька не доходил до того, чтоб плавать на резиновой лодке. Но лодка эта откуда-то у него была, валялась на чердаке, и дал он отцу поиграть в эту игрушку.

Отец заявил, что покажет настоящую рыбалку. Мы сели в таратайку и покатили далеко на речку. Речка оказалась похожей на протоку, ширины в ней было шагов десять, но отец накачал резиновую лодку и уплыл ставить сеть. Дядька как мог помогал ему с бережка. Они вытащили тину да лягушек — и так несколько раз. Отец помрачнел, и они еще выпили, а после решено было, что клева в этот день нет и надо ехать восвояси. Меня уже посадили в таратайку, запряженную двумя конягами. Так как в мыслях у отца было еще вернуться в другой раз и добыть своего, то он поленился выпустить из лодки воздух. Кони, еще почуяв резиновую лодку, задичились, а в тот миг, когда дядька с отцом кинули ее на таратайку, дико заржали, рванулись и понеслись как ужаленные кружиться.

Лодка слетела, попала под колесо и взорвалась. Не помню, что держало меня, почему не вывалился да не убился: отец остолбенел вдалеке, и только дядька, вмиг протрезвев, бросился наперерез своим запряжным. Всё вышло стремительней смерти. Он что-то пронзительно заорал, может, от страха, прыгнул кошкой, за что-то уцепился и, напрягая всю силу, перетянул, остановил двух взбесившихся коней. Подбежал отец: неживой весь, бледный. Дядька сердито ему буркнул садиться, но дорогой оттаял, и они еще крепко выпили, а я от переживаний уснул... и проснулся уже ночью.

Таратайка медленно плыла по цветущему, похожему на пестрый рукотворный ковер, полю гречихи. Никого со мной и кругом на поле этом, огромном, не-

проглядном, не было, так что отмирала душа. Боясь и прыгнуть, и громко закричать, потому что боялся уже этих коней, я лежал лицом к небу и тихо плакал, прикованный глазами к его светящейся стальной глубине, видя там глубоко стайки звездочек да кочующие белые туманы облаков. Где остались мой отец и дядька и куда меня унесло, вовсе я не знал, и будто Богу, сам того не ведая, моллился, просил жалобно всей душой, чтоб ничего со мной не случилось; а то вдруг сама по себе являлась ясная, сильная мысль, унимающая слезы, что ничего и не может плохого со мной случиться.

А кони сами брели — и забрели во двор. Из дома на шум выбежала хозяйка. Оказалось, что и дядька, и отец давно дрыхнут. Они воротились такие пьяные, что ничего не помнили и свалились, только ноги их принесли, замертво. А наутро отец как ни в чем не бывало уверял, что так и нужно было, будто дядька ему поклялся, что умнее тех двоих коней на свете никого нету и они отпустили их самих дойти домой, чтоб не пугать своим перегаром, да и жалеть будить меня. Чтобы доказать уже для меня смекалистость своих коней, дядька тут же запряг таратайку. Кони трогались по свистку, хлопку, даже чиху. Под конец пришло ему в голову научить меня править конями. Он всучил мне вожжи и скомандовал выезжать самому со двора, наказав дергать за них, чтобы кони поворачивались в ту сторону, куда надо. Выезжая со двора, таратайка, управляемая мною, зацепила нарядные деревянные ворота, так что из ее бока да из ворот выломались все доски. Дядька охнул, горестно застыл, видя, как разом оказалось испорчено столько его добра, и после разозлился: «Та шоб им пусто было, тим граблям, хай треснуть, зроблю наикращце них!»

Никто не считал дней, и всё оборвалось в миг, когда приехал за нами Настенко. Он вернул нас в сады... Полина исчезла, жила теперь в Глевахе, а Настенко только и думал о пчелах. У него роился улей, и он, уезжая, упрашивал, чтоб мы, если пчелы соберутся роем, словили их в мешок. Мы бродили неприкаянно по садам до вечера. А после, в палатке, отец глубокомысленно слушал какое-то ночное шипение из радио.

С утра же он был обычный, хмурый, еще потому, наверное, что на одной из яблонь высоко на ветке углядел начавший копить пчелиный рой. Залезть на яблоню он то ли боялся, то ли по незнанию думал, что рано еще спасать рой. Отец ничего не знал толком о пчелах и ничего не умел, дожидаясь, что всё сделает сам Настенко, но тот всё не ехал, а пчелы копились час от часу, свисая с ветви косматой живой бородой. Когда примчался Настенко, то рой давно улетел. Глянув ввысь, задрав высоко башку, он обернулся уже со слезами на глазах, что, чудилось, выжигали даже рачий панцирь загорелой да обветренной его кожи. Из груди раздался то ли выдох, то ли стон: «Эх, вы...» — и он глянул на меня с отцом, жалостно сверкая плачущими глазами, будто мы убили его в тот миг.

Через минуту он стоял под яблоней сам не свой, казалось, разрушенный до основания, не понимая, что мы тут делаем с отцом в его саду, откуда взялись, для чего здесь нужны... Он глядел так спокойно и мертво на летающих по саду пчел из других ульев, будто всё еще разлетались останки того, опустевшего.

Отец остался в садах. Настенко не проронил ни слова, проводил меня до машины, ступая неслышно чуть поодаль и, наверное, думая что-то обо мне. Когда сел за руль, всю дорогу до Киева молчал истуканом. К моему удивлению, он остановил машину у подъезда дома, где жили бабушка с дедушкой. Перегнулся на заднее сиденье — там он, оказалось, припас банку с медом; в нее были впихнуты нарезанные ломтями, будто хлеб, соты, залитые тоже медом. «Мед кушай — от всех болезней. Бабушке Нине от меня привет. Скажи, не забываю о ней. Ну до свидания... Всего хорошего...» Я было заикнулся от волнения, вылезая наружу: «До свидания, дедушка... Спасибо, дедушка...» — и успел почувствовать, как скользнул по мне испуганный да удивленный его взгляд.

К р а т е р

* * *

В декабре девяносто девятого
на краю белоснежного кратера
мы стояли. А кто это — мы?
А такие ребята из Питера,
двое-трое, ну максимум пятеро,
обступившие скважину мглы.

А вокруг из тумана и зелени
урожай новогоднего семени
колыхался, как воздух в жару,
и земля, как больная жемчужина,
вся в испарине мелкой, простужена,
бормотала одно: не умру.

— Не умрем! — восклицали мы Северу
и стучали по голому дереву.
Не умрем, потому лишь, что — мы!
Хоть отверстие рваное в кратере
изъязвляло сердца — как в фарватере
пенный след лишая у кормы.

Вздору было с добром — но и главного:
нимб святого на гравий для ангела
шел, чтоб вымостить тропку в саду
монастырском — где сплошь гладиолусы,
завиваясь, вплетались нам в волосы
в девяносто девятом году.

Горизонт расширялся поблизости
не к простору, однако, а к лысости,
отчего мы спадали с лица.
Но казалось: немного усилия,
и распутится кратер, как лилия,
и столетью не будет конца.

* * *

Надвигается судьба,
как летящая над морем
многолюдная арба,
цифровой безглазый голем,

как набитая травой,
но и пневмой, но и лучшей
схемой тела цифровой
жизнь — точнейшее из чучел.

И, как под ноги ковер
пламени на шкуре тигра,
выстилает свой узор
сыфр к *алифу*, к цифре цифра.

Но в любой резной щели
между ними поместиться
лезет масса: не нули
и не целое, а — лица.

И особенно одно
отчуждается от формул,
будто серое рядно
белым шелком кто продернул.

Ниже, ниже колесо
рока. Шлейф событий рвется.
Ближе, ближе то лицо,
и неотвратимей сходство.

Числа мечутся. Но бунт
их — игра. Они орнамент:
номер рейса; дата; пункт
назначенья; и — кем нанят.

Hospitium

Ближе к старости в место глухое,
в городишко случайный хотел бы уехать,
где есть парк и канал и где за полночь лебедь
о последнем рыдает покое.

Где в витрине аптеки пробирки
эликсиров цветных и целебных сиропов,
и гуляет по площади местный философ,
чтобы ровно в четыре пройти мимо кирхи.

Здесь уже не сложу я из жизни мозаик,
потому что не знаю имен и историй,
потому что (зачем лишь и ехать-то стоит)
и меня ни одна здесь собака не знает.

Только ветер румянит мне щеки,
ветер юности, нежно-неистов,
тот, что гонит по парку, как листья, туристов,—
тот, что сводит с былым, а не с будущим счеты.

Остальное — покой. От артерии к вене
шепот крови: оставьте в покое.
Чтоб, хорошее так же любя, как плохое,
обгонять хоть на малое время забвенья.

Софье шесть лет

Не торопись во взрослые, взрослый глуп,
он под подушку не сунет молочный зуб,
а ляпнет «кальций». Он говорит всерьез,
где бы смеяться. А все потому, что взросл.

Не повторяй за ними. Мильон их слов
прежде сопрел в мильоне других голов.
Взрослый всегда вспотел и всегда озяб —
перенимай закалку у снежных баб.

Что ты читаешь? Читай про принцесс и фей.
Принцы румяны, хотя голубых кровей.
Гномы бегают вкось и наперерез,
а взрослые — тонус поднять или сбросить вес.

Цвета лица у них два — бледен и смугл.
Взрослый не верит в одушевление кукл.
Ты же своей щёки раскрась, чтоб ожила,
красным и синим, взбей кудри и кружева.

Взрослые утверждают, что жить любя
так, как ты любишь — всей полнотой себя,
после детства нельзя, наступает сбой,
ты становишься всеми, никто тобой.

Так или нет, останься Софьей еще. Напяль
что-нибудь взрослое на себя — туфли, шаль,
волосы под античных матрон расчеши.
И не спеши за возрастом, не спеши.

Дивертисмент

— Скажите, почему это у вашего величества
в покоях королевских нигде нет электричества?
— Так мы же в счет покрытия вассальных обязательств
включаем свет их светлостей, сиянье их сиятельств.

— А почему не видно на улицах полиции?
— А потому, что служат в ней у нас одни патриции,
а так как эта служба, по мнению их, плебейство,
то из нее повальное мы наблюдаем бегство.

— Из-за чего бегут тогда военные из армии?
— Да всё из-за противника. Нет никого коварнее
противника: он дерзок, хитер и агрессивен.
Любой противник — дрянь, но наш — особенно противен.

— А почему?..— А потому! Конец аудиенции!
И мой совет вам: истину глаголют лишь младенцы, и
среди них находится ее высочество София:
ступайте к ней с вопросами — она мудрее змия.

Софье шесть с половиной

Как лезвие, отбита челка,
и прочь от восковых скорлуп
уносит мед, танцуя, пчелка
к румяному раствору губ.

Итак, на первый взгляд, игрушка.
Но где раешный маскхалат
дыряв, сквозит слепая дружба
с иконой, забранной в оклад.

Есть речь, есть лепет. Их основа —
дыханье Сони. А итог —
в сачке застрявший ветер, слово
с цветка гонящий на цветок.

Есть речь-тоска, и речь-забава,
и луг — бессмысленную тварь
гармонии, под крики «браво»
зевак, сметающий в словарь.

В наборе устарелых литер,
где «эс» — скоба, а «эн» — двутавр,
есть знак цветка. Цветок не лидер,
но сноски к тайне. Слаб, но храбр.

Так и она: нацелен облик
попасть в свой класс, найти свой вид,
но вся — еще узор, приемник
пророчества, еще магнит.

Отмечен челкой год господень,
к беседе пригнан язычок —
и, как звезда в колодце в полдень,
блестит неведеньем зрачок.

* * *

Наступает суббота — но сна ни в одном,
и бормочет слеза: для чего я ползу,
безразличная к выводу, жизнь ли вверх дном,
или просто нет сна ни в едином глазу?

Наступает суббота — а все, что вблизи,
расплылось, как в пару очертанье колес
паровоза, хоть ясно, что все на мази,
а слеза — от усталости век и желез.

И пора начинать — то ли день, то ли что,
только как, если не было сна ни в одном,
если время — что после субботы, что до,
ни труда, ни покоя ни ночью, ни днем.

На реке

1

В ото льда отворённой, как окна, реке
мне мерещится туловище в парике
облачков; аллегория веса и спеси;
вариант привиденья в классической пьесе;

оркестровая яма — куда снесены
головешки созвездий в забытых спектаклях,
выпускавших под занавес символ весны —
ствол березы в катящихся россыпью каплях.

Что мешает триумфу таланта? Триумф
выживанья. Тем признак невнятной, чем ближе.
Праздник солнца уходит за тучу, чтоб грунт
привести в состояние питательной жижи.

И безглавое тело на блюде земли
потому-то и видится нам регулярно,
чтобы мускулы нас, а не мысли вели
и не тяжестью шарма сгибали, а скарба.

Просто мир-по-старинке с поправкой на сто
или тысячу лет, просто жизнь-по-привычке
надо скрасить собой — как кузнечик, в гнездо
принесенный в пластмассовом клюве синички.

Чтоб ни грез, ни видений. Береза в лесу
над рекой. Декорация — тоже искусство.
Чтоб, держа меня вниз головой на весу,
птица думала: «Да. Заурядно. Но вкусно».

2

Под сводом небес третьесортной земли
клеймо золотое, в реке, пополудни,
я видел. Как звенья кольчуги. Нули.
Как косточки счетов на острове лютни.

Картинка? Ну да. Но не символ, а нерв.
Безглавое, с солнечным только сплетеньем,
оно для меня совершало маневр,
конечности пряча из пламени в темень.

Пейзаж? Пусть пейзаж. Но который в реке
не мог отразиться — как яркая сцена
с героем под маской пустой, в парике
цветных облачков. Как сиянье из центра.

Портрет? Может быть. Но не стран и эпох,
а молнии внутренней, тиков удава —
как в атласе схема удара под вздох,
как спрут электрической тьмы от удара.

Затмение, в общем. Со вспышкой в мозгу
и хохотом, смахивающим на рыданье.
С пустым ореолом на том берегу.
Короче, страданье. Без смысла. Страданье.



Два человека под одной кожаной обложкой

Рукопись романа «Стать Лютовым» — вольные фантазии из жизни Исаака Эммануиловича Бабеля — передала мне вдова Григория Горина Любовь Павловна. Горин был писателем, искусственным в трансформации биографий людей или героев произведений, которые завоевали себе право жить самостоятельной, скажем так, мифологической, жизнью. Что подумал о романе Давида Маркиши Григорий Горин, мы не узнаем: он не успел его прочитать...

О возможностях жанра литературной биографии сказано и написано много. Но здесь будет уместно привести оценку Владимира Набокова, потому как его единственного отметил среди новых писателей эмиграции Исаак Бабель. «Когда его читаешь, то чувствуешь в его словах только мускулы и нервы, кожи нет...» — пишет Бабель из Парижа. Набоков говорил, что вещи в жанре литературной биографии интереснее писать, чем читать. Набоков даже рисует картину того, что ждет неосмотрительного жизнеописателя: «Сперва преследует свой предмет биограф, продираясь сквозь дневники и письма, увязая в трясине домыслов, потом вымазанного в грязи биографа начинают преследовать соперничающий авторитет»...

Я шла на встречу с Давидом Маркишем, ожидая увидеть человека, измученного двойной погоней. Но вид его был таков, что я подумала: или он не знал об убийственных предупреждениях, или погоня закончилась вполне благополучно.

Сквозь гул машин, прорывавшийся с улицы, сквозь позвякивание чайной посуды мы перебрасывались необязательными фразами, а потом заговорили о том, что свой первый роман «Присказка» Маркиши написал, когда еще был в отказе, что роман этот содержит элемент автобиографии, хотя книга абсолютно не автобиографична, за исключением факта ссылки. Что книга о подростках, о жизни в неволе, в ссылке, о том, как формируются их характеры. Судьба самого романа интересна. Он вышел на девяти языках, удостоен всяческих премий на Западе, довольно важных. Но в Израиле, где уже тридцать лет живет Давид Маркиши, его издание прошло почти незаметно. Только когда этот роман был опубликован в Бразилии и потом стал бестселлером нескольких месяцев в Швеции, его стали переводить на иврит. И это напомнило Маркишу истории литературных карьер писателей из республик Советского Союза. Как можно было вернуться в свою республику писателем? Только после издания в Москве в переводе на русский.

За три десятка лет жизни в Израиле Маркиши написал десять романов, о последнем из которых и пойдет далее речь.

— Так случилось, что я много-много лет назад помог привести в порядок роман Армана Лану, который вышел в серии «ЖЗЛ» под названием «Мопассан, Милый друг». Лану написал настоящую, если можно так выразиться, классическую романизованную биографию. Потом так же писал Труайя. В романизированной

биографии, как бы прекрасно ни была написана книга, мне все напоминало таблицу умножения: дважды два, девятью девять — все очевидно. В таком романе что-то может быть лучше, что-то хуже, язык более изыскан или менее — все это достижимо ремеслом, но скучно. Скорее не скука жанра, а его точность. Для меня точность в произведении литературы граничит с лезвием бритвы — слишком определенно, а должна быть некая размытость. И потому я решил не следовать законам жанра, хотя такой романский человек, как Бабель, просто просится в него.

— *Кроме скуки шаг за шагом следовать хронологии событий, были ли другие мотивы, подвигшие вас обратиться к жизни «романного» Бабеля?*

— Меня давно интересовала тема — самоидентификация еврея в иной национальной среде. В России, где я прожил до 34 лет, исходя из своего опыта, я достаточно глубоко вошел в нее. Потом, когда уехал в Израиль, я увидел, как живут евреи сами по себе. Потом также представилась возможность посмотреть, как они живут в мире. Например, в Америке. Там евреи конкурируют с коренным населением.

— *Кого вы имеете в виду, говоря о коренном населении?*

— Когда еврей желает, в той или иной степени, остаться в своей национальной среде, он не ассимилируется, если же ассимилируется, он перестает быть евреем, остается, как правило, лишь рамка, но родство с племенем, народом прерывается. Во втором, третьем поколении, если нет возврата, евреи становятся людьми иной национальности. В Америке это вживание в иную среду очень часто ведет к соревнованию в своем денежном содержании, и это мне чрезвычайно неприятно. Понимаете, я прожил значительную часть своей жизни здесь, в Москве, и прожил в литературной среде. Зарабатывал литературой, мои первые книжки вышли, когда мне еще не было девятнадцати лет, мои коллеги были и моими друзьями. Тогда у нас не было принято говорить о деньгах. Слово «деньги» звучало, когда их не было, но это не являлось главной темой разговора или предметом обсуждения. Американцы же очень серьезно относятся к деньгам, и американские евреи успешно конкурируют с ними, тем самым вроде усиливая свой вес внутри себя. Кстати, в Бразилии, если еврей не богат, то он как бы и не член еврейской общины, его пытаются вытолкнуть, дать ему, что ли, денег на дорогу и еще чуть-чуть, чтобы он уехал. Вот это и есть, конечно, отчасти, самоидентификация в американской среде: еврей должен быть богатым или, на крайний случай, очень обеспеченным. И точка. Конечно, в Соединенных Штатах есть богема, где также есть евреи, которых все это абсолютно не занимает.

— *А как вы ощущали свой народ, свою среду здесь?*

— Существует расхожее мнение, что все евреи умные или очень сообразительные. Где-то мы сами виноваты в этом, культивируя понятия типа «еврейская голова», «еврейский ум». У меня есть роман «Быть, как все». Примерно о том, что евреи такие же, как все. Все остальное — придумки. Несмотря на то, что религиозные люди меня осудят, я считаю, что евреи — не избранный народ, а народ, избравший единого Бога. И это, на мой взгляд, намного прекрасней, чем избранным кем-то, даже и Богом... В России мы, городские евреи, были незнакомы с еврейским народом, проживавшим от Дальнего Востока до западных границ. И я, еврей по рождению, не знал, что помимо писателей, как нынче говорят, еврейской национальности, ученых, шахматистов перечень можно продолжить; есть евреи, которые, например, торгуют пивом. Какая-нибудь тетя Рива, ничуть не отставая от своих русских товаров, разбавляет пиво кипятком, и никому и в голову не придет требовать отстоя пива, потому как тетя Рива на прекрасном русском языке пошлет его всем известными словами. Потому-то я не мог воспринимать эту часть моего народа как интегральную часть моего «я».

— *В Израиле иначе?*

— А в Израиле я увидел, что все не так. Там есть полный набор всего, от «а» до «я»: встречаются не только жулики, но и разбойники с большой дороги. Это стало для меня откровением, я понял, что есть весь народ, а не просто прослойка интеллигенции. Есть израильские, а есть евреи. Из политических соображений некоторые считают, что так говорить нельзя, потому что это разрушит народ в мире. Я придерживаюсь точки зрения, что не существует народ в мире. Есть израильский народ, который живет, как ему нравится, и там нет самоидентификации по принципам США, Бразилии или России.

— *Вы можете назвать принципы самоидентификации у нас?*

— Я не знаю, что происходит сейчас, а при советской власти евреи хотели стать не столь богатыми — я по крайней мере таких не встречал, — сколь физически сильными. Тут к физической силе примешивалась и некая нравственная устойчивость, крепость, я бы даже сказал — решительность.

— *Выходит, эти качества вовсе не свойственны евреям?*

— В Израиле, как и у любого другого народа, есть люди более приспособленные, есть менее. Но городскому советскому еврею эти качества были в достаточной степени не свойственны. И в этой среде находились такие, которые пытались по-другому поставить себя в жизни. Эта попытка самопостановки приводила к тому, что они не хотели быть «пожиже», чем окружение. Скажем так: быть не всмятку, а вкрутую, и если окружение в мешочек...

— *То и мы будем...*

— Э, нет, а мы хотим быть вкрутую. Я это прошел. Когда мне было двадцать с небольшим, я решил стать первым евреем, который взойдет на ледник Федченко, удивительной красоты ледник, самый крупный, самый большой в мире. И взошел. Взошел не единожды, и летом, и зимой, и когда реки разлились, и когда замерзли, и пропадал там, и сжег себе роговицу... Я тогда занимался экзотическими темами в журналистике, в литературе что-то начинал делать. Меня туда влекли не только любопытство и страсть к горам, но всемо прочему гнало то «но», что лежало в основе ситуации: я еврей, но я преодолею.

— *И вот от этого вы стали отталкиваться, когда решили писать о Бабеле?*

— В значительной степени. Бабеля, как он сам писал, звали «четырёхглазый» из-за круглых очков с толстыми стеклами. И это не поглаживание по головушке. Он — Бабель, но он хотел быть Лютовым. Человек удивительного литературного таланта, оказавшись на войне, был человеком не второй категории, а третьей, но он хотел быть первой.

— *Не первой категории оттого, что он был слаб и немощен?*

— Слаб — да, немощен физически — не думаю: он не был приспособлен к казацкой жизни. Я слышал, два человека еврейского происхождения получили звание казаков — Розенбаум и Кобзон. Если это правда, то это похоже на оперетту. Ездить верхом — еще не значит быть казаком. В романе, когда казаки выбрасывают его сундучок и рукописи рассыпаются в грязь (что может быть страшнее для писателя?), Бабель хочет быть, как они. Но для этого он должен быть сильней и «казацей», иначе казаки не примут его в свой круг. Он берет себе псевдоним *Лютов*, чтобы быть, как все. Вот таким образом и появилась история, где речь идет о Бабелелютове.

— *В одно слово? Сейчас мне вспомнилось, что на обороте одной фотографии Бабель написал: «В борьбе с этим человеком проходит моя жизнь». Кто же превозмогает кого?*

— С псевдонимом *Лютов* Бабель приехал из Одессы на фронт, и полгода, проведенные там, он подписывал этим именем материалы в газете. Не хочу останавливаться на рассуждениях, как рождались псевдонимы, особенно в то время. Выбор псевдонима достаточно живописен и характерен. Лютов при всем желании не может рассуждать на библейские темы, он может резать человека. А Бабель не может. Мы видим это в «Конармии» несколько раз и когда режут гуся, и когда режут еврея, отвернув ему голову, чтобы не забрызгаться кровью, и когда казачок с разорванным животом просит: «Добей меня, пристрели», а наш герой не может, в то время как казак, мимо скачущий, на ходу исполняет просьбу раненого, но не просто исполняет — он с презрением смотрит на Бабеля, потому как здесь он не стал Лютовым. Для меня этот эпизод важен: именно так и идет борьба Бабеля-Лютова. Когда заканчивается война, тяжело больной Бабель возвращается в Одессу. Война-то заканчивается, но борьба, столкновение и одновременно совмещение Бабеля с его псевдонимом не заканчиваются. И этому подтверждение — 37-й год, конец жизни Бабеля, вся история его ухаживания за женой Ежова, это...

— *Эпохальная история...*

— Хе, история эпохальная для жизни Бабеля, как ухаживание Давида за Вирсавией. Когда начинают говорить о биографии Бабеля, непременно одним

из первых вспоминают этот эпизод, но я думаю, что за Евгенией Соломоновной ухаживал как раз Лютов. Когда в Берлине в 27-м году произошло знакомство, вот это был Бабель. Тогда она была какой-то машинисточкой, милой, по всей видимости, девушкой, но когда она стала женой Ежова, да еще 37-й год, а связь продолжается, здесь, конечно же, в игру вступает Лютов. Я Бабель, но я буду ухаживать за женой человека, который меня может не то что расстрелять, а просто бросить в чан с кислотой.

— *Первая часть вашего романа написана с яростным натиском, будто заимствованным у Бабеля...*

— Верно. Если позволительно взять рассказ другого писателя и его экранизировать или повесть и ее инсценировать, то я допустил возможность романтизировать цикл рассказов Бабеля. Выбрав такой, скажем так, жанр, я сделал рискованный ход, но посмотрим, чем это обернется.

— *Какими материалами вы пользовались в своей работе, ведь архив Бабеля исчез?*

— Дневниками Бабеля 21-го года. После прочтения их я совершенно иначе воспринял «Конармию», а главное — изменился образ самого писателя. После дневника я увидел борьбу Бабеля с Лютовым.

— *Современники говорили о театральной таинственности, которой Бабель любил облекать некоторые стороны своей жизни. Вы в своем романе легко перемешиваете быль и вымысел. И все же некоторые эпизоды оставляют ощущение, что вот это-то никак не могло быть в реальной жизни Бабеля. Например, эпизод с Клавой. Какие-то тайные свидания с прислугой в доме богатого бакалейщика, скандал разоблачения, который заканчивается пиршеством, когда хозяин узнает в любовнице служанки знаменитого писателя — это смахивает на новеллы Боккаччо.*

— Из всех эпизодов второй части романа эпизод с Клавой наиболее документален. Этот рассказ в деталях я слышал в Киеве от человека, близкого Бабелю, звали его Вениамин Рискин. О нем вдова Бабеля Антонина Пирожкова в своих воспоминаниях написала довольно много. Он был старше меня в два, а то и три раза, но мы очень дружили. Он мне среди прочих рассказывал историю, как Бабель вместе с ним отправился к девушке в дом, где та была домработницей. По словам Рискина, там Бабель себя чувствовал прекрасно. Бывая в гостях, случайно или звано, где люди разглядывали писателя как диковинку, ощупывали его, просили рассказать какие-то литературные истории, он очень тяготился. А вот с такими, как Клава, ему было совершенно спокойно, не могу утверждать, что хорошо, но спокойно. У меня нет никаких оснований не верить Рискину, потому что все, о чем он рассказывал, всегда подтверждалось. Он потом был другом Олеси до самой его смерти. Что же касается таинственности, я считаю, что Бабель — сказочник. Не хочу сказать, что Шварц, но кое-что от него есть. Описанное и в одесских рассказах, и в «Конармии» не имеет прямого отношения к реальности изображаемого. И прежде всего — в одесских рассказах: поведение героев, ситуация, стилистика, реплики, диалог — всё яркая, замечательная сказка. Элементы сказки присутствуют и в «Конармии», даже его автобиографические вещи далеки от действительных событий.

— *Это склонность к мистификации?*

— Это естество художника. В Израиле поставили пьесу по рассказам Бабеля «Город». Пьеса считается неудачной, а спектакль получился прекрасный. И именно потому, что туда был введен элемент сказки. В спектакле, например, по сюжету хоронят молодого человека, погибшего после налета, его мама плачет и требует, чтобы ей дали немножко больше денег, и когда дело доходит до взаимных расчетов над гробом, покойник приподнимается и кричит: «Мама, вы забыли про проценты!»

— *Ваш роман можно расценить как посыл кинорежиссеру, а вторая часть видится на сцене. Это ошибочное ощущение?*

— Нет, не ошибочное. Сейчас уже практически не существует в современной российской литературе кинопрозы. Теперь кинодраматург должен написать, как на Западе, сразу же режиссерский сценарий. Я до сих пор отдаю дань, или, если хотите, плачу дань пейзажу, портрету. Это замечательная возможность изящной словесности, возможность написать портрет героя, можно не ге-

роя: прохожего. У меня и то и другое существует, это, на мой взгляд, делает мои произведения близкими кинопрозе.

— *Отъезд писателя из любимой им Франции. Мне хотелось бы поговорить об этом роковом шаге, который завершился в январе 40-го года приговором: «Бабель Исаака Эммануиловича подвергнуть расстрелу». Герой вашего романа говорит, что тогда, в Париже, ему еще не надоело надеяться, «сквозь ветви вольного леса видеть мертвое поле, утыканное красными флагами и фабричными трубами» и испытывать «упрямую радость».*

— Я думаю, что у всякого писателя, оказавшегося в иной языковой среде, в другой стране, возникает некий вакуум, который тянет к себе. Это то, что писатель любит называть «читатель», «читатель мой не здесь, а там», тоска грызет писателя — это естественно. Но у знаменитых писателей эта тяга обретает иные очертания, писатель вольно или невольно смешивает два понятия: читатель и почитатель.

— *Бабель — писатель труднопереводимый?*

— «Бабушка, обложенная доброй грудью» — как это адекватно перевести? В этой фразе — целый мир. Он понимал, что новый мир завоевать будет трудно. Я это видел по последней эмиграции в Израиле. Не буду называть имен, но достаточно актеров и писателей, известных здесь, стали наиболее непржижаемы там.

— *Приобретя качества Лютова — устойчивость, прочность, напор, Бабель мог бы упереться и перебороть не только языковой барьер, тем более что очень неплохо знал французский. Так кто же тогда уезжал из Парижа — Бабель или Лютков?*

— Уезжал из Парижа сказочник. Прозаик еще может остаться, сказочник — нет. Если говорить образами того времени, то девочка на шаре победила гимнаста. Гимнаст как сидел спиной на кубе, так и остался, а девочка на своем шаре, уехала туда, за кадр картины Пикассо.

— *Как-то на днях меня спросили, сколько Бабель написал рассказов о Бене Крике? Я сказала наугад — семь — потому, что цифру эту люблю. А вы что скажете?*

— А я скажу, что Бабель был специалист по буквам, а не по цифрам. Бессмысленно считать, да и к чему это?

— *Спрашивающий утверждал, что четыре. Не проверяла, но мысль о том, что Бабель смог вовремя остановиться, даже чуть раньше, чем вовремя, и не эксплуатировать дальше ни стиль, ни тему «молдаванских» рассказов, небезынтересна.*

— Бабель практически никогда не возвращался к Бене Крику. Хотя он написал пьесу и киносценарий, но это были неудачи, и все же не проза.

— *Если употребить лексику художников, то он никогда не делал авторских копий?*

— Да, поэтому художник, например, такой, как Малевич, использует геометрию не только на полотне, у него геометрический склад мысли, что писателю — смерть. Писатель боится этого, он боится не острых углов геометра, он отталкивает саму возможность построения геометрической фигуры в литературе своей. Бабель — не икона и не черный квадрат Малевича, он живой человек, даже два человека под одной кожаной обложкой.

— *Сейчас в Москве вы собираете материал для книг о русском авангарде?*

— Думаю, книг будет две. Первая — это предложение моего западного литературного агентства написать небольшую книгу об Эл Лисицком. Я понимаю, почему выбран Эл Лисицкий: он прожил какое-то время в Европе, был связан с Германией. Там он познакомился со своей будущей женой, и она поехала за ним в Россию. Судьба ее сложилась ужасно, она была в ссылке. Один из ее сыновей погиб в лагере на Урале, а другой случайным образом выжил в фашистском концлагере. Сделаю эту книгу только, если будут приняты мои условия. Это не будет искусствоведческий материал, и ни в коем случае не биография для школьного курса. Я хотел бы взять семь-восемь эпизодов из жизни Эл Лисицкого и написать семь-восемь новелл. Лазарь Лисицкий родился в семье религиозного еврея в черте оседлости в местечке Починок. Для меня это важно, так как мой отец Перец Маркиш тоже родился в местечке. В Полоное, близ Житомира. Местечка уже нет, но есть улица имени моего отца, где покрытие мостовой сохранилось таким, каким оно было тогда в местечке

как — черные камни. Многие художники и скульпторы авангарда, известнейшие люди нашего времени вышли из местечек. Они были художниками нефигуративными. Меня всегда этот вопрос занимал — почему? Можно, конечно, сказать: вот они, негодяи, разрушили реалистическое искусство, но глупости это. Они сохранили и сберегли генетический страх перед реалистическим изображением фигуры человеческой «Не создай себе кумира». Нарисованный человек может подменить Бога, как предмет поклонения. Может быть, это неверное и слишком красивое объяснение, но для меня это увлекательное объяснение. Они уходили в абстракцию, либо в то, что у нас в Израиле сейчас очень популярно: работа с нефигуративными компонентами. И Лисицкий в 20-е годы оформлял книги писателей, работавших на языке идиш, и использовал еврейский шрифт, как орнамент на обложке, но, уехав из России в Европу, он изменился и стал тем Лисицким, которого мы все знаем. Малевич относился к нему с обидой, так как он, благословляя Лисицкого за границу, предполагал, что тот будет заниматься продвижением архитектурной части авангарда, но Лисицкий стал там, в особенности в Ганновере, заниматься живописью и не выполнит своего супрематического и авангардного назначения.

— *Вторая о...*

— Казимире Малевиче и его группе. Я уже придумал ход: не отталкиваясь от Бахтина с его карнавальностью истории, писать о карнавальности жизни, которая была в России с десятилетия до середины двадцатых прошлого столетия. То есть предвоенная эпоха...

— *А каким вы представляете этот карнавал?*

— Карнавал может быть таким: ночь, маски, костюмы — красивые, загадочные, нелепые, к утру маски устают, растекаются, растворяются. А может быть и другим: под маской скрыт убийца, под маской скрыта жертва, во время карнавала удобно убить человека.

— *Значит, коварство карнавала?*

— Коварство, ужасное, кровавое коварство карнавала. Есть *кто-то*, не тот, главный кукловод карнавала, а один из его ординарных помощников, который подергивает ниточки. Так оно и случилось: карнавал десятилетия закончился большой кровью. Только те, кто успел умереть, избежали этого ужаса. Малевич, который умер в 35-м году, и тот немного посидел.

— *Да, только мы умеем взвешивать и мерить: много-немного посидел.*

— Понятие «детский срок» — это наше достижение. И все-таки, несмотря на то что случилось с Малевичем, он позволил себе быть похороненным в красных тапочках, в супрематическом гробу и красных тапочках... Он себе позволил, или ему еще было позволено... Чуть позже за такие выкрутасы просто бы расстреляли его труп. Это и было конец карнавала. И жизнь Лисицкого также подчинена кровавому карнавалу. В галерее на Крымской набережной и я долго смотрел на «Черный квадрат» Малевича. И мне вдруг пришла мысль: Байконур не является частью космоса, но с него начинается полет в космос, так и «Черный квадрат» — не произведение искусства, а нечто иное — знак, точка отсчета, тот самый ноль, о котором говорил сам Малевич. Правда, он же утверждал, что это и икона. Однако и икона для него была знаком. Представьте себе столб, его можно сделать золотым, серебряным, деревянным в полосочку, верстовым, но это лишь знак, а дальше открывается красота невозможная: поля, леса, птицы и... крокодилы...

— *Вы думаете, такое объяснение облегчит задачу зрителю, который, глядя на «Черный квадрат», ничего не видит, ну ничего?*

— Именно так. Люди смотрят на картину, которая стоит черт-те сколько миллионов, как на плоскость, очерченную черным, и, как правило, испытывают ужас. Мне об этом говорили даже люди понимающие. Ужас, страх, все то, что еще с древних веков влечет за собой черный цвет. Остроугольная композиция на плоском белом, можно сказать, белый космос, а можно сказать, что это...

— *Весь белый свет.*

— Все, что угодно, и, конечно, — космос. Вот почему я заговорил о Байконуре. Там более что дальше супрематические работы Малевич называл космическими, он говорил о применительности данного метода к архитектуре. Слово «космос» было одним из любимых и значимых для Малевича. Он и мыслил категориями космическими. Может быть, поэтому он более или менее спокойно

отнесся к войне четырнадцатого года, чудовищной войне. Когда мир раскалывался, Малевич никак не проявился, остался как бы в стороне.

— *Выходит, Малевич написал свой «квадрат», заранее зная, предугадывая, что это станет точкой отсчета, стартом целого направления в искусстве?*

— Думаю, да. Он мог себе позволить считать свой «Черный квадрат» нолею, а затем последовали его «01», «02» и т. д. Супрематизм фактически начался с этого и никогда больше в таком обнаженном виде не проявлялся. Мне хочется попробовать решить вопрос, насколько Малевич был близок к мистификации. Николай Харджиев рассказывал Геннадию Айги, что, когда Пунин увидел в мастерской Малевича только что написанный «Черный квадрат», художник страшно перепугался: вдруг о картине узнают раньше открытия выставки. Понимаете, он ее готовил как *событие, как акцию*: открытие Америки состоитя на открытии выставки «0,10». Харджиев говорил, что Малевич просто заболел, из него как будто выкачали кровь и воздух — вот как он желал этой точки отсчета, как он ее ждал!..

— *Он был провидцем, или это высокомерие?*

— Высокомерие было свойственно Казимиру Малевичу, насколько можно об этом судить из немногих сведений о нем.

— *Если он провидец в чистом виде, то такой провидец — безумец, человек не от мира сего, пророки тоже были отчасти безумцами.*

— Но Малевич не был безумец, вся его жизнь, все, что мы о ней знаем, была одним устремлением. Может быть, отшельник, в том смысле, что эта земная жизнь — песчинка в космосе, но все же Малевич был на земле. Мы это видим по его ранним работам.

— *Кроме провидчества, существует элемент удачи. Есть масса талантливейших людей, которые даже не достигают самой низенькой планочки своей цели.*

— Малевич был чрезвычайно одаренным человеком, заполненным энергией идей от макушки до пят. Говорят, он был человеком малообразованным. Ерунда, под влиянием Матюшина его самообразование было изумительным, все, что нужно было ему, он знал и владел этим материалом всецело. Он был человеком целенаправленным, как никто, плюс обстоятельства жизни подталкивали его к достижению своей цели.

— *Сейчас есть возможность оглянуться назад, на наш ушедший век, и посмотреть, не ошибся ли он?*

— Не ошибся. Он был уверен, что его идея завладеет веком, и поддерживал эту веру всей своей деятельностью. И ворота «Черного квадрата» открыли этой вере ход дальше, до предела, до ноля — человек волен импровизировать. «Черный квадрат» — это квинтэссенция. Конечно, это еретическая мысль, но я попробую в своей новой книге исходить именно из этого. Для меня это тоже будет нолевой точкой.

— *Какой же вы выберете жанр для этой книги?*

— Близкий к «Лютову»: беллетристика на документальной основе, и она, думаю, будет тяготеть к биографии художника, так как в ней много благодатных ступеней. Он был человеком необыкновенным, и его необыкновенность дает возможность отталкиваться от хронологии его жизни. В хронологию вмещаются и всяческие легенды, когда Малевич был еще жив и относительно здоров, и его трагический слом после второго ареста. И еще, книга не должна быть скучной. Если читатель, скажем так, неподготовленный, закрывает книгу на третьей-четвертой странице, то хуже этого может быть только пуля в лоб.

— *Окна вашего отеля выходят на дом, где до отъезда вы жили тридцать лет. Сюда вас принесли из роддома. Отсюда ушел, навсегда — был расстрелян — ваш отец, замечательный писатель Перец Маркиш...*

— Есть такое выражение на иврите «парпарим б-лев» — «бабочки в сердце». Парпарим — это шуршание крыльев, волнение души. Когда я впервые после долгого перерыва проезжал по Тверской мимо своего дома, я не испытал этих самых «парпарим б-лев»...



Давид МАРКИШ

Стать Лютовым

ВОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ИЗ ЖИЗНИ
ПИСАТЕЛЯ ИСААКА БАБЕЛЯ

То был черный ангел

Часть первая. ВОРОТА

ИЗ СНА ИУДЫ ГРОСМАНА, МАЛЬЧИКА

Иуда, мальчик, видел себя во сне отчетливо, как в серебряном зеркале — том, которое висело на стене в комнате родителей: в тяжелой темной раме, большом и отчасти страшном. Иуда в красных штанах с золотыми лампасами, верхом на коне, масть которого менялась в зависимости от солнечного освещения, ехал посреди улицы мимо душных лавок и скучных, застиранных дождями домов. Встречные опасливо глядели на гордо сидящего конного героя, на его сверкающие лампасы и покорно жались на всякий случай к обочинам. Героический конник на одесской улице звался Иуда Гросман, но в то же время почему-то и Давид Реувейни. Иуда не мог объяснить, почему он одновременно Давид и Иуда, хотя это было непреложно и загадка тяготила душу спящего.

Про Давида Реувейни, еврейского князя, рассказал отец. В давние времена князь Давид, силач и воин, приехал к нам из Африки, где вдоль синей реки Самбатсион лежало, греясь на солнце, заповедное еврейское царство. Не было нищих в том царстве, потому что повсюду там росли апельсины и фиги, и можно было свободно их есть и варить повидло на зиму. Взрослые состояли в царском войске, а дети не ходили в школу, они учились только военному делу, верховой езде и игре на бильярде. Царь Иосиф сидел у себя во дворце над рекой Самбатсион, на веранде, тренькал на лютне, и ему было хорошо и приятно. Армией командовал Давид Реувейни — грозный герой и брат царя. Одним ударом меча князь Давид мог развалить любого от шеи до самого седла.

Все евреи царства были сильны и ловки, как цирковые гимнасты из шапито «Монблан» на Молдаванке, и не было среди них ни одного, кто ходил бы с очками на носу. А про наших евреев, про их несчастное положение они не знали совершенно ничего — до того часа, когда балагула Аврум-Лейб Бессеребряный из города Сороки, спасаясь от погрома, не переплыл Черное море, не проехал через Турцию на своем биндюге и не прибыл 1800 дней спустя в Самбатсионское царство. Там он сходил в синагогу, узнал, что и как, познакомился с нужными людьми и уже потом отправился к Давиду Реувейни. Услышав от Аврума-Лейба обо всех наших беспрестанных мученьях, князь Давид стал собираться в путь.

Что задумал в своей брильянтовой голове князь Давид Реувейни, умница и герой? Он задумал собрать всех наших евреев и отучить их бояться, а потом дать им ружья и сабельки, построить в линейки и отвоевать Иерусалим. Пусть музыкальный царь Иосиф сидит у реки Самбатсион и тренькает на лютне, а мы будем жить на Святой земле с Богом по соседству. Но уговорить наших евреев сделать

что-либо разом — нелегкое дело и почти невозможное. Один еврей идет налево, другой — направо, а третий остается стоять посередине. Об этом князь Давид Реувейни знать не мог, потому что Лейб-Аврум Бессеребряный насчет этого даже не заикнулся — ему было неудобно перед большим человеком.

А дальше пошло-поехало. Давид Реувейни приплыл на большом корабле, изъездил всю Европу, и то его гои дурили, то наши евреи. Разговоров было много, это — да. И то снег, то болото, то пустыня, то гора, то стрельба, то сечка, то чума, а то и холера. И из всех этих несчастий Давид Реувейни вышел цел и невредим, хотя есть еще такие умники, типун им на язык, которые говорят, что князь Давид умер в тюрьме, под замком. Князь Давид был герой из героев, храбрец из храбрецов и силач из богатырей. Он побил всех своих врагов, устал и поехал обратно на реку Самбатсион, потому что наши евреи тянули одни влево, другие вправо, а третьи стояли на месте и копали в носу. А Лейб-Аврум Бессеребряный получил от князя Давида Реувейни восемнадцать золотых червонцев, вернулся в Сороки и открыл там извозное предприятие.

Иуду, мальчика, не устраивал такой полуконец этой истории. Он, Иуда, вел себя куда более решительно и твердо, он совершал подвиги куда более дерзкие... Как жаль, что великий князь с Самбатсиона ничего не знал об одесских налетчиках и биндюжниках с Привоза! С такими евреями он отвоевал бы Иерусалим, тут не о чем говорить. И то, что не дано было князю Реувейни, было дано мальчику Иуде: отряд, составленный из отчаянных евреев — уважаемых бандитов и остроглазых бильярдистов, внимательных воров и находчивых торговцев краденым, плечистых извозчиков и драчливых продавцов с Привоза — ждал его приказа.

Мальчик Иуда ехал на своем коне — то вороном, то игреневом, а то и буланом. Кавалерийское мелкое его седлецо музыкально поскрипывало, рука с плетью свешивалась вольно. Аптекари, адвокаты и курсистки в фильдекосовых чулках от всего сердца опасно приветствовали князя Реувейни и застывали с приоткрытыми ртами. А Иуда, всё замечая внимательными круглыми глазами с верховой высоты, сидел совершенно неподвижно, как бы парил над улицей и над городом.

Мы сделаем всё не так, думал и мечтал мальчик. Мы по-другому всё сделаем, жестче и умней. Для того, чтобы отвоевать Иерусалим, мало рассказывать грустные еврейские анекдоты. Кто это придумал, что для нас играть на скрипке хорошо, а в карты — плохо? Что шахматы — это нам подходит, а французская борьба не подходит? Что стрелять из ружья — это не еврейское занятие? Отряд — это хорошо, но целая армия — это лучше. Надо научить всех, всех еврейских приказчиков, ешиве-бухеров и наглых кладбищенских стариков скакать верхом и стрелять из ружья, как это делают гои. Надо, чтобы евреи научились убивать не только на бумаге — девять пишем, три в уме, — и тогда наша вялая кровь распустится и расцветет.

Курсистки в чулках глядели на князя Иуду, волновались и часто дышали. Чохоточный румянец заливал их татарские скулы, а глаза выражали семитскую овечью восторженность и покорную готовность.

Мы сделаем не так, думал и мечтал Иуда. Меня никто не обманет и не обдурит, и я не устану и не поверну назад. Я буду сильным, как гой, смелым, как гой, лютым, как гой. И все-таки я останусь евреем, евреем на коне.

Он поравнялся с синагогой, прочно стоявшей среди жилых домов квартала. Евреи высыпали на улицу после молитвы, и одни шли налево, другие — направо, а третьи стояли на месте, шурились на солнце и копали в носу.

Двор

Колеса сухо цокали на раздолбанных стыках, на поворотах вагоны бросало из стороны в сторону — так, что стопки бумаги, кружки, зачерствевшие остат-

ки вчерашнего ужина ездили по редакционному столу, а бредивший в тифу немолодой, лет сорока пяти, линотипист Кузнецов начинал выть и звать какого-то Сему. И все же движение было приятно Иуде Гросману: впереди лежало неизвестно что, неведомое море времени.

За окном бежали степные перелески наперегонки с желтыми летними холмами, с редкими хуторами, притворяющимися мертвыми. Иуда переводил взгляд из-под очочков со струящейся лесостепи на лист сероватой бумаги перед собою, покусывал конец ручки крупными квадратными зубами. Заметка получилась как бы воротами в будущую фронтовую, хотелось бы надеяться, боевую работу: портреты подъезжающих к смерти конных людей, задумчивое ожидание первого — не для них, а для него, Гросмана, — боя. Он Иуда, получался в этих зарисовках человеком многоопытным, с рассекающим беспощадным взглядом.

Снова завыл, а потом вдруг умолк и открыл осмысленные глаза линотипист Кузнецов.

— Ну, ты как? — требовательно спросил Иуда, обернувшись к больному.

— Дождь, — сказал линотипист. — Дождь, грязь, несчастье... Дети пропали, родители в земле. Род развалился, сгорел. Евреи ваши с ума сошли, песни поют. Ни рода теперь, ни племени. Дождь, грязь...

— Евреи давно с ума сошли, — откладывая ручку с пером, сказал Иуда. — Вон у казаков и песни, и род: родня до седьмого колена. Им что — лучше?

— Евреи Богу поют, — сказал линотипист и, крихтя, повернулся со спины на бок. — Сидят в синагоге и поют. А чтоб от счастья — нет, это — ни-ни. Мрак, мальчик, конец.

Иуда промолчал, глядя на исписанные прыгающим почерком странички без подписи. Зря он взял этого Кузнецова в синагогу в Житомире, зря. Кузнецов просил, как об обычном: «Сходим», — хотел поглядеть, как это у евреев. А теперь Иуда вдруг почувствовал, что, взяв его с собой, совершил предательство. Ну правда, что Кузнецову делать в синагоге? В еврейство, что ли, он решил перейти? Нет. Значит, просто любопытство. Так пусть бы книжку какую-нибудь почитал про то, как *это* у евреев. Там, в синагоге, все свои, хоть даже незнакомые друг другу евреи, а — свои. Кузнецов там просто не к месту.

А когда он, Иуда, приходит в церковь и с неотвратимым тревожным любопытством смотрит на распятого? Это — как? Это можно. *Ему* — можно, его любопытство особого свойства, охотничьего, губительного. А Кузнецову в синагогу нельзя, потому что синагога не публичный дом, а семейная спальня. Туда посторонним вход воспрещен-с.

Все зависит от пересечения обстоятельств, подумал Иуда, и это пересечение и есть Бог. Одни приходят на войну, чтобы поймать пулю ртом, другие — чтобы умереть от тифозной горячки. А третьи соскребут пучком травы чужие мозги с собственных галифе, бросят пучок на землю и дальше пойдут. И кто оправдывает собственную жертвенность, тому красные галифе как корове седло. В конце концов, если б Авраам принес-таки Ицхака в жертву, пырнул бы его ножиком, что бы из этого произошло? А ничего хорошего не произошло бы. Во всяком случае, его, Иуды, не было бы сейчас на свете, в редакционном вагоне, на подъезде к фронту: с ударом Авраамова ножа мир бы покатился по другой тропинке и родились бы другие иуды и другие линотиписты кузнецовы. Но все обошлось, успокоилось, и Ицхак родил Иакова. Поэтому прав тот, кто ходит в красных галифе и читает враскачку справа налево. Все в порядке, да здравствует прицельный взгляд любопытного, женщины с длинными выпуклыми икрами и победа пролетарской революции.

Иуда улыбнулся, поправил очки на круглом скуластом лице и придвинул к себе стопку исписанных страничек. Иуда Гросман. Фронтовой репортер Гросман. Нет, для подписи это не годится, тут даже Сидоров более подходит. Что-нибудь другое нужно, псевдоним. Может, просто перевести с еврейского? Грос-

ман — это Большов. Нет, плохо: Большов, Меньшов. Довольно-таки примитивно: большой — значит хороший, сильный. Может, Львов, Орлов? Кречетов? Или просто Волк? Нет, зверинец какой-то получается, зоопарк. Булатов? Или все-таки Сапсан, Шатун? Нет здесь настоящего пороха, пламени: не запоминается. Серпов? Нет, не годится: то звери, теперь сельхозинвентарь. Черт! Красными галифе тут и не пахнет... Страшнов, Страшный? Это уже лучше. Лютый?

Иуда Гросман сгорбился над страничками, подписался с нажимом, резко: Лютов.

Редакционный вагон был как бы портом приписки. Из редвагона выходили лишь затем, чтоб, пошныряв по необходимости, в него вернуться. Этого было недостаточно, это надоедало.

Такова была и общая тактика: красные действовали преимущественно вдоль железных дорог, имея тылом бронепоезда, неприступные, как крепости. А немного отступя от чугунки, в чистом поле, даже если оно и заросло кое-где лесом, царил Нестор Махно, либо кроволубивый атаман Григорьев, либо мало кому известные Катька с приятелем Егоркой в канареечных шелковых портках.

Первая конная Буденная армия, выгрузившись из эшелонов, убегала в поле. Нужность Лютова конной армии, войне и революции состояла в сидении за вагонным столом, а его тянуло от умирающего скучного Кузнецова к завидно живым казакам и виду живой крови. Раненые, которых волокли в поезд, лишь разжигали его непомерное любопытство: ведь этих полумертвых людей где-то тут рядом искалечило, кто-то в них стрелял, кто-то их рубил и резал. Кто и как? Вот на это надо было поглядеть: замах на скаку, прицеливание с охотничьим прищуром глаза. Да и самому хотелось скакать в казачьей лавине, со свистом и матом, с выдернутой шашечкой-гурдой. Смерть клонет соседа, это ясно, для Лютова пуля еще не отлита, ему еще жить и жить. Но вот же волокут раненых и мертвых зарывают в степную землю. Лукавая История делается на глазах, и только ленивый не хочет взглянуть, что там у нее внутри: что там за колесики крутятся, что за стерженьки и пружинки, смазанные лучшей кровью. А когда, в какие это глупые времена механизм Истории смазывали розовым маслом? Каин убил Авеля — и пошло-поехало...

Перевод в боевую часть, туда, где стреляли и рубили, был для Лютова делом случайной удачи, как всё на войне. На войне одного отправляют к ведьме в ступу вопреки его желанию и намерениям, а другого, просившегося как раз к ведьме, перебрасывают к черту на рога. Почему? На войне спрашивать не принято, положено выполнять. Приказом о переводе из постылого редвагона в шестую дивизию, к легендарному Савицкому, Лютов остался вполне доволен. Всё там должно быть, в шестой: и жизнь, и смерть, и жареное мясо с луком.

Штаб Савицкого стоял в недалеком сельце, на околице. Хата выходила палисадником к извилистой узкой речушке с зеленою непрозрачной водой. Вода текла медленно, никуда не спеша, и гладкая маслянистая поверхность была покрыта красивыми турецкими разводами. За спиной штабной хаты тянулись крытые соломой домишки, кое-где выжженные. В тишине и неизбежности летней природы эти траурные развалины не выли и не кричали о войне, как не вопят о мучительной смерти надгробные мраморные плиты, вмурованные в пол церкви, украшенной разноцветными картинами и бумажными цветами.

Добираться до штаба пришлось сначала на попутной подводе, а потом пешком. Пекло. Ноги в душно подогнанных сапогах гудели, пот сползал со лба к глазам, под очки. Иуде казалось, что мир вокруг него пах вишней, а не кровью, и ему вдруг лениво и нежно захотелось, чтоб так было всегда и не было бы никакой крови, чтоб сохранялся безветренный покой и чтоб выздоровел Кузнецов. Потом он вдруг вспомнил, что раненых везли отсюда, из этих самых мест, вспомнил черные заскорузлые пятна на одежде и как выли, выкатывая глаза, искалеченные. И запах вишни ослаб, но не исчез... «Странно,— думал Иуда, с усилием

выкидывая вперед, в пыль дороги, ноги в раздолбанных сапогах, — странно как все это складывается и получается: красная вишня — и красная кровь, высокий покой полдня — и высокий покой смерти. И все это от одного корня, от одного зерна. Можно ли разделять, расщеплять ствол, и надо ли?»

У штабной хаты, у коновязи переступали с ноги на ногу подседланные кони и стояла тачанка. Пулемет помещался в задке телеги, на небрежно разостланном бугорчатом брезенте. Иуда остановился и долго празднично глядел на лошадей и боевую телегу, пахнущую крестьянским двором. На облучке сидела черная с подпалинами кошка и, продуманно работая лапкой, чистила плешивую морду с треугольным кожаным носом. Была тут, у крыльца, и небольшая собака, грязношерстная, с неподкупным и хмурым взглядом из-под седых бровей. Иуда и дальше бы так умиротворенно стоял, сбросив на траву заплечный сундучок, если б не боец, с грохотом сбежавший с деревянного крыльца и сбегу привалившийся литой атлетической грудью к выщербленному бревну коновязи. Иуда озабоченно перевел взгляд с пулеметной телеги на решительного бойца, своим буйным появлением внесшего поправку в милую картину жизни. Такая, казалось бы, малость — чиркнул человек со скрипучего крыльца, пробежал несколько шагов — и вот уже все в жизни сдвинулось и изменилось: встревожились кони и поставили уши торчком на дивных своих головах, стайка птиц снялась по тревоге с неслучайного здесь ветвистого дерева и исчезла в теплом небе. Да и сам бежавший, он-то что? Что его ждет — о чем он, может, и думать не думал четверть часа назад? Смерть его ждет или продолжение жизни? Любовь в овражке, под насыпью? Или котелок мясной похлебки с лавровым южным листом?.. А атлетический боец, привалившись к коновязи, пробормотал внятно, не обращая ни к кому в отдельности, а ко всему пространству, полному птиц и вшей, перелесков и белополяков, чутких рассветов и ночных звезд над нечесаной головой — к тому неоглядному пространству, которое иначе называется Бог.

— На Чугунов, — бормотал боец, — на Добрыводку. Ну, братцы, всё: хана!

Испугавшись чего-то, лошадь шарахнулась меж оглоблей тачанки. Боец обернулся и угрюмо поглядел. Потом подошел без спешки, влез в телегу и озабоченно разобрал вожжи. Телега тронулась. Из-под скукоженного брезента вылез на свет паренек в рваной черкеске и, протирая сонные синие глаза, сел к пулемету.

Иуда проводил тачанку взглядом, подхватил с земли свой сундучок иavorно поднялся по ступенькам крыльца штабной хаты.

С воли в хате было прохладно, притемненно. Свет входил в помещение сквозь чуть приоткрытые створки ставен, как будто кто-то добрый, могущественный вдвинул в комнату сквозь окна, до самой противоположной стены, литые широкие доски чистого золота. У некрашеного стола, опершись о него мускулистым задом, стоял усатый кавалер в алых рейтузах и небрежно сбитой набок малиновой шапчонке. Высокого, под два метра, роста кавалер взглянул на Иуду с его сундучком без видимого интереса, а потом достал из кармана роговой частый гребень для ловли насекомых и принялся усердно расчесывать свои ржаные кудри. Малиновую шапчонку при этом он ловко перемещал с затылка на лоб и от уха к уху, а не снимал ее с головы и не клал на стол по соседству с ворохом бумаги, шашкой в померкших ножнах и нагайкой с рукоятью в виде русалки из слоновой кости. Что же до улова, то кавалер аккуратно стряхивал его с гребешка на штабную карту и, производя тревожное потрескивание, давил посредством граненого ногтя большого пальца левой руки.

— Грызут... — объяснил свои оперативные действия кавалер, а потом, показывая отменные сахарные зубы на мальчишеском лице, спросил: — Тебе чего тут?

— Направлен в распоряжение вашего штаба, товарищ начдив-шесть, — доложил Иуда и протянул Савицкому пакет.

Начдив разорвал конверт и, шевеля губами, прочитал написанное.

— Лютов, значит...— сунув бумагу под нагайку, задумчиво сказал Савицкий.— Жидковат ты что-то для коня, Лютов. А? — И усмехнулся безмятежно.— Вон колеса к глазам прицепил. Читать можешь?

— Обучен,— сказал Иуда.— И лошадей знаю и люблю.

— А чего ее любить, лошадь? — наморщил чистый лоб Савицкий.— Ты вроде не из этих, не из татар, что ли, или как их там... Из-за этих делов тебя казаки укоротят на двенадцать сантиметров.— И захохотал, высоко, по-петушьи закинув голову с гребнем малиновой шапчочки.— Писать можешь?

— Могу,— сказал Иуда и, подумав, добавил: — Я кандидат прав петербургского университета.

— Во-он как! — искренне удивился Савицкий.— Присылают черт-те знает кого. Кандидат, говоришь, прав? Прав — каких?

— Да разных,— сказал Иуда, с удовольствием глядя на мальчишку перед собой.— Всех, по существу.

— А еще не старый,— с сомнением качнул головою Савицкий.— Глаза-то где сломал?

— Двадцать шесть мне в июле,— сказал Иуда, снял очки и протер круглые стекла носовым платком.

— Ну, я и говорю,— сказал начдив и добавил с властным вызовом: — А мне двадцать два уже стукнуло... К нам-то чего? Сидел бы дома.

— Да интересно,— коротко объяснил Иуда и умолк.

— Тогда ясно,— сказал Савицкий и вдруг зевнул и потянулся всем своим большим ладным телом танцовщика.— Иди на село, там Шурыгин стоит Антон. Бери квартируера и иди, устраивайся. Всё.

Квартирьер, шустрый мужичонка за средние года, малорослый и припадающий на левую ногу, вел Иуду по улицам села. Улицы были пустынные, ни жители не встречались, ни скотина.

— Пусто, хоть шаром покати,— сказал Иуда. — Что так, друг? Хоть бы курица какая подвернулась.

— Курей наши всех дочиста подъели,— сообщил квартирьер.— Курей, гусей. А люди тоже боятся, сидят по домам.

Во дворах, за открытыми настежь воротами, бойцы празднично сидели или спали в тенишке. Кое-где курились дымки костерков под чумазыми походными котлами.

— Сейчас тут просторно,— сказал квартирьер.— Чесноков полк свой увел на Чугунов-Добрыводку, вот и освободилось место.

— Так он же вернется! — возразил Иуда.— Люди его придут, а место занято.

— Как занято? — тупо моргая, спросил квартирьер.

— Да так,— сказал Иуда.— Я его, к примеру, занял.

— Ну и что! — сказал квартирьер.— Все не вернутся.— Он покачал головой с высокими залысинами.— Хорошо, если каждый пятый придет. Места всем хватит.

— Ну да,— сказал Иуда.— И в селе, и в земле.

— Это мы не знаем,— сказал квартирьер и сплюнул клок желтой слюны себе под ноги.— Ты тут-ка стой, я сейчас! — Он живенько похромал в ворота, во двор и вернулся немедленно, горбясь.

— Не, не хотят,— сказал квартирьер.— Тут, они говорят, все свои, станичники, а чужих не надо. И мне еще по загровку дали...

Не захотели чужака и в соседнем дворе; там у тлеющего костра вокруг треноги с подвешенным ведром домовито сидели умывшиеся перед едой казаки. Квартирьер, припав на хроющую ногу, укоризненно глядел на ведро, из-под крышки которого бил мясной пар. Подождав недолго, Иуда вошел во двор и со стуком скинул сундучок на землю.

Как бы дождавшись знака, от огня молча поднялся босой, с чистыми разлапистыми ступнями казак и, осторожно ступая, подошел к Иуде. Квартирьер перевел укоризненный взгляд с ведра на босого казака. А босой, без усилия развернув Иуду за плечи, толкнул его распяленной пятерней меж лопаток. Потом, аккуратно подняв сундучок с земли, выкинул на улицу и его.

Крышка сундучка откинулась от удара, стопка белья, исписанные странички, ноябрьская книжка «Летописи» четырехлетней давности и коричневые картонки фотографий рассыпались по земле. Иуда, морща лоб, принялся собирать рассыпанное. Квартирьер вышел из ворот и, насупись, глядел за его работой.

— Пошли, что ль, — сказал квартирьер, когда Иуда закрыл крышку сундучка и выпрямился над ним. — Мишка Слеггов, может, пустит, во-он там, на углу... Ну, давай, топай!

В угловом дворе, просторном и захламленном, казаки пили самогон, заеда я его домашним мраморным салом. Высокий брусок сала лежал на тряпице, на порожном зарядном ящике. Пьющие были задумчивы, один из них вдруг запел неожиданно чистым и нежным голосом:

Родной закат над речкою прохладной
И мамка молодая на базу.

— Мишка! — просительно позвал квартирьер. — А, Миш!

Сейчас этот красивый Мишка увидит Иуду в его городских чужих очках, и снова брякнется выброшенный сундучок оземь, а его владельца вытолкают взащей со двора. Они примут своего, с молодой мамкой, с засохшей под медвежьими когтями кровью. Одесская мамка Фейга Ароновна с третьего этажа им не годится. Зато если вот сейчас, не затягивая паузы, изнасиловать для смеха хозяйку или зарезать хозяина, он, четырехглазый, подойдет с грехом пополам.

Не задерживаясь на улице, Иуда вслед за квартирьером миновал приоткрытые ворота и, не останавливаясь, прошел в хату. В горнице земляной пол был посыпан серебристо-зеленой травой, за пустым столом, подперев подбородок коричневым кулачком, сидела старая еврейка в серой косынке. Косынка плотно, без морщин облегла голову женщины от лба до шеи ниже затылка, оставляя свободными маленькие, чуть оттопыренные уши с мясистыми мочками.

— Я тут у вас поживу пока, — поставив свой сундук на пол, сказал Иуда. — Накрывай, хозяйка, на стол, есть надо. Хлеб ставь, молоко.

Старуха глядела на Иуду настороженно и оценивающе, как птица на кошку.

— Молоко! — сказала старуха и развела руками. — Молоко им надо, этим газлоним! Где я вам возьму молоко, готеню майнер штаркер? Вы выпили мою кровь, вы съели мое мясо. Вот, смотрите, пан красный командир! — И старуха принялась бить себя кулачками по гладкой голове.

— Что она мне тут показывает за номера?.. — пробормотал Иуда, не удерживая, однако, хозяйку от самоистязания. — Где хозяин? — Шагнув к дощатой двери, ведущей в чулан, он отпахнул ее ударом ноги и заглянул внутрь.

Старуха перестала биться и зорко глядела. В углу чулана, привязанный веревкой к крюку, копошился в гряде тряпья крупный серый гусь. Увидев Иуду в солнечном проеме двери, гусь угрожающе вытянул шею и зашипел.

Иуда шагнул вперед и сходу, ногой прижал птицу к стене. Что-то сухо хрустнуло, гусь, завалившись набок, щелкнул клювом и долбанул Иуду по голенищу сапога. А Иуда, ловко действуя, достал из кармана перочинный ножик, раскрыл его и, поймав в кулак красивую шипящую голову с зеленоватыми глазами, повернул ее, чтобы не забрызгаться, белым горлом к стене и полоснул лезвием. Толстой, в палец, струей ударила в стену кровь, птица забилась под ногой и сникла.

Держа гуся под мышкой, прижимая локтем его еще подрагивающие крылья, Иуда вышел из чулана. Хозяйка, немо приоткрыв рот, наблюдала за ним. Ярость бессилия лежала в ее округлившись глазах, как рыска на воде.

— Спокойно, иденэ,— сказал Иуда.— Так надо, чтоб ты была здорова...

Хозяйка не проронила ни слова, только покарябала ногтями по гладкой столешнице.

Иуда спустился во двор, не спеша подошел к казакам, молча глядевшим.

— Гусь, ребята,— сказал Иуда, опуская птицу на землю. — Ужинать надо... Лютов я, Кирилл, будем знакомы.

Пожилой казак с бритой, в шрамах и царапинах головой молча подвинулся, уступая Иуде место.

— Кирил, Кирил,— сказал казак.— Хучь в равнины отдавай такого Кирила.

Казак засмеялся одобрительно, вежливо.

Дни бежали за днями, недели складывались в месяцы, убитых опускали в ямы на вечное хранение, новорожденные визжали и придиричиво щурились на свет, а военные силы перемещались почему-то вокруг Житомира, как будто не мировая революция была конечной целью войны, а еврейский город Житомир.

Иуда Гросман любил бродить по Житомиру, по его глубоким улицам, наполненным зеленым воздухом, душистым на вкус. Прохожие нечасто встречались, жители предпочитали отсиживаться по домам, с терпеливостью насекомых ожидая окончания военных действий и прихода торговых мирных дней. Настороженно люден оставался лишь базар и улицы, выходящие к нему. Перед сумерками, перед первой молодой звездой можно было повстречать по всему городу Житомиру молчаливые группки евреев, привычно бредущих в своих черных длиннопольных кафтанах в синагоги на вечернюю молитву. Там, в синагогах, евреи развезали по-военному сведенные на открытом пространстве уста и начинали айкать и ойкать, и цокать и причмокивать, и потерянно разводить руками, и горестно качать головами.

Иуда заглядывал в душные гудящие синагоги, шатался по базару, засунув руки в глубокие карманы кавалерийских штанов. От легкой свободы, от нечего делать он принимался сравнивать Житомир с Одессой: дома и улицы, редких женщин, небо в лиственной зеленой опушке. Он принимал Одессу как неизбежную родину, она была дорога ему как имущество, но он ее не любил. Более того, иногда он испытывал тихую заледенелую ненависть к родному городу — с его вульгарным самохвальством, с его потными болтливими женщинами, с его километровой дурацкой лестницей, ведущей к замызганному, грязному порту. И, чем ненависть была упрямей, тем веселей, и легче, и секретней было дурить самого себя: придумывать иную Одессу, солнечно-золотую, населенную героическими остроумными бандитами, плотоядными девками с раскоряченными коленями, умными неряшливыми стариками и немислимыми еврейскими старухами, торгующими на Привозе снулой рыбой и битой птицей и умеющими свистеть в два пальца так, что у любителей этой музыки сердце поворачивается поперек груди и темные слезы зависти выступают на глазах... Всякий порядочный человек должен любить место своего рождения лишь за то, что его угораздило появиться на свет именно там, а не в соседнем вонючем городишке или местечке. Примерно так же должно любить свою мать — в отплату за тяжкие родовые усилия и толику грудного молока. И кто поступает иначе или хотя бы сомневается в основополагающей справедливости такого положения, тот недостойный человек, вор. А то, что нет никакой любви, не числится она в списке сущего — ни к собранию домов, ни к матери, ни к красивой девке с тяжелой грудью и горячей рубиновой сердцевиной,— об этом и думать запрещено. Нет любви, а есть сопротивление любви — противолюбовь. И есть тоска по любви, как по звездам: по отцу, по прохожей женщине.

Житомирские женщины лучше одесских. Белые нежные лица с вправленными в них вишневыми глазами выглядывают из нищенского военного тряпья. Роскошная сила молодого тела, изгиб бедра и длинные упругие икры в драных

чулках — всё это бесценное богатство скрыто от посторонних глаз, а как жаль... Можно понять нервно-слащавого мусульманина, почти теряющего сознание при виде выглядывающей из-под платья голой лодыжки: ведь всё остальное миг допридумывается, дорисовывается, делается ощутимым до головокруженья.

Человек на войне думает о женщине постоянно — как о хлебе и мясе. И не при чем тут ни инстинкт продолжения рода, ни страх перед одиночеством смерти. Просто военный откровенный человек прежде всего хочет есть, потом — спать с женщиной. В таком порядке, не наоборот. На смерть он никак не может повлиять, в то время как добывание пищи и женщины зависит от его усердия. И только если добыть женщину никак не удастся, он вспоминает о жене, оставленной в далеком тылу и существующей как бы в ином измерении — недосягаемая и неощупываемая.

Иуда женился на Любе, одесской Любе, всего как полгода. Была хупэ, был стол, была свадьба. Иуда искренне надеялся жить с Любой, пока не надоест, может, и всю жизнь. Житомирские женщины с прекрасными голодными глазами не имели ко всему этому никакого отношения: они были рядом, под боком, под рукой, и Иуда их обнимал, с благодарным любопытством разглядывая их лица в звездном свете на ночной поляне, заляпанной коровьими лепешками. Он всех их хотел, всех этих услужливых и уступчивых сестер по желанию. Вливаясь в них на коровьей поляне, он ощущал себя острием Млечного пути, и их благодарные стоны были наградой за его сладкий труд. И, каждый раз сызнова переживая потрясение победы, он отрывисто смеялся, как лаял, и пузырьки смеха сквозь темень ночи подымались во Вселенную. Какая связь тут была с молодой Любой, в далекой Одессе перенимающей у своей усатой мамы искусство варить сливовое повидло?

На житомирском базаре можно было многое купить поштучно: латунный таз и пиджак с оторванным лацканом, фунтик соли и дыбик чая, лимон и лимонку, хлебный каравай и никелированную хирургическую пилу. Внимательно выслушивая интересные предложения, Иуда проталкивался вдоль кривых торговых рядов; продавцы, разложив товар на земле, на пыльных мешках или старых газетах, прожвали конармейца терпеливым взглядом.

На окраине базара, на отшибе торчала из пыльной земли будка не будка, а как бы дощатый домик — теремок для бедных. Косо припавший на один угол, сколоченный из вполне подручного материала — реек, фанеры и дранки, — он чудом держался. Над единственным окошком был прибит наличник изумительной работы, весь резной, недавно выкрашенный яркими красками: желтой, синей. Над крышей на высоком шесте вертелся жестяной петух-флюгер с хвостом из павлиньих перьев. У входа в домик празднично стоял, уперев руки в боки, маленький старый еврей в черной ермолке на плешивой голове. Увидев Иуду, он взглянул на него пусто, а потом его голубоватые выцветшие глазки налились интересом, и он, припадая на левую, чуть короче правой ногу, легко похромал навстречу конармейцу. Поравнявшись с ним, старик властно выкинул руку вперед и прикоснулся тонким пальцем к груди Иуды. Иуда остановился как вкопанный. Таким уверенным движением можно было остановить и бронепоезд.

— У меня до вас дело, рэб красный командир, — вкрадчиво сказал старик. — Войдите в магазин.

У самого входа в теремок старик остановился.

— Вы ведь еврей, ну, конечно, — сказал старик и покачал головой. — Чтоб она пропала, эта война... Милости прошу. Меня зовут Гедали, к вашему сведению.

— Кирилл, — сказал Иуда Гросман. — Лютов.

— Гедали, — повторил старик, — так называли меня родители, да будет благословенна память о них. Но здесь, на базаре, все зовут меня Шепселе. Шепселе так Шепселе. Вопрос: почему? Потому что так интереснее. А что мне от этого будет? Ответ: ничего. У евреев так положено: тебя зовут, предположим, Рувим,

а ты откликаешься, допустим, на Алешу... Это же интересно! И я вам заявляю, и не вздумайте сказать мне «нет»: вас тоже не всегда зовут Кирилл Лютый, будьте уверены.

— Допустим...— сказал Иуда и наморщил лоб под буденновским шлемом. Бегущая речь Гедали приятно обтекала его, было в ней что-то потаенно-родное, запретно-стыдное.— Иногда меня зовут Иудой, чтоб вам было ясно.

— «Ясно» помножим на «неясно», вычтем «почему» и получим ответ,— удовлетворенно пробормотал Гедали.— Ну войдите уже, что вы тут стоите, как башня Вавилонская!

Иуда послушно переступил порог теремка. Он ожидал почему-то увидеть коричную корицу, турецкие вяленые фиги и мешки с персидским рисом, но ничего этого не оказалось в полутьме комнатухи. Прямо против входа громоздились начищенные до блеска рыцарские доспехи, составленные из частей, как членистоногое существо, против них помещалось чучело медведя на дыбках, с медным подносом в лапах. Под окном стоял рогатый корабельный штурвал, над оконным проемом ветвились раскидистые олени рога. С потолка свешивалась на кандалных цепях высушенная туша акулы с неприятными стеклянными глазками.

— Это всё — ваше? — огорошено спросил Иуда.— Так, значит, вы богач и волшебник?

— Ну да,— со вздохом согласился Гедали.— Если Богу Авраама, Ицхака и Иакова требуются богачи и волшебники, то почему бы ему не указать на меня своей тросточкой? Но взгляните сюда...— И Гедали указал, куда глядеть.

На стене, на медных гвоздях, развешены были котелки, подвенечные шляпки с вуалью, канотье, панамы, береты, фуражки и кепки, шапокляки и цилиндры. Еврейских ермолок и штреймл тут не было и в помине.

— Ну, как? — спросил Гедали, примеривая цилиндр.— Нравится? А это? — Он снял с гвоздя и протянул Иуде бандитскую кепку.— Вы можете примерить... А это дайте мне, я подержу.— Он стянул с головы Иуды кавалерийский буденновский шлем с острой тульей и со звездой и с любопытством заглянул внутрь.

— Кто-нибудь у вас это покупает? — с сомнением спросил Иуда.

— Никто,— сказал Гедали.— Но купец — красный, белый и зеленый — должен уметь хорошо ждать. Уйдут одни, извиняюсь, разбойники, и придут другие. И кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь купит... Продайте мне вашу шапочку, рэб командир, или лучше обменяемся! Вы видите, у меня есть всё,— но вашей шапочки у меня еще нет. Что будет с вами, знает один Господь Бог на небе, но ваша шапочка сохранится у меня в почете и уважении. Ну? Сделаем дело?

— Дайте акулу,— сказал Иуда, глядя на Гедали, который аккуратно, как бабочку на иглу, нацеплял буденовку на гвоздь.

— Зачем еврею акула? — развел руками Гедали.— Еврею на коне и с шашкой нужен добрый шматок сала или хорошая девушка. Девушка нужна еврею?

— Нужна,— сказал Иуда.

— Еврей получит девушку,— сказал Гедали и наклонил голову к плечу.— Хорошую девушку, здоровую и без болезней... А что, талес нужен еврею на коне или, не дай Бог, сидер в переплете?

— Приличная девушка? — спросил Иуда.

— Из приличной фамилии,— уклончиво ответил Гедали.

— Она из наших? — спросил Иуда.

— Нет,— твердо сказал Гедали.— Она гойка. Но — хорошая гойка. Ее отец торговал отрубями, он тоже был хороший гой и умер без мучений, чтоб мы все были здоровы.

— Чем же он был такой хороший?— спросил Иуда.

— А! — светло улыбнулся Гедали.— Оставьте! Хорошему гою — хорошая смерть, а плохому гою — плохая смерть, но, между нами говоря, чтоб они оба сошли как можно скорее... Ну идемте же, Юда, идемте!

— Когда мы выйдем из вашего дворца, пан волшебник, называйте меня Кириллом,— сказал Иуда.— Гут?

— А вы меня — Шепселе,— откликнулся Гедали.— Так будет лучше. Для всех.

Они вышли, и Гедали навесил амбарный замок на хлипкую дверь.

Базар принял их в тысячерукие тиски. Проходя вдоль жидкого рыбного ряда, Иуда услышал за спиной вполне отчетливо:

— Шепселе заарестовали. Вон ведут.

Расслышал и Гедали своим серебряным ухом.

— Дурак,— не оборачиваясь, сказал Гедали.— Не успел Моисей залезть на гору, как каждый уже желает другому, чего ни на грош не хочет для себя.— И добавил печально и брюзгливо: — Это люди!..

— Мир состоит из разных людей, рэб Шепселе! — вполголоса не согласился Иуда.— Шапку мою вы хотите, а то, что под шапкой, не видите. Зачем мы затеяли всё это? — Он коротко повел рукой, указывая на небо и на базар под ним.

— Вопрос,— строго сказал Гедали,— зачем?

— Мы устроим роскошный интернационал, — сказал Иуда.— Никто не будет желать другому того, что ему самому не подходит. Каждый человек получит коржик с маком. Моисей спустится с горы и придет в восторг. Это будет интернационал добрых людей!

— Ин-тер-националь,— ворчливо повторил Гедали.— Нужно проделать дырки в языке, чтобы сказать это слово... И откуда они возьмутся, эти добрые люди? Вы их видите? Я их не вижу. Дайте я надену ваши очки, рэб Кирилл, дайте я посмотрю на свет вашими глазами! Интернациональ он хочет завести тут, в Житомире, как вам это нравится!..

Гедали сердито замолчал и не проронил ни слова, пока они не подошли к чистой хатке под надвинутой на синие окошки соломенной толстой крышей, в пяти минутах ходьбы от базара.

— Это тут, — останавливаясь, сказал Гедали.— Вы придете сюда вечером, после первой звезды, вы постучите, но не очень громко, три раза, вот так,— и он трижды ударил ножкой в землю.— «Марусичка,— скажете вы,— известный вам Шепселе прислал меня к вам на постой и на удовольствие». Так вы скажете, если в вас еще играет капля любопытства. И этой Марусичке вы можете рассказывать про интернациональ, потому что ее уши сделаны из воска египетского, ее уши — пещеры, в которых живут кошки с собаками.

— С собаками? — переспросил Иуда, пристально, по-охотничьи оглядывая хату.

— Да,— сказал Гедали.— А теперь идите. Я бы дал вам коржик с маком и взял бы вас в синагогу. Но, скажите мне, о чем вам просить нашего Бога, рэб красный командир?

Действительно, о чем? — думал и рассуждал Иуда Гросман, нетерпеливо поглядывая на небо в ожидании первой звезды. Вот ведь как устроена жизнь: все время о чем-то просишь, и не надоедает просить, и ты даже не замечаешь, что жизнь твоя — это одна бесконечная просьба. Просишь папу, чтоб не шлепал, просишь маму, чтоб дала конфетку или денежку. Просишь товарища, чтоб обменял с тобой марку страны Того на марку страны Гваделупа. Просишь учителя, чтоб не ставил тебе двойку по алгебре и ничего не рассказывал родителям. Просишь милую девушку, чтоб она поскорей сняла с себя кофточку и панталонны. Просишь начальника, чтоб он повысил тебя в должности и прибавил жалованье. Просишь командира, чтоб перевел тебя в другую часть. Просишь уличного хулигана, чтоб не бил, бандита — чтоб не резал. Просишь милиционера, чтоб не тащил в участок. Просишь солнце, чтоб так не палило или, наоборот, чтоб грело по сильнее. Но просят о чем-то своем и папа с мамой, и приятель-филателист, и учитель по алгебре, и девушка в панталонах, и начальник с портфелем, и

командир с шашкой на боку, и хулиган с фиксой, и бандит с финкой, и милиционер со свистком. Все просят, и ты просишь. А если нет под рукой ни приятеля, ни начальника, ни хулигана — просишь Бога: «Дай денег, спаси от смерти, сделай так, чтоб у милой девушки не оказалось триппера».

Иуда тревожил Бога самыми разнообразными просьбами и не видел в этом ничего предосудительного. Лютов Кирилл — тот не стал бы просить: брал бы сам, и без спросу. Эх, Лютов, безукоризненный человек!.. А Иуде Гросману почему бы не попросить? И кого же тогда просить, если не Бога, когда люди по несовершенству природы не хотят или не могут помочь и пойти навстречу? В этих своих вполне откровенных обращениях к Богу о помощи Иуда видел нечто интимное, никого, кроме них двоих, не касающееся. Иуда всецело доверял Богу, доверял, как самому себе, и ожидал от Бога доброго расположения за это безграничное доверие.

А к синагоге Бог не имеет никакого отношения. Да, синагога — закрытый еврейский клуб, туда надо ходить, чтобы слушать интересные разговоры о ценах на овес и сумрачных ежедневных несчастьях, приправленных, словно зеленым оливковым маслом, еще более сумрачными библейскими историями ветхозаветной давности, а уж наверняка не для того, чтобы молить бараньим хором родного как-никак Бога, да еще в компании с новознакомым Шепселе. Это уж нет, спасибо... Лучше в поле выйти, в райское русское поле, по которому ходят женщины и кони, и просить там Бога и молить, о чем пожелает душа. Во всяком случае, в синагоге ничуть не ближе к Богу, чем в поле.

Отношения Иуды с Богом были легки и отчасти даже фамильярны. Синагога — дело другое. Стены и потолок строения только отгораживали от Бога, дурацкие разговоры отвлекали и мешали. Талес, наброшенный на голову и на вытянутые вперед рога рук, не спасал. Дуденье в рог раздражало и коробило слух. К чему дудеть? Почему тогда просто не бляеть? А зачем наворачивать на руку и на лоб тфилен? Эти коробочки на ремешках помогают евреям лучше говорить, а Богу — лучше слышать? И вообще Богу нужны какие-то коробочки, пейсы и лапсердаки? Кто это всё выдумал и зачем? Но никто, никто, даже князь Давид Реувейни в расшитой золотыми цветами кацавейке не смел спросить: кто и зачем?

В синеватых сумерках подходя к хатке за базаром, Иуда привычно сменил ход мыслей. Он больше не думал о Боге, он думал о женщине по имени Марусичка, к которой Шепселе послал его на постой и на удовольствие в обмен на буденновский шлем с красной звездой. Марусичка представлялась ему большой, белой и теплой, как хлеб. Он попробовал представить себе ее запах, не смог и улыбнулся. Остановившись перед дверью, он снял очки, протер их платком и вернул на переносицу. Он уже любил неведомую большую Марусичку, потому что желал ее. Если бы перед ним в проеме двери возникла патлатая карлица, кривая и горбатая, он бы ее разлюбил. Поднимая руку — постучать три раза, негромко, — он не исключал появления карлицы.

Дверь приоткрыла молодая в домашнем халатике и уставилась на Иуду скорее с изумлением, чем с испугом.

— Чего надо? — спросила женщина, стараясь придать голосу оттенок независимости.

— Марусичка? — по-заговорщицки глядя, сказал Иуда. — Привет тебе от Шепселе. Дай же войти — я на постой. — И, взглянув попристальней на женщину в халатике, добавил: — И на удовольствие.

— Какой еще Шепселе? — совершенно искренне удивилась Марусичка. — Не знаю я никаких Шепселев! — И неуверенно потянула дверь на себя.

— А у меня сахар есть, — не пуская дверь, сказал Иуда. — И куренок. Ну, отчиняй!

— А из мануфактуры? — спросила тогда Марусичка. — Есть что-нибудь из мануфактуры? Или готовое? Времена-то, сами знаете, какие тяжелые. — И вздохнула свежим дыханьем, и грудь ее, не обремененная поддержкой, качнулась под тонкой тканью халата.

— Разберемся,— проходя в хату, сказал Иуда.

За столом в прибранной комнате, украшенной бумажными цветами, сидел опрятный старик в жилетке и ел квашеную капусту из миски. Старик зачерпывал капусту ложкой, сливал сок и, не наклоня лобастой головы на сильной еще шее, подносил пищу к косо разъявленному рту.

— Дед это,— сказала Марусичка, накидывая на плечи платок.— Микола Абрамыч, сродственник.

— Вижу, что не бабка,— озабоченно пробормотал Иуда и вывалил на стол провизию из вещмешка.

— Дед, дед,— подтвердил Микола Абрамыч, без стука кладя ложку на стол.— Будем знакомые...— И глазами почему-то завертел, заелозил.

— Он тут рядом живет, через дорогу,— внесла дополнительную ясность Марусичка.

Оставалось, однако, неясным, зачем лобастый Микола Абрамыч явился есть капусту сюда, а не остался вечерять в своем доме через дорогу. Черт его сюда принес.

— Ну, я пойду,— засобиравшись, задвигал табуреткой Микола Абрамыч.— А то темно, вечер.— Как будто идти ему не напротив, а в другой город.

— Ну, иди,— не стала удерживать Марусичка.— Завтра приходи.

А Иуда, дождавшись, когда брякнет дверь, с облегчением вытащил из кармана бутылку самогона и сел на дедово место. Марусичка, скинув наплечный платок, засновала, забегала, неся из кладовки тарелки и стаканы, добавляя капусты в миску. Иуде приятно было смотреть на ее хозяйственную суету. Он знал, знал приятным неоспоримым знанием, что, захоти он — и вот сейчас, сейчас же может подойти к женщине вплотную, стянуть с нее халат, взять ее. Но можно было немного и подождать, посидеть вот так, слушая сильный и упругий шаг сердца, парадный шаг, откликающийся во всем теле.

— Вы красный будете или как? — присаживаясь к столу, вежливо спросила Марусичка.

— Какой же еще! — снисходительно пожал плечами Иуда.— Зеленый, что ли?

— Это я так, — приятно улыбнулась Марусичка.— Просто для разговора... Но вообще-то у нас и зеленые были, и белые, и даже черные. Кого только не было.

— Теперь я вот пришел с тобой лясы точить,— притворно-ворчливо сказал Иуда и зубами, со скрипом, медленно вытянул затычку из бутылки самогона.— Подставляй! — И налил в стаканчики.

Ему, впрочем, и без вина было хорошо. Ему в радость было по-хозяйски рассиживаться тут, поглядывать чуть покровительственно, чуть снисходительно и нести легкую, как семечная лузга, чепуху о всяческих жизненных обстоятельствах.

— Ты борщ варишь? — спросил Иуда.

— Ну, варю,— с опаской, как бы в ожидании подвоха подтвердила Марусичка.

— А как? — продолжал допрос Иуда.— С помидорами?

— С помидорами, конечно! — облегченно хохотнула Марусичка.— Вот интересный...

Нащупать общий язык — это главное. С рыбаками говорить как рыбак, с казаками как казак. С чекистами как чекист. С Марусичкой — как Марусичка. Борщ с помидорами? С помидорами. Шелковые чулки не достать? Не достать... И ни слова ни о Льве Толстом, ни о Вудро Вильсоне.

А все-таки с Марусичкой куда проще получается, чем с казаками.

— У тебя тут чисто,— сказал Иуда.— Молодец.— И улыбнулся — вспомнил почему-то великого царя Петра, как ввалился к бело-розовой Анне Монс: кругом в Москве грязь, темень, дерьмо по колено, а в домике у немки чистень-

ко, на окнах занавесочки в клеточку и гераньки в горшочках. Хорошо бы так по всей Москве, по всей России учредить.

— А как же, а как же! — плавно махнула рукой Марусичка. — Дом надо в чистоте содержать, и себя тоже: мыльни-то нет, моемся в корыте в неделю раз.

Иуда, щурясь под очками, не слушал. Грязь обезображенных войной местечек напознала на него, грязь, кровь и дерьмо, и тошнотворное это глюкающее месиво приливало к стенам белой хатки близ житомирского базара — и отступало. И сонмища мух нагло ломились в окна с воли, бились в стекла, и ни одна не зудела в тихой комнате.

— Пойду ставни запру, — сказала Марусичка, поднимаясь из-за стола. — А то шляются тут под окнами разные...

Русская женщина. Белая, большая. Запретный сладкий плод, на который целым поколениям Гросманов и смотреть-то было нельзя. Связаться с гойкой — что могло быть страшней! Теперь можно. Теперь революция, война, бардак все-ленский.

— Всё будет хорошо, — сказал Иуда. — В России дела чудесные: экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал.

— Ну и хорошо, и замечательно, — повела покатыми полными плечами Марусичка. — Детям молоко, что ли, выдают?

Русская женщина. Это всегда как заграница, как Африка для Ливингстона: чужой заманчивый мир, таинственная культура. И исследователь — как вор в саду: залез за яблоками. Славно быть вором в саду: я вор, я ворую счастье с деревьев чужого сада... Люба, одесская Люба с ее усатой мамой — это совсем другое. Люба — это свое, куда более свое, чем гимнастерка или сапоги. Вот так, примерно, синагога — раздражает, даже злит, а потом вдруг зальет душу детским драгоценным теплом: свое.

— Знаешь, вот смешно, — сказал Иуда. — Сегодня тринадцатое. У меня день рождения, двадцать шесть лет. А я и забыл.

— Тогда поздравляю, — сказала Марусичка и улыбнулась недоверчиво. — Так-таки и забыли?

— Нет, правда, — сказал Иуда. — С утра помнил, а потом забыл.

— А у меня недавно именины были, — сказала Марусичка. — А у вас именины тоже бывают?

— Ну да, — подумав, сказал Иуда. — Я ведь вообще-то русский. Отец у меня русский, а мать еврейка.

— Ну и что ж, — сказала Марусичка и сделала деликатную паузу. — Очень даже просто... Которые ваши — те никогда не хулиганничают, а Ванька придет какой-нибудь лупоглазый, напьется, всё рушить начнет.

Бедный папа Хаим: если б он знал, что в доме житомирской девушки Марусички его зараз перевели в русского. Бедная мама Фейга: если б знала она, что шла под хупэ с гоем.

— Да вы кушайте, — сказала Марусичка. — А то всё думаете и думаете.

— Да, — сказал Иуда, — не буду думать, ты права...

Но и говорить не хотелось, а обещание не думать не обязывало ни к чему: так, милословие. И, жуя сало с квашеной капустой из дедовой миски, Иуда думал о том, что хорошо жить здесь, в хатке, до рассвета, но не далее того и что надо записать в дневник историю облачно-лукавого Гедали и это имя прибарной девушки Марусички. Да, пожалуй, только имя, но его обязательно, а все остальное можно смело опустить, потому что это остальное мало чем отличается от других, живущих в других хатах и других городах: ну, комнатешка без бумажных цветов, ну, есть военные или довоенные дети.

— У тебя есть дети? — спросил Иуда.

— Скажите: Марусичка! — попросила женщина.

— У тебя есть дети, Марусичка? — с удовольствием повторил Иуда и отметил трезво, по-деловому: и это — не забыть записать.

— У меня братик, ему уже десять лет исполнилось в мае,— сказала Марусичка и вздохнула тяжело, так, что полновесная грудь медленно пошла вверх, а потом плавным львиным прыжком опустилась вниз. И Иуда, глядя на это головокружительное перемещение, пожалел, что и спросил о сиюминутном: есть брат, нет его — какая разница? Надо было вместо этого встать, подойти со спины, наклониться тесно, руками приподнять, а потом опустить львиную царскую тяжесть.

— Такой хлопчик, такой хлопчик! — продолжала Марусичка.— Умница, красивый. Борик его звать. Нет, истинная правда! По-немецки умеет, по-польски. Он бы выучился на доктора, если б не война... И поет, и музыку играет.

— Надо его в Москву послать,— сказал Иуда.— Учиться. Школу кончит, в институт пойдет. Республика помогает одаренным детям.

— Да как же он там один? — подавшись вперед, воскликнула Марусичка.— А накормить, а постирать!

— Ты с ним поехать можешь,— решил Иуда.— Пойдешь на какие-нибудь курсы. Счетоводов, например.

— Ой, Боже ж ты мой! — сказала Марусичка.— Правда?!

— Можно устроить,— помолчав, сказал Иуда.

— Устроить — как? — нагнув голову и заглядывая под Иудины очки, спросила Марусичка.

— Именно так должно быть! — твердо сказал Иуда.— По справедливости.

— Справедливость-то, где она? — разочарованно махнула рукой Марусичка.— Справедливость только в сказках бывает.— Она уже готова была подняться со стула, бежать на вокзал и вместе с красивым братом ехать в Москву, где полно театров, непонятных электрических экспрессов и дают бесплатное питание,— и вдруг обнаружилась справедливость, как бревно на дороге.

— Я тебе всё объясню,— нетерпеливо сказал Иуда.— Тут надо подумать, найти, на кого нажать. Я сделаю, вот увидишь... Ну иди ко мне!

Она послушно вышла из-за стола и, проходя по комнате, стянула с кровати вязаное белое покрывало. Поднялся и Иуда и расстегнул пряжку на гимнастёрке. Но тут кто-то постучал тихонько в ставень: туп-туп-туп! — и покашлял деликатно.

— Черт! — озабоченно сказала Марусичка.— Чего надо?

— Я это, — донеслось с воли,— Микола Абрамыч! Отсыпь сахарку-то, честное слово...

— Потом! — жестко сказала Марусичка.— Завтра... Ишь сахарку ему!

— С сахарком не шути,— озабоченно сказал Иуда,— а то до Москвы не доедешь. Сейчас не то что за сахар — за мешок соли к стенке ставят...— И добавил просительным шепотом: — Ну иди!

Кровать была широкая, панцирная, никелированные шарики на спинках — для красоты. Кровать плыла, как баржа: остойчиво, медленно. Иуда ощущал этот ход, это волнистое скольжение, не имеющее ничего общего ни с рекой, ни с морем. Может быть, с небом, нежным прохладным небом, по которому, как лошади по лугу, идут облака. Плыла белая баржа, копилка ровно горела у нее в ногах. Мир комнаты был покоен неправдоподобно, и семицветная страсть зачатая — эта сумасшедшая радость разнузданной души — не касалась покоя комнатного мира посреди войны и не коробила его. Иуду как бы выбросило прочь из времени, и не озадаченная кривизною фронтовой жизни Марусичка была тому причиной, а вот это безымянное большое, белое, вздымавшееся под ним и перекатаивавшееся с боку на бок и сверху вниз.

А потом чуть скрипнула дверь в чулан, и в круг света, отбрасываемый керосиновой лампой, на бесшумных лапах вошел кот с обвисшей мышью в зубах. Опустив круглую костлявую голову, кот медленно шел, и Иуда, нехотя возвращаясь в привычное сознание, с изумлением увидел, что мышь вывалена в сахар: белые крупинки пристали к исполосованной кошачьими когтями серой бар-

хатной шкурке. Иуда потянулся к гимнастерке за очками. Уловив движение на своем пути, кот, не выпуская мыши, метнулся обратно в чулан. Марусичка спала. В чулане что-то тупо брякнуло — то ли упало, то ли перевернулось. И сразу донесся оттуда прерывистый короткий стон, точно теленок взмыкнул от страха или от боли: «Мы! Ма-ма!» Иуда сбросил ноги с кровати, взял лампу и шагнул к двери чулана.

Шаткий свет коптилки выхватил в темном закутке, перед дощатыми полками, заставленными кринками, глечиками и мисками с сахаром и крупой, самодельное инвалидное кресло-коляску. В кресле, на темной подушке, сидел, приваливаясь к подлокотнику, мальчик лет десяти, уродливо и страшно скрюченный болезнью. Лицо мальчика, обезображенное чертами идиотизма, выражало испуг. «Ма-ма!» — увидев Иуду, снова невнятно позвал мальчик и задергался в своем кресле, как будто хотел встать и убежать, спрятаться — и не мог. И кот мел хвостом в углу и рычал, не выпуская добычи.

Иуда отступил, пятясь, за проем двери и наткнулся спиной на хозяйку.

— Борик,— шепотом сказала Марусичка,— сердце мое...

Иуда, шлепая босиком, прошел к столу и сел. Ему сделалось легко и приятно. Кот с сахарной мышью, калека-сын в чулане: говорит по-немецки, музыку играет. Великолепная спекулянтка Марусичка, душевная. Необыкновенные чудеса в житомирском решете. Теперь можно обуваться, прощаться, уходить.

— Лечить его надо,— строго сказал Иуда.— Мальчика. И вылечить. Вот так.— И потянулся за сапогами.

— Кто ж возьмет лечить-то? — вздохнула Марусичка.— Кому мы нужны?.. Вон Микола Абрамыч тоже обещал, старался. А что из этого вышло?

— Тут думать надо,— сказал Иуда и улыбнулся, затягивая ремень.— Может, что-нибудь и получится. Только надо подождать.— Ему хотелось на волю, в теплую ветреную темень, замешанную на звездах и кострах, и он знал уверенно, что вот сейчас он там и окажется — только переступить порог белой Марусичкиной хатки.

— Ты жди,— сказал Иуда.— Я еще приду.— И бегом спустился с крыльца.

Прошла неделя, десять дней, дивизию перебросили в район Козина, начдива Савицкого сместили без скандала, немало воды утекло в речушках Волыни и Галиции, а Иуда всё вспоминал почему-то Марусичку и, усмехаясь, явственно видел перед собою шелудивого кота с мышью и калеку в самодельной каталке. Что далась ему эта Марусичка? Ну крепенькая кобылка, и козел этот при ней, Микола Абрамыч. Обычная военная история, без таких историй война казалась бы просто остановкой на кладбище, беганьем вокруг могилы. Имя, что ли, застряло щепкой в памяти? Тут ведь палка об одном конце — девка наверняка забыла начисто об этом приключении, эта ленивая лебедь даже не любопытствовала, чем он, красный гость с очками на носу, в жизни занимается. Узнавая, что мимолетный ночной всадник — писатель, такие добрые кобылки приходят в непритворное возбуждение: сочиняющий над бумажным листом человек столь же труднопредставим для них, как укротитель носорогов. Писатель — запоминается. А эта даже не спросила... И всё же она стала своя, и не только в той плывущей барже с никелированными шариками, но и когда наткнулся на нее спиной, пятясь из чулана: она лукаво обманула, сочинила историю про красивого брата, одаренного мальчика. Она сочинила для него, для Иуды, и выдумка эта сочилась из ее сердца, и была в этом некая родственность душ. Вот так он сам сочинил про русского папу, про убитого погромщиками деда. И про Марусичку сочинит, если даст Бог, и про смещенного Савицкого в алых рейтузах и про лошадей: Степана, Мишу, Братишку, Старуху. Лошадь — это всё. Лошадь — спаситель. Лошадь — мать, отец. В Одессе такое не могло и присниться. Что отец? Неужели всё отобрали? Надо подумать о доме. Надо описать людей, воздух. Надо описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

К Демидовке подъехали перед вечером. Поляков выбили отсюда в полдень, сналету. Местечко сильно пострадало — дымились дома, разрушения повсюду. Евреи, как черные пеньки, торчали в степи: возвращаться боязно, лучше дать победителям вволю напраздноваться победой, да и поляки могут снова нагрнуть до темноты. Впрочем, кое-кто и остался в уцелевших домах.

Санитарная тачанка Иуды Гросмана, покачиваясь на рессорах, ходко шла. Ездовой Трофим Рохля, здоровенный малый лет восемнадцати, рассказывал, не оглядываясь на Иуду, как юнкера порубали его родителей и как он потом собирал остатки имущества по всей станице.

— Собрал, всё обратно снес и пошел записался в большевики, — заключил Трофим и, переводя лошадей на рысь, шевельнул вожжами.

Главной страстью и любовью в жизни Трофима Рохли были лошади. Человека, не умеющего обращаться с лошадьми и не знающего в них толк, он презирал бездонно и по молодым годам и свойствам характера опасного своего презрения не скрывал. Неотрывно от главной, первой, шли страсти вторая и третья: девки и тряпки. Трофим разгуливал в шароварах, сшитых из архиерейской мантии, в украденном из костюмерной бродячего цирка малиновом гусарском ментике с серебряным позументом и в неизвестно как добытой зеленой тирольской шляпчонке с фазаньим пером за красной муаровой лентой, обернутой вокруг тульи. Что же до женщин, то тут Трофим разницы не делал: все были хороши.

Чуя впереди развлечения и испытывая поющий жизненный прилив, Трофим снова погнался. Вытянув добрые головы, лошади шли по стрелке. В Демидовку вкатили с шиком: Трофим гикал и свистал так, что уцелевшие жители в своих домах втягивали головы в плечи. Можно было подумать, что в задке тачанки щерится на свет Божий секретный чудо-пулемет, а не сидит там Иуда Гросман на фельдшерском сундучке.

Остановились в кирпичном доме. Дом был полон женщин: вдовствующая хозяйка — зубной врач Дора Ароновна с томиком Арцыбашева на полных коленях, трое ее подрастающих дочерей в белых чулках, родственницы, сирота-гимназистка из Ровно, соседки и приживалки. Родители Доры Ароновны — он в ермолке, она в парике — держались кучкой в сторонке, глядели с тупым покорным безразличием. Кривой еврей в лапсердаке, в галошах на босу ногу бежал без остановки по просторной комнате, повторяя на разные лады одно и то же: вот сейчас приедет из Хорупани кузнец Хаим, и бондарь Мендель приедет вместе с ним, и Пиня с Лейбом Криворучко. На стреляющего глазами из-под намащенного чуба Трофима новости о прибывающем силаче Хаиме с приятелями не производили никакого действия: порхая от сестер в белых чулках к ровенской сироте и унылым родственницам, Трофим слизывал слюну с красных губ и вел разговор о станичной коммуне, о порубанных родителях и историческом трудящемся — Иисусе Христе. А у сидевшего за дубовым семейным столом Иуды робкое вранье женского заступника в галошах вызывало жалостливую усмешку: он не знал Трофима Рохлю, этот кривой бегающий еврей, он не знал, что, явись сюда сейчас начдив об руку с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем в придачу, и те не справились бы оттереть станичника от женского общества.

Да никакой Мендель и не ехал, а загромычала под окнами подвода и появилась невестка кривого еврея — уверенная в движениях, лет тридцати, по имени Бейла. Трофим и к ней подлетел в своем гусарском ментике.

— Здравия желаем! — сказал Трофим, брызжа слюной. — Как непобедимый красный казак Трофим Рохля прошу к нашему шалашу. Мы туточки как раз гуторим про Иисуса Христа — трудящего рыбака и плотника, что пошел в тятю по линии рукодельного занятия.

Услышав имя назаретянина, евреи понурились. Родители Доры Ароновны опустили лица в ладони и затрясли головами. Бейла выпучила на Трофима глаза, а потом улыбнулась с осторожностью, но не отступила.

— Глупости вы говорите,— ровно сказала Дора Ароновна, веером пропуская страницы Арцыбашева между пальцами.— Никаким он не был рыбаком.

— Кто? — не сводя глаз с Бейлы, кратко спросил Трофим, как будто гитарная струна лопнула в тишине собрания.— Кто?! — проревел он и смаху саданул себя кулаком по выставленной раскрытой ладони.— Спаситель наш Иисус Христос, что ли, был буржуй? Да вы кто такие тут собрались, жидьё пархатое! Да вы про учителя нашего Иисуса Христа не можете рот открыть! Да я, мат-ть вашу через колену в три погибели, через свиные уши, сквозь ерихоновскую трубу...

Дора Ароновна, вцепившись в книжный томик, глядела на Иуду с мольбой.

— Не ори, Трофим! — примирительно сказал Иуда.— Чего орешь? Мы как русские люди должны понимать положение угнетенного белополяком еврейского населения.

— Да я, Лютов, чего? — беспечно принял большевистскую критику Трофим Рохля и сбил свою тирольскую шляпку на затылок.— Я ж не рубаю, я просто так говорю.

Теперь Дора Ароновна глядела на Иуду Гросмана с изумлением и отчасти презрительно: принадлежность его к русским людям оставляла у нее мучительные сомнения.

Народу тем временем прибыло. Нежданно возник, как из спустившегося с высоких небес смерча, племянник хозяйки — молодой нервный человек, подвижный и тощий, скверно выговаривающий русские слова, в потертом и коегде дырявом кафтане ешиве-бохер. Сбиваясь и кривя лицо, ешиботник прямо с порога кинулся в гущу диспута; каленые стрелы его аргументов летели по кривой и были нацелены в Трофима Рохлю.

— Свиноеды и кроликоеды,— на всякий случай повернув голову к державшимся особняком престарелым родителям Доры Ароновны, но скашивая взгляд на Трофима, нанес пробный удар ешиботник,— противны Создателю и ужасны! Они хуже козлов и баранов. А что есть русское мясо? Сказано: свиное мясо есть русское мясо, а кроль есть соблазн с чесноком и черносливом.

От такого сообщения Трофим Рохля сделался скучен, а престарелые родители, не разобравшись в тонкостях ешиботниковой тактики, загомонили на идиш и замахали руками в знак полного согласия: да, куда хуже, да, в чесночной подливке.

Иуда сидел за столом, подперев круглую голову кулаком. Крепкий, основательный стол, краеугольный камень человеческого жилья,— делали ведь когда-то такие: на десятилетия, на всю жизнь. Стол посреди комнаты, темный застекленный шкаф с праздничной посудой и какими-то памятными безделушками, картина «Сон Иакова» в старинной раме: праотец, разметавшись, беспокойно спит у подножия лестницы, ангелы размахивают крыльями, ужасная смертная тьма переливается без полутонов в горний свет вечной жизни. Иуде вдруг захотелось есть — русское мясо, кролика, рыбу-фиш и штрудель с изюмом. Чуть прищурившись, он следил за своим ездовым: от Трофима Рохли многого можно было ждать, а Иуде почему-то не хотелось производить губительных разрушений в этой живописной семье. Каких разрушений? Да очень простых: Трофим мог зарубить ешиботника, изнасиловать Бейлу или Дору Ароновну с круглыми коленями. Кого из них? Но Иуда, прикидывая так и эдак, не мог решить, кого бы из них он сам предпочел.

— А я и говядину очень даже уважаю,— переходя с богословской темы на гастрономическую, миролюбиво заметил Трофим и схватил Бейлу за руку повыше локтя.— Что это меня качает?.. Эй, хозяйка, накрывай, что ли, на стол, а то жрать хочется! И вино ставь, вино!

Ешиботник налетел, как шмель, и остановился против Трофима.

— Перун — тьфу! — с вызовом сказал ешиботник и упер руки в боки.

— Кто? — удивился Трофим.— Какой Перун?

— Вы язычник,— сказал ешиботник и сокрушенно покачал головой.— Многобожие — это гибель.

— Не, — твердо возразил Трофим. — Я большевик.

— Большевик или не большевик — это еще вопрос, — усомнился ешиботник.

— А ты чего вяжешься? — сурово поглядел Трофим Рохля. — Какой тут еще вопрос?.. Ты иди картошку копай, ведро бери и иди. А бабы вон сварят.

— Он не пойдет! — высоким голосом сказала Дора Ароновна из своего кресла. — Сегодня суббота, он не пойдет. И никто тут ничего не будет варить. Завтра 9 Абба, к вашему сведению! — Она взглянула на Иуду, проверяя, как на него подействует это сообщение.

Иуда снял очки, протер машинально, без нужды. Ну, конечно, как же это он забыл! 9 Абба — день разрушения Храма, день падения Иерусалима. Над золоченой кровлей рыжее пламя в черной дымной опухке, под короткими мечами римских легионеров защитники города и чести ложатся на раскаленные камни внутреннего двора святилища. Горит, братья, горит! Впереди позор, изгнание, местечко Демидовка.

— Это по-вашему завтра девятое или пусть будет даже десятое, — поправляя чуб, сказал Трофим. — А нам жрать надо. Давай, дед, — он оборотился к отцу Доры Ароновны, — бери свою команду и иди копай. Ты у нас будешь за командира.

— Мы не будем копать. — Ешиботник подошел к Трофиму уже вплотную и трижды повел у него перед носом хрупким указательным пальцем. — Ни-ни-ни!

— У них суббота, Трофим, — подал голос Иуда Гросман. — Им по субботам работать никак нельзя.

— Бог работать велел! — закричал Трофим и ударил ногою в пол. — Это как так получается: всем работать, а им — отдыхать? Эт-та так не пойдет! Нам, значит, работать, а им брюхи чесать? А ну, дед, вставай и бабку с собой бери! Пошел! Все пошли! — Он выхватил из-за голенища плетку и несколько раз со свистом рассек перед собою воздух.

— Пост у них завтра, пост, — сказал Иуда под неотрывным, презрительным взглядом Доры Ароновны. — Святой день. Воды — и то не пьют, нельзя им.

— Да пускай хоть зальются! — бешенствуя, проговорил Трофим. — Мне что надо — вынь да положь: харч, бабу. Вон, говорил комиссар: евреи эти — отсталое население, они против нас идут. — Он мягко, как на рессорах, подошел к столу и смаху перетянул столешницу плетью. — Ну пошли! Вставай, дед!

Старик, отец хозяйки, закрыл лицо руками, как от яркого света, и сидел неподвижно. Никто не двинулся, только еврей в галошах раскачивался, как на молитве.

— Он всех убьет, — сказал ешиботник на идиш. — Ради спасения души надо идти, и Бог нас простит. — И пошел к двери.

За ним струйкой потянулись домочадцы. Казалось, ешиботник своими словами загородку какую-то отодвинул, снял преграду — и вот они пошли: уныло, покорно. Дора Ароновна осталась.

— А вы как думаете, — с вызовом глядя на Иуду, спросила Дора Ароновна, — простит их Бог?

— Не понимаю, о чем вы, — сказал Иуда.

— Мне показалось, что вы знаете языки, — сказала Дора Ароновна. — И идиш — тоже.

— Я не лингвист, я писатель, — сказал тогда Иуда Гросман. — Вот вы читаете Арцыбашева...

— Это ни при чем, — придвигаясь к столу, сказала Дора Ароновна. — Зачем вы устроили всё это: ублюдок в шляпе, рыть картошку? Зачем, писатель?

— Вы отважная женщина, — с удовольствием, подумав, сказал Иуда. — Но вы всё равно не поймете... Жил-был когда-то еврей по имени Иосиф Флавий — слышали про такого?

— Я читала Флавия, — сказала Дора Ароновна. — В Варшаве, в университете.

— Флавий перешел к римлянам,— продолжал Иуда,— чтобы посмотреть, что будет, и описать Иудейскую войну. И он это сделал, к счастью... А незадолго до этого он мечтал спасти свой народ, желал военной славы. Для многих он и сегодня предатель, хуже козла и барана. И вот вопрос: почему он всё это сделал?

— Ну же? — спросила Дора Ароновна.

— Потому что он был — писатель,— сказал Иуда.— Писателю можно, ему всё можно, во всяком случае, куда больше, чем другим. Его глаза, знаете ли, никак не наполняются зрением, уши — слушанием. Вот и я тоже смотрю на петуха Трофима и на ваш курятник.

— А если он начнет резать, этот ваш приятель, насиловать, вы тоже будете смотреть? — настойчиво спросила Дора Ароновна.— Это же так интересно потом описать!

— Вот с этим осторожней,— улыбнулся Иуда.— У него сифилис, это факт.

За окном затопали капли по листьям яблонь. Пролился дождь. На соседском огороде евреи ползали по грядкам, выкапывая картофельные клубни из рыхлой черной земли. Трофим Рохля стоял в сторонке, у ног его находился разъявленный мешок, уже на треть наполненный картошкой, перемазанной глинистой землей. Евреи работали молча, не переговаривались между собою.

— Бейла! — позвал Трофим.— Иди сюда!

Женщина разогнулась, поправила волосы и переступила через грядку.

— Ты плясать можешь? — с интересом спросил Трофим.— Хоть по-вашему?

— Могу,— сказала Бейла, глядя в сторону.

— Во! — обрадовался Трофим Рохля.— А Лютов говорит: не можете вы. Ученый, а не знает! Ну иди в дом, ставь котел. Есть котел-то? И мясо достань у меня из мешка, там увидишь.

С чавканьем выдирая ноги из намокшей земли, Бейла поплелась к дому.

Удобно сидя за столом, Иуда вполуха слушал хозяйку. Имена писателей — русских и европейских — доносились до него, искаженные цитаты, строки из басен Крылова и афоризмы Ларошфуко. Бейлис плелась за Дрейфусом, Короленко дышал в затылок Золя... Согласно покачивая головой, Иуда думал о том, что нарушь он, пытливый художник, синайские заповеди — все вместе и каждую в отдельности — цивилизация не разрушится, а только упрочится и укрепится. Всё на свете постигается от противного: добро от зла, любовь от ненависти, жизнь от смерти. Изображение убийства предостерегает от дальнейшего кровопролития. Да, это так! Описание насилия, совершенного сифилитиком Трофимом Рохлей, приведет в ужас зубных врачей и заставит поостеречься девиц, верящих почему-то в неизменный перевес добра над злом и в случайные чудеса.

Бейла вошла, за ней обозначился на дощатом полу пунктир мокрых следов. На прямых ногах нагнувшись над мешком Рохли, она вытащила оттуда тяжелый шмат мяса, завернутый в ситцевую тряпку.

— Это русское мясо,— тупо глядя на Дору Ароновну, сказала Бейла.— Он велит варить в вашем котле. Ой, грех!

— Делай, что велит,— тусклым голосом сказала хозяйка.— Бог простит нас...

Держа свешивающийся пласт свинины на вытянутых руках, подальше от себя, Бейла пошла в кухню. Иуда глядел с интересом, переводя ошупывающий мягкий взгляд с Бейлы на Дору Ароновну.

— Дай Бог пережить этот кошмар,— сказала Дора Ароновна.— Всё это,— она повела рукой, охватывая комнату, дом, дождь за стенами дома,— вас, других. Пережить — и уехать.

— Куда? — спросил Иуда.

— Как можно дальше,— сказала Дора Ароновна.— Всё равно куда. Может, в Палестину.

— Палестина не годится даже для поклонниц Арцыбашева,— усмехнулся Иуда.— Париж, Брюссель — вот это другое дело. Европа... Впрочем, вас нигде не ждут, как я понимаю.

Стукнула дверь с воли, в комнату молча и медленно, как водоросли с водотоком, потянулись евреи — вымокшие, облепленные огородной грязью. Один только Трофим с мешком на плече был бодр, деятелен и в прекрасном настроении.

— Эй, Бейла! — крикнул Трофим в кухню. — Ты где? Тут тебе подмога, картошку чистить! А ну пошли! — И, распыленными руками подгребая вымокших, стал подталкивать их к кухонной двери. Евреи загомонили испуганно и возмущенно.

— Шабес! — сдавленным голосом воскликнул ешиботник, и евреи повторили сбивчивым хором:

— Шабес! Шабес!

— А ну! — с игривой угрозой гаркнул Трофим и ладонью огрел ешиботника по узкой, как бы из одних упрямых костей составленной спине. — Пошли, кому говорю!

Евреи, невнятно бормоча, гуськом потащились в кухню.

— Нация несознательная, — оборотясь к Иуде, сказал Трофим Рохля. — Дурья головы! Набьются в поварню, как в парную... Бейла! Слышь, Бейла!

Бейла послушно вышла из кухни на оклик. Руки ее были мокры, красны.

— Пошли, Бейла, — наступая на женщину и прижимая ее к стене, сказал Трофим. — Пошли, побалуемся по-хорошему...

— Я кричать буду, — визгливо прошептала Бейла. — Отпустите меня, пан!

— Не пан я, — тряся головой, закричал Трофим страшным голосом, — а красный казак! Запомни, лахудра! А тех панов я рубаю до самого корня в конном строю! Ты под паном полежи, а тогда уже давай понятие! Ты коня не знаешь, забей пасть коровьей лепешкой и потом уже разговаривай! Да я за мамку покойницу всех вас, живососов, выведу в расход.

Высказав накипевшее, Трофим поправил ментик на жестких плечах и успокоился. Евреи, окаменев каждый на своем месте, стояли совершенно недвижно и молча.

Римлянин, думал Иуда Гросман про Трофима, надо записать. Римский легионер. 9 Абба. Демидовка догорает, как Храм. Сейчас начнут прятать Бейлу от легионера — на чердак, в подпол. Бейла, хорошая еврейка. Круглые колени Доры Ароновны. Этот, в галошах, с лицом лжепророка, — записать. Описать пласт русского мяса, людей, надутый дождливым ветром черный парус ночи.

Трофим, высказавшись, озирался и тащил Бейлу за руку.

— Есть надо, — громко сказал Иуда, — мы с дороги. Долго там еще?

Выпустив Бейлу, Трофим шагнул в кухню.

— Горох кидай, — указал Трофим. — Соль-то положили? А то у меня есть, соль-то.

Стрельба посыпалась то ли в поле, то ли на окраине местечка.

Кто-то проскакал за окнами, крича отчаянно и звонко:

— По коням! Поляки! По коням!

Трофим живо выкатился из кухни, в руках он нес мясо, с которого густо капала юшка. Подойдя к столу, он сбросил горячий шмат на скатерть и движениями быстрыми и отчетливыми завернул его, как дитя в пеленку.

— Пошли, Лютов, — сказал он Иуде. — Ехать надо.

Они быстро вышли, не попрощавшись.

Поляки простояли в Демидовке около суток, а потом ушли, увозя жалкие трофеи.

Немцы пришли сюда двадцать один год спустя, в сорок первом, в последний день июня, в полдень. Стояла влажная жара, собирался дождь. Доре Ароновне видно было в окно ее зубоврачебного кабинета, как по улице, раздувая шлейф желтой пыли, грохоча, проехал военный патруль на мотоцикле с коляской: трое солдат в сером, в нахлобученных на лоб железных шлемах. Перед тем, что си-

дел в коляске, был установлен тупорылый короткоствольный пулемет, и Дора Ароновна с тоской в сердце вспомнила осень двадцатого: поляки и казаки, белые, красные и зеленые, и пулеметы в задках мокрых от дождя тачанок.

Немцы не были похожи на тех давнишних бандитов — они были трезвы, не ломились в дома, не плясали, не пели и не свистали, запихнув в рот грязные пальцы. Немцы — настоящие европейцы, а не какие-то татары или мордва. Кроме того, у немцев тоже иногда болят зубы, и это внушает надежду.

Вечером, когда стемнело, в дверь каменного дома Доры Ароновны постукали — требовательно, но не грозно. Не били кулаками, не колотили ногами — стучали крепкой ладонью внятно и отчетливо: тук, тук, тук. Дора Ароновна пошла открывать.

На пороге она увидела немца лет тридцати, выше среднего роста, с приятным открытым лицом. Стучал в дверь не он — рядом стоял коренастый крепыш, тоже в военной форме, как видно, переводчик. Без разговоров оттеснив Дору Ароновну плечом, переводчик открыл немцу дорогу в дом, и тот вошел. В гостиной, остановившись и засунув большие пальцы рук за ремень, немец оглядел комнату: стол со стульями, застекленные дубовые шкафы с посудой и безделушками, шторы на окнах, белый с желтым хохлом, и кривым черным носом попугай в золоченой клетке. Потом подошел к картине на стене — Иаков, беспокойно спящий у подножия хрустальной лестницы, — всмотрелся, оценивающе щурясь, в изображение и повернулся к Доре Ароновне.

— Сны Якоба? — спросил немец и взглянул на переводчика. — Переведите!

— Сны Якова? — повторил переводчик по-русски.

— Я говорю по-немецки, — сказала Дора Ароновна. — Да, это верно: Иаков видит сон.

— Сны, сны, сны! — прохаживаясь по комнате, сказал немец. — Золотые сны! — Его, как видно, ничуть не растрогало сообщение Доры Ароновны о том, что она говорит по-немецки. С тем же успехом по-немецки мог бы объясняться попугай. Это было бы удивительно, но не более того. — Ваш Якоб видит сны в очень хорошей раме, дорогой раме.

— Да, — сказала Дора Ароновна тоном польщенной хозяйки. — Это старинная рама. Венецианской работы, кажется.

— Что вы тут стоите, Семен? — без раздражения обратился немец к переводчику. — Я справлюсь. Можете идти. — И взглядом сделавшихся вдруг колкими и жесткими голубоватых глаз словно бы взашей вытолкал Семена из комнаты. — Я обер-лейтенант Гейнц Лембке. Гейнц.

— Да, хорошо, — сказала Дора Ароновна. — Златопольская... Садитесь, пожалуйста.

Лембке, чуть помешкав, сел на стул с высокой плетеной спинкой, и Дора Ароновна вдруг отчетливо вспомнила, что именно на этом месте сидел в прошлую войну тот начитанный еврей, выдававший себя за гоя. Он сидел и щурился под своими очками, а его звероподобный приятель орал и командовал. Это было под 9 Абба.

— Вот забавно, — сказала Дора Ароновна, улыбаясь старому воспоминанию.

— Что именно? — вежливо спросил Лембке.

— Так, ничего... — сказала Дора Ароновна. — Вспомнилось что-то.

— Оставим это, — предложил Лембке. — У вас хороший дом, достаточно чистый. Мы разместим здесь нашу канцелярию. Переезжайте к родственникам к завтрашнему утру.

— Как к родственникам? — спросила Дора Ароновна. — У меня здесь кабинет!

— Очень хорошо, — сказал Лембке. — Вы здесь одна живете? Есть муж, дети?

— Я вдова, — сказала Дора Ароновна. — Дети разъехались давно. Тут домработница живет, у нее комната, ну и племянники приходят, ночуют гости.

— Вот и переезжайте, — сказал Лембке. — К дядьям, к племянникам. Куда хотите. А мы тут разместим канцелярию. Вы меня поняли?

— Да, но... — сказала Дора Ароновна. — Но почему же переезжать? Дом большой.

— Я вас не арестовываю, — терпеливо объяснил Лембке. — Это не входит в мои обязанности. Я вам разъясню необходимость. Вы ведь еврейка?

— Да, — сказала Дора Ароновна. — Еврейка.

— Ну вот видите, — сказал Лембке. — Собирайтесь и переезжайте. Можете взять с собой все необходимое из личных вещей. Но не мебель.

— А как же работа? — сказала Дора Ароновна. — Тут ведь у меня кабинет.

— Да, я знаю, вы зубной врач, — сказал Лембке. — Это замечательно. Моя тетка тоже зубной врач, она живет в Аахене, есть такой город у нас в Германии... Я как раз хотел потолковать с вами по этому поводу.

Всё, кажется, вставало на свои места. Как часто во время войны и смуты неодолимые, казалось бы, сложности, а то и сама жизнь со смертью зависят от чьих-то случайных желаний, меланхолического настроения, насморка или зубной боли.

— Вы хотите подлечить зубы? — любезно спросила Дора Ароновна. — Что вас тревожит?

— Нет-нет! — поднося руку к подбородку, поспешно возразил Лембке. — У меня великолепные зубы, я ни на что не жалуюсь. Дело в том, видите ли, что моя тетка в Аахене рассказывала мне, что здесь, на Востоке, люди белым фарфоровым зубам предпочитают византийские.

— Как византийские? — не поняла Дора Ароновна.

— Ну варварские, — любезно пояснил Лембке. — Блестящие. Из чистого золота. Вот у вас во рту я вижу несколько таких зубов.

— А, да, — несколько растерянно вымолвила Дора Ароновна. — Я как-то никогда над этим не задумывалась. Варварские...

— О да! — подхватил Лембке. — Поверьте мне, это так интересно. Моя тетя говорила, что иногда встречаются и железные зубы. Человек с железными зубами — это просто восхитительно.

— Это не железные, — с чувством мимолетной обиды к европейцу возразила Дора Ароновна. — Это сплав такой специальный, как нержавеющей сталь.

— Человек с зубами из нержавеющей стали — это еще лучше, — сказал Лембке. — Как кастрюля.

— Это тут ни при чем! — сердито сказала Дора Ароновна. — Просто если у кого-нибудь не хватает денег на золотые...

— Вот-вот-вот! — оживился Лембке. — Как раз это меня интересует. Те, у которых не хватает денег, пусть себе носят стальные или хоть каменные. Но состоятельные граждане приходят к вам и заказывают у вас золотые зубы или даже целые челюсти, не так ли?

— Ну да, — сказала Дора Ароновна. — В общем, так. Хотя я делаю и простые.

— Простые меня не интересуют! — отрезал Лембке.

— Но зачем вам? — удивилась Дора Ароновна. — У вас же, вы говорите, делают только белые, и ваша тетя...

— Оставьте в покое мою тетю, — терпеливо сказал Лембке. — Меня интересуют не сами зубы, а материал, из которого они сделаны. У вас есть этот материал?

— Золото? — зачем-то уточнила Дора Ароновна.

— Да, золото, — кивнул Лембке. — Конечно. Вы понимаете?

— У меня нет золота, — подумав, сказала Дора Ароновна. — То есть раньше было, а теперь нет.

— Ну конечно, — сказал Лембке и, вздохнув, снова оглядел комнату — шкафы, попугая, хмурого Иакова в венецианской раме. — Конечно, у вас было золо-

то, иначе из чего бы вы делали ваши зубы? Самое главное, что оно и сейчас у вас есть, лежит где-нибудь в укромном местечке. Дайте мне его!

— Как?.. — совсем уже потерянно выдавила из себя Дора Ароновна.

— Дайте! — мягко повторил Лембке. — Оно же всё равно вам теперь не понадобится. У вас здесь нет близких родственников, а если б и были, разделили бы с вами вашу участь. Спустя много лет совершенно чужой человек случайно найдет ваш клад и даже не будет знать, кого ему благодарить. А я — знаю! Дайте мне ваше золото, и вы сделаете доброе дело.

Дора Ароновна молчала, глядя мимо Гейнца Лембке на стену — на спящего Иакова и его лестницу, уводящую в небеса. На хрустальных ступенях стояли розовые ангелы с расправленными голубиными крыльями за спиной, разноцветные птицы с длинными драгоценными хвостами сидели на золотых перилах, и порхали красивые бабочки с бриллиантовыми усиками, и висели стрекозы с сапфировыми глазами — Дора Ароновна много лет назад, девочкой, часами рассматривала их и разговаривала с ними, с каждой в отдельности, и давала им имена: вот эту, с малахитовым брюшком, она звала Ривкой, а ту, кажется, Бейлой. Спящего на земле, с камнем под головой Иакова окружала звездная ночь, а в небесах сияло сердце серебряного дня, там, как видно, ночь вообще не наступала и всегда было светло. Вот ведь удивительно — на одной картинке помещались вместе и полдень, и полночь, и это было так естественно и приятно. И, хотя в жизни так не могло случиться — полдень вместе с полночью, — совсем не хотелось с сомнением прищуриваться, открывать рот с варварскими зубами и требовательно спрашивать: «Почему?» Да потому! Потому что так устроено, всё так устроил Главный Устроитель — свет и тьму, сон Иакова, бабочек и стрекоз и Гейнца Лембке в местечке Демидовка.

— Вы хотите сказать, что меня убьют? — спросила Дора Ароновна. — И всех?

— Вас депортируют, — пожал плечами Лембке. — У вас всё отберут и отправят вас в лагерь или в гетто. Я отношусь к вам по-человечески, вы же видите. Теперь, когда вы знаете, ваша семья — это я! Зачем вам имущество? Дайте мне, дайте, и вы почувствуете облегчение. Когда человек делает доброе дело, у него становится легче на душе.

— И вы тогда меня спасете? — наклонясь низко над столом и понизив голос, спросила Дора Ароновна.

— Поймите и вы меня тоже, — развел руками Лембке. — Я предупредил вас, и это, считайте, много, это очень много. Другие ведь не знают, а вы — знаете. Так спасайтесь! Принесите мне то, о чем я говорю, и спасайтесь. Может быть, я сумею подбросить вас до леса на моей машине, это будет честно.

Дора Ароновна вдруг засуетилась, засобиралась.

— Хорошо, хорошо, — сказала Дора Ароновна. — Лес, вы говорите... Можно все-таки завтра утром, часов в пять? Надо попугая кому-нибудь отдать, в хорошие руки... Я принесу, принесу. Я же сказала. Кольцо, цепочка. Мамина брошка. Значит, в пять? Нет-нет, я буду готова.

— А эти ваши собственные зубы, — уже от двери озабоченно спросил Лембке, — ну, ваши я имею в виду, те, что во рту? Вы их намертво закрепили или они съёмные? Тогда снимите и принесите завтра. Это же бессмыслица: золотые зубы в лесу!

Заперев за обер-лейтенантом, Дора Ароновна прошла в свой кабинет. Лекарства хранились в высоком белом шкафчике. Дора Ароновна открыла дверцу и, просунув руку поглубже, нащупала у самой стенки, за пузырьками, баночками и склянками, стопочку фантиков со снотворным порошком, перетянутых резиновым пояском. Фантики были белые, без надписей, без черепов с костями. Вернувшись в гостиную, Дора Ароновна села за стол и разложила перед собою фантики веером, как карты в пасьянсе.

Дора Ароновна не собиралась ни в лес, ни в гетто. Жизнь пришла к концу, куда более противно и мерзко, чем двадцать лет назад. Тогда тоже было страш-

но до слабости в коленках и до потемнения в глазах, но тот петушистый разбойник в шляпе ни в какое сравнение не шел с немецким обер-лейтенантом, учившим в школе, должно быть, Гёте наизусть. Жизнь кончилась. Проснуться на рассвете, до пяти, будет куда ужасней, чем не дожить до утра. И вот, ангелы на своих ступеньках стоят навтыяжку, сложив крылья, Иаков мечется во сне и стонет, бабочки и стрекозы замерли вдруг в своем полете, чтобы не мешать свету перелиться в синюю тьму или, наоборот, тьме подняться ввысь и навсегда исчезнуть в серебряном небесном полдне. Может быть, может быть! Это как раз то, что не проходили на медицинском факультете Варшавского университета, и с покойным недолгим мужем, всегда предупредительным и услужливым до бисерного пота на лбу, не случилось поговорить об этом, а ласковых детей по молодости годов свет и тьма занимали лишь порознь.

Напольные часы с маятником проиграли и пробили полночь, к окнам льнула холодная чужая тьма, и так хотелось скорей к свету, к его серебряному позваниванию. Она налила воды в стакан из графина, ссыпала белый порошок из оберток в ладонь, поднесла ладонь ко рту и запила водой из стакана. Потом она медленно обошла комнату, останавливаясь перед каждым достойным того предметом: копенгагенской русалочкой за стеклянной створкой шкафа, немного почему-то раздражавшим своей непробудностью Иаковом, попугаем, которому предстояло осиротеть. Судьба попугая тревожила совесть Доры Ароновны: умная птица не могла существовать без человеческого благорасположения, она даже не могла себя прокормить.

Обойдя комнату, Дора Ароновна прошла к себе в спальню, прилегла там, не раздеваясь, на кровать и послушно закрыла глаза.

Надоело.

Все надоело Иуде Гросману — грязь и дождь, постоянное недоедание, всеобщее несчастье разрухи, белополяки и красноказаки. Надоели все эти звероподобные всадники, изъясняющиеся словами угловатыми и восхитительными, и суетливые упрямые евреи надоели. И повседневная гибель жизни, и красивые лозунги, бесплотные, как привидение, и пустые, как жестянка из-под монпансье. И ночные выматывающие рейды, и дневной черный сон, и разрушительное безграничье солдатской власти: всё можно. Всё можно, всё нынче дозволено: с «нет» снят крепкозапястной рукою запрет.

Иуде Гросману, писателю, надоела война.

Быть может, тому причиной была усталость. Однообразие взаимоуничтожения почти не оставляло места для целебных озарений души, снимающих усталость. Всё обрыдло, дикая новизна ощущений подмокла по краям: не переставая, лил холодный дождь, пропитывая и размывая и материю, и дух. И Одесса под лимонным зонтиком солнца казалась отсюда Иуде желанной невестой, а не обрюзгшей каргой на лавочке.

Нет, не то чтобы глаза Иуды Гросмана наполнились зрением, уши — слушанием. Оставалось там еще место. Однако он всё чаще с тревогой, почти с паникой ловил себя на том, что прежде ему незнакомые, поразительные картины и сцены неправдоподобной головорезной жизни проплывают мимо него, не задерживая его внимания, еще недавно впитывавшего, как греческая губка, всякую интересную малость в обстоятельствах куда более пресных. Он и дневник свой забросил, почти его и не открывал и глядел на когда-то праздничную, а теперь обтрепанную и покрывшуюся неряшливыми пятнами тетрадочку с раздражением: он, в сущности, совершил предательство по отношению к дневнику, а значит, и к самому себе, к той части своей души, которая прикоснулась краешком и отгиснулась на линованных страничках. Никто не догадывался об этом предательстве; чтобы хоть немного проветрить совесть, Иуда Гросман сердечно досадовал на свой дневник и, перекладывая на него вину, сердился на тетрадку. Сам вид ее вызывал в нем неприятное смущение, и он прятал глаза.

Дни тащились за днями и составляли Время, отмечаемое смертями и рождениями, но никак уж не минутами или эпохами. Иуде неотступно хотелось сесть за письменный стол в светлой, чистой комнате, выпить чаю с лимоном, не спеша вымыть ноги в эмалированном тазике. обстоятельно описать хотя бы один день: отражение боя за перелеском, ординарцы, отрубленные пальцы Трофима Рохли, бойцы в бархатных фуражках, изнасилования, чубы, революция и сифилис... Но колеса тачанки всё крутились и крутились, дождь всё падал и сек. Пора было кончать эту войну и садиться за работу. Достаточно накопилось за четыре месяца, более чем достаточно; зарисовки желали стать рассказами. А если казачки для окончательной пролетарской победы решили добежать до Варшавы или хоть до Берлина — это их дело: пусть бегут.

К Хотину — тощему, жалкому местечку под мокрым холмом — Иуда подъехал на рассвете. Накануне вечером на подступах к деревеньке рубились, похоронная команда еще не появлялась тут, да и санитары в темноте поработали кое-как, спустя рукава. По всему голому полю чернели в мутном раннем свете тела трех-четырех десятков людей. Кричали птицы в близкой рощице. Солнце уже взошло над горизонтом, его сильные лучи проходили в прорехи туч и ударяли в рваный туман, но не рассеивали его, а причудливо растворялись в нем.

На краю поля стояла беременная баба, туго завернутая в синюю широкую шаль с бахромой. Живот беременной кругло выпирал из-под шали, женщина сложила и сплела под ним руки, как будто боялась его уронить. На подъехавшего Иуду она не оглянулась.

— Своих, что ли, ищешь? — сойдя с телеги, спросил Иуда.

— Своих, своих... — сказала баба, глядя в поле. — Мертвые-то все свои, это мы с тобой чужие.

Иуда шагнул вперед и через плечо поглядел на бабу, на ее лицо. Беременной было лет тридцать, может, с небольшим, на крупном белом лице с высокими скулами, над выпуклыми зеленовато-коричневыми, цвета вялого листа глазами темнели широкие в переносице, вытянутые и опущенные к вискам брови.

— Я ж не поляк, — пробормотал Иуда и запнулся, замолчал: сказать здесь и сейчас «я еврей» было бы неуместной нелепостью, сказать «я русак, свой, это нас положили поляки» язык не повернулся. — Какой я тебе чужой?

— Чужой и есть, — повторила беременная, как об известном. — Семья, дятки, пока под твоей крышей живут, те свои. — Она бережно провела красивой ладонью со сведенными пальцами по крутому бугру живота. — А потом — тью-у!.. Земля-то вон какая большая, а много ли своих? А ты, парень, волк степной: из степи пришел, в степь ускачешь.

Иуде приятно было узнать, что он степной волк; тепло жесткого густого меха прилило к его иззябшему телу. Беременная на краю мертвого поля казалась, однако, тронувшейся умом или блажной.

— Ну семья — это ясно, — мягко, как с больной, заговорил Иуда. — Общая крыша, общая постель, еда — всё общее. Это понятно... Но в конце-то концов можно ведь во всем мире всё сделать общим, и тогда все будут свои.

Беременная по-прежнему неотрывно и упорно глядела в поле, так что непонятно было, слышит ли она Иуду или нет.

— Нельзя, — сказала беременная.

— Но почему? — спросил Иуда.

— Жалости на всех не хватит, — обернувшись наконец к Иуде, сказала беременная. — Слишком он большой, мир, человеку человека не видать. А как пожалеешь, если не видно ничего? А этих я вижу всех, вот они. — Она, выпростав руку из-под шали, указала на мертвых. — Мне их жалко, и матери их труждались зазря, вот за это. — Она снова обвела рукой темные кучки в поле. — А тебя не жалко: ты живой покуда, чужой человек, ты своей дорогой пойдешь, мне нет до тебя никакого дела... Как тебя звать?

— Иуда.

— Иуда...— повторила беременная.— Ну иди тогда.

Он и сам не знал, зачем назвался своим именем, как оно слетело с языка здесь, на украинском поле под Хотиним, на мутном рассвете. Зачем это сумасшедшей брюхатой бабе? И кто для нее, с ее рассуждениями о своих и чужих, о близких и далеких, очкастый Иуда, прикативший на своей тачанке из ночной степи?

— А ты кто такая? — спросил Иуда.

— Иуда на сукú удавился,— не ответила баба.

— Один он, что ли, был на земле? — почти крикнул Иуда.— Я-то тут при чем! Ты думай, что говоришь!

— Не шуми! — строго сказала беременная.— Чего шумишь, если тебе все равно?

— А кто тебе говорит, что все равно? — сказал Иуда.— Обидно мне!

— Хорошо, что обидно,— сказала беременная и, не оборачивая к Иуде лица, улыбнулась.— Кто обижается, у того душа еще живая. А иуд-то этих нынче пруд пруди, бессовестных этих.

— Тут другое,— чуть слышно пробормотал Иуда.— Тут история темная.

— Да никакая не темная,— расслышала беременная.— Когда совести нету у человека, он какую хочешь подлость сделает, кого хочешь на смерть пошлет. Этих вот,— она кивнула в поле,— кто послал? Зачем?

Иуда промолчал. Ему сделалось тревожно, тускло. Кто послал? Революция их послала, а вот зачем — тут дело темное, как с Иудой Искаротом. Да и какая может быть совесть у революции? Где она — в кулаках?

— У кого зубы острее, тот и прав,— сказала беременная.— Вот беда... А «не убий» для одного Боженьки милосердного хорошо, больше ни для кого. Что ли не так? Ты, небось, и сам кровь проливал, вон какой страшный.

— Не проливал,— сказал Иуда.— Но — интересовался.

— То-то и оно,— сказала баба.— Мать-то есть у тебя? Живая?

— Ну есть,— сказал Иуда.— А что?

— Езжай до дому,— сказала беременная.— Нельзя тебе здесь больше.

Свет был по-прежнему сер и влажен, и огненный пузырь солнца, покрытый нежной золотистой шерсткой, имел расплывчатые очертания. Иуда вдруг услышал то ли приглушенный свист, то ли шелест и быстро обернулся, благодушно ожидая увидеть светлого ангела с тонким скорбным лицом, с сизыми крыльями за покатыми мальчишескими плечами; но никто не обнаружился в поле его зрения. Внимательно оглядев блекло светящееся пространство, Иуда Гросман вздохнул и сплюнул себе под ноги.

— Совесть — это что? — спросил Иуда.

— Любовь,— сказала беременная.

Скользя по сочной грязи, Иуда шагнул к женщине и, привстав на носки, осторожно коснулся губами ее щеки. Потом, горбясь, пошел к своим лошадям.

Откуда она взялась, эта Ленка, в полевом лазарете, Иуда Гросман толком не знал. Да он и сам попал сюда вполне случайно, в соответствии с расположением заоблачных звезд в тот дождливый, ветренный и свежий вечер: ехал мимо сидящего в грязи местечка Жабокрики и завернул на огонек в поисках миски супа и сухого, теплого угла. Голод донимал его со вчерашнего вечера, чувство голода было вначале тяжким, затем оскорбительным. Абсолютное и безоговорочное отсутствие пищи бросало тень на его человеческое достоинство. Как так? Невесть уже когда обремененные разумом Божьи твари, сидя в своих чисто выметенных каменных халупах, у вечернего костерка, жевали лепешку, печеный лук и пироги с финиками, а он, студент и освободитель пролетариата, рыскает по степи, как неприкаянный волк, желудок его пуст, а мысли скорбны. Нужно было прожить тысячелетия, увидеть единого Бога, застроить землю Го-

шен, написать «нет ничего нового под солнцем», поглядеть на «Охотников на снегу» Брейгеля и прочитать Мопассана в оригинале — для того чтобы здесь, у местечка Жабокрики, прийти к такому оскорбительно-тяжкому состоянию. Огонек госпитальной палатки расплывчато мерцал в сердце дождя, в темной степи, и Иуда повернул к нему свою тачанку.

В палатке, заваленной теми, кому не повезло, правила санитарка Ленка.

— Лютов я,— сказал Иуда, войдя.— Пока здоров, но еще немного, и тогда уже не ручаюсь.

Ленка была белой кожи, с черными, отвесно падавшими ниже плеч волосами, и каждый волосок падал сам по себе, отдельно от других. Сильные волосы обегали узкое лицо с детским подбородком и распутными нежными губами, а маленькие уши проглядывали сквозь черную зыбкую завесу. Темно-голубые, почти синие глаза, широко расставленные, пытливо глядели на Иуду, отряхивавшего воду с плаща.

— Это тебя, что ли, прислали? — спросила Ленка.— Я тебя знаю: ты раньше в газету писал.

— Никто меня не присылал,— сказал Иуда.— Я ехал, ехал, потом гляжу — огонек. Да и что за разница?

— А то и разница,— беспечально сказала Ленка,— что санитару обещали прислать. Видишь, что тут делается? Всё полно, а я одна.

— Уже вдвоем,— снимая плащ, сказал Иуда и рукой махнул, как бы отгоняя Ленкины сомнения на этот счет.— Я санитар, санитар... Дашь человеку постель что-нибудь? А то я со вчера не жрамши.

Розовые губы над детским подбородком пришли в движение.

— Всем давать,— внятно проговорила Ленка,— знаешь, что тогда будет? Вон щи в углу, во фляге, теплые еще.

Иуда слышал об этой Ленке, многие о ней слышали. Это она жила при начдиве-шесть до самого его крушения, и начдив берег ее. Да и сам Буденный, говорят, наезжая к Савицкому, мимо синеглазой не проходил, не говоря уже о московских гостях с нашивками. Теперь, стало быть, она здесь, в лазарете, посреди ночного поля. Она и Иуда Гросман, писатель.

Что было, то прошло. Тут на горизонте не Одесса, а Жабокрики. Буденный сюда не заглянет. Да и что Буденный? Одни усы, хоть чайник на них вешай. В конях он понимает, больше ни в чем. Ему чай из блюдца гонять с Трофимом Рохлей, а не крылом чертить вокруг этой Ленки, этой Суламифи в яблоневом саду. Конскую душу знать — это важно, но и в душу женщины надо уметь заглянуть поглубже, и такое двуединство даст право на высокое место под солнцем. А командарм если и заглядывает куда со знанием дела, так это в бутылку.

— Командарм тут случайно не проезжал? — как бы ненароком спросил Иуда и увидел, что ошибся, не надо было спрашивать.

Ленка презрительно уперлась в него своими синими камушками.

— Командарм на передовой,— сказала Ленка с вызовом.— Он по тылам не шляется.

— Он смелый? — неизвестно зачем подзуживая, спросил Иуда.

— Он герой,— сказала Ленка и отвернулась.

Я тоже герой, подумал Иуда Гросман, если ради того, чтобы смотреть на тебя, хлебаю щи в этой тифозной палатке. Отсюда бежать надо, не оглядываясь, а я хлебаю. Значит, я герой.

— Тут у тебя тифозные тоже есть? — утерев рот тыльной стороной ладони, спросил Иуда.

— Куда ж им деться?..— сказала Ленка, как об обычном.— Вон того выносить уже надо, а этот кончается. Санитара-то обещали прислать на ночь, а где он?

— Здесь я,— сказал Иуда и поднялся с брезентового сиденья.— Можешь на меня положиться. А хочешь, я усы отращу?

Ленка поглядела на Иуду, на его очки, на его улыбку и, словно удерживая смех, прижала ладошки к щекам и прыснула. У нее был хороший характер, хороший и легкий.

— А не боишься? — отсмеявшись, спросила Ленка. — Ведь сыпняк...

— Боюсь, — сказал Иуда. — Но мужчина платить должен, чтоб с тобой рядом стоять. Кто не платит — тот вор, фармазон. Вот я и буду платить — страхом, больше у меня ничего нет.

Минуту назад Иуда Гросман и сам не знал, останется он здесь или, схватив плащ в охапку, сядет побыстрее в свою тачанку и погонит куда глаза глядят, подальше отсюда. Теперь знал: останется, никуда не поедет. Да что там останется! Теперь он готов был, загнав свой страх в мыски кавалерийских сапог, скакать рядом с усатым Буденным ноздря в ноздю или даже на полкорпуса впереди, в самую гущу рубки. Он и не на такое сейчас был совершенно искренне готов вот за это лукавое «чтоб с тобой рядом стоять». «Рядом стоять» имело ту же прерывистую и волнуящую двусмысленную очерченность, как «положись на меня» или «уже вдвоем». Слова волшебным образом значили куда больше, чем сочетания букв или даже звуков, поэтому они и носились когда-то сладкой розовой пеной над водами.

Буденный? Тем лучше... А я Иуда Лютов; будем знакомы. Вы, командарм, вырастаете из собственных сапог, как бузина из козьего дерьма, а я стою тут, ночью, на обовшивевшей земле, я — дозорная башня с кошачьими глазами бойниц, и мокрые тучи ползут по моим плечам. Я дам вам фору, командарм, — два шара, и вы проиграете: женщина пойдет за мной. Я должен победить — я, четырехглазый еврей с сердцем пророков и головой апостолов. Я должен доказать себе, вам и всем, что существую, и только чистый выигрыш даст мне эту уверенность. Да ведь и женщина стоит того, а, командарм?

— Ты красивая, — сказал Иуда. — Женщине вредно быть такой красивой.

Раненые и больные, лежавшие вповалку на заскорузлых дерюгах, вскрикивали и стонали. Едва ли кто-нибудь из них внятно слышал Иуду, да это его и не беспокоило: те, кому не повезло на войне, лежали здесь, на земле, как бурелом, и вывороченные изломанные корневища ног торчали. Не стоило выводить отсюда женщину, чтобы под дождем говорить ей о том, что она красива, и обнимать ее, переваливаясь в черной грязи. Какое дело ему, Иуде Гросману, до того, что вообразит о настойчивой жизни, глядя на него, какой-то несчастный в предсмертном, возможно, озарении? Интересно и важно было бы, конечно, разведать, что он там подумает, глядя умирающими глазами на жизнеродный совокупительный труд рядом со своим телом, улавливая отлетающим слухом не слабеющее мычанье своих последних товарищей, а хрип страсти, в приступе которой сильная жизнь перемешана поровну со сладкой смертью. Но этого не разведать, не узнать, а потому остается только расстелить здесь, в сухости и тепле, шинель, и лечь с женщиной, и глядеть, и запоминать, как будут приподымать головы на вялых шеях те, кому не повезло на войне.

Ветер за полостью палатки набегал порывами, с шумом пригибал к брезенту густые дождевые струи. Погромыхивал гром, прокатываясь по близкому небу. Освещенное керосиновыми лампами место мучений и смерти казалось в промозглом ночном хаосе закоулком райского сада.

Нагибаясь над лежащими, Ленка с «летучей мышью» в руке прошла по палатке. Иуда терпеливо глядел, как с каждым наклоном распахивалась ее расширяющаяся бисером гуцульская кацавейка. Ленка нагибалась то на прямых ногах, и тогда юбка ее чуть вздергивалась, открывая розовые колечки чулок над сапожками, то как-то по-детски присаживалась на корточки, как ребенок над кустиком земляники. Наконец она закончила свой обход и вернулась к Иуде.

— Двое... — сказала Ленка. — Выпить хочешь стаканчик? — Из дощатого ящика она достала флакон с медицинским спиртом, полный наполовину. — Пей — и понесем.

— А ты? — спросил Иуда.

— Я тоже, — сказала Ленка. — Ты разбавляешь?

— А ты? — спросил Иуда.

— Да что ты заладил: «а ты, а ты...»! — сказала Ленка, наливая. — В газету трудно писать? Я перевестись хочу отсюда в газету.

— Легко, — сказал Иуда. — Я тебя научу, хочешь?

— Ну да, научишь... — сказала Ленка, глядя недоверчиво. — Вы все только обещаете...

—...а сами об одном думаете, — подражая Ленкиной интонации, договорил за нее Иуда. — Так, что ли?

— А ты умный, — сказала Ленка и улыбнулась легко, благодарно. — Всё знаешь и статьи писал. За что тебя отсюда выгнали-то, из газеты?

— С начальством поругался, — хмуро сказал Иуда. — Правду написал, а кто ее, правду, любит? Ну и загремел.

— Бедный! — жалостливо сказала Ленка и провела маленькой, мягкой, как бы просунутой из другого мира ладошкой по Иудиной колючей щеке. — Чтоб ей пропасть, этой правде, из-за нее что только не делается! А кому она нужна? На стенку ее, что ли, прибить в рамке?

— Иногда нужна, — сказал Иуда. — Если б меня сюда не отравили, кого бы ты сейчас гладила? Ну гладь, гладь!

— Ты умный, — сказала Ленка. — Всё знаешь... Да подожди ты, успеешь! Вынесем сначала. За плечи бери, под мышки! Подымай! А я за ноги.

— Так ведь дождь, — сказал Иуда.

— Что из этого? — строго сказала Ленка. — Не положено оставлять.

Труп еще не успел остыть, тяжелое тело провисало, волочилось по земле. Плечом отпахнув полость, Иуда выбрался из палатки наружу. Мокрый насквозь ветер обхватил его, холодная вода поползла за ворот гимнастерки, на спину пятившегося. Скользя в грязи, он поспешно опустил труп, почти уронил его. Голова тупо ударилась о набрякшую небесной влагой землю.

— Закрой его вон брезентом, — сказала Ленка, а потом добавила извиняющимся тоном: — Сейчас второго вынесем, и тогда уже всё...

Второго положили рядом с первым. Дело было сделано.

— Ну вот, — сказал Иуда, как о договоренном. — Теперь можно погреться.

Ленка промолчала, только отвернулась и стряхнула головой, сгоняя капли с волос. Это ее молчание обожгло, опалило Иуду, как вспышка огня; скажи она ему: «Ну пошли», — это не составило бы и малой части той радости, того перехватившего горло восторга, который исходил из смутного обещающего молчания. По собственной воле и желанию она пойдет с ним, к нему. Так должно быть, так будет. И всё же переливались сомнения на самой окраине души: а если нет? И эта сомнительная неопределенность лишь подливала масла в огонь.

Запах лазарета выветрился из палатки. Пахло сыростью, прелой землей, керосином. Ленка двумя руками забросила волосы за спину, повернулась к Иуде и сказала:

— Ну пошли... Здесь, в углу, посуше. Шинель возьми подстелить!

Сказано: «Горше смерти — женщина, потому что она — ловчая яма, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». И грешник, и праведник попадутся. Тянет человека к игре с женщиной, как тянет его к игре со смертью. Женщина — устье, и открывается то устье в море, а то море — обрыв жизни и золотая тьма. Красива ли женщина, черна или рыжа, с лицом округлым или вытянутым, чистым или веснушчатым, она — дом смерти и в то же время дом жизни, она отворяет перед человеком дверь в высокое небытие nirваны, а потом с криком отстранения отпускает обратно, и он медленно воскресает, и сознание возвращается к нему вместе с жизнью. А в женщине смерть перетекает в жизнь, как шелковый песок

в сочленениях часов, и устье ее становится лоном, и Бог не остается в стороне от этого превращения.

И праведник, и грешник... Никто, кроме, быть может, блаженного, чей искаженный неведомыми видениями разум и без того витает в иной сфере, не пройдет мимо женщины, как мимо неодоушевленной статуэтки. Гибельная захватывающая опасность ночного леса, древний гулкий восторг перед рассветным рождением Солнца, когда косноязычная немота овладевает и отпетым краснобаем, сам дух жизни-смерти, неостановимо исходящий от женщины, — всё это не останется неуловленным: и грешник, и праведник, раздув ноздри, безоглядно и послушно втянут будоражащий запах.

И вот — гон, надежда, отчаяние, обожествление, крушение и возрождение: всё, решительно всё, из чего состоит счастье. И — ищущие всеохватные руки, мелькание звезд и миров за сомкнутыми веками, невесомость податливой льнувшей теплой плоти, нездешнее смещение цветов и звуков и в сапфировом тупике дороги богоподобное одиночество человека во Вселенной.

На шестой день после той ветреной и дождливой ночи Иуду Гросмана свалил сыпняк.

В возвращении к жизни есть что-то детское: радость по этому поводу, представляющая собою не что иное, как душевное облегчение, освобождение души от тяжкого предсмертного гнета, имеет ребячливый характер. Такое возвращение из пограничной со смертью, почти уже вневременной области, где свет не отделен от тьмы, добро от зла, а сон от яви, и есть, по существу, новое рождение. Быть может, радуется и дитя, с первым великим трудом, в муках, не уступающих материнским, миновав те самые несоразмерно тесные врата, которые всех нас привели в этот мир. И первый крик ребенка — это крик радости по поводу освобождения от боли и неволи.

Иуда Гросман, во всяком случае, радовался, одолев кризис болезни и придя в себя после пяти дней умирания. Он облегченно вернулся в обжитый и привычный мир, и вот это произносимое с покачиванием головой «чудом выжил» прилепится к нему навсегда. Он вернулся в мир из сумерек и с недоверчивой радостью обнаружил, что милый солнечный день стоит за окном госпиталя. Иуда знал, помнил, что с ним произошло, до тех пор, когда сознание его сделалось расплывчатым, а затем и вовсе бесформенным и никаким, а мир сузился и сжался до подобия темной утробы. То, что его отправили в тыловой госпиталь, — вот этого он не знал, а когда ему стало известно, что военная жизнь его позади и нет нужды возвращаться на фронт, он обрадовался совсем уже успокоенно и безоглядно. Где-то с окраины памяти улыбнулась ему Ленка и помахала рукой, и Иуда улыбнулся ей в ответ, как из проходящего мимо и исчезающего навсегда поезда. Прощай, Ленка из вшивой палатки, быть может, я запомню твое имя.

Иуда много спал в госпитале. По большей части он просто лежал в живом творном забытии, как в зеленой теплой траве, но иногда ему снился фронт. И тогда люди и лошади войны, протянутый от неба к земле струйчатый нескончаемый дождь, евреи, украинцы и поляки — все эти картинки возникали в его подправленном сном сознании удивительно ярко и резко, почти лубочно, и были похожи на игральные карты в проворных пальцах фокусника: колода трещала, блестящие карты ложились одна на другую. Иуда Гросман глядел на эту вереницу изображений как бы со стороны, как разглядывают разноцветных тропических рыбок сквозь стеклянную стенку аквариума. И ему было отраднo ощущать эту отстраненность и отчасти даже приподнятость над видимым: извне угол зрения его становился шире, взгляд — пристальней и выборочней; не написанные еще слова, реплики и целые фразы обрамляли изобразительный ряд и двигались вместе с ним. И, просыпаясь от сна, Иуда Гросман улыбался улыбкой счастливого человека.

Казенный чаек жидок: кража всего, что можно съесть или выпить, людьми, стоящими вплотную к хлебу, мясу или чаю, не вчера стала нормой. В госпитале крали не только, конечно, чай, но и его тоже: отсыпали из цыбиков, отливали в домашний бидон из заварных чайников. И хорошо бы отлить и на том успокоиться; так нет же, доливали пристойного восполнения ради водою из-под крана. Смясом было проще: отрезали, отрубали куски и волокли по домам, а выздоравливающие глодали кости. Иуда к этим проделкам относился с пониманием, хотя по настоящему чайку и скучал; ему, помимо самого напитка, представлялся хрустальный стакан в серебряном подстаканнике, звяканье ложечки, солнечная долька лимона, стол под белой крахмальной скатертью, дом на Кузнецкой, Одесса на берегу моря. Хрупкая и упрямая сила жизни, возвращаясь в тело выздоравливающего, размягчила его душу. Из госпитальной палаты Одесса казалась ему приятней и чище, жена Люба — милей, а надоедливые соседи не вызывали раздражения. Однажды, к немалому удивлению Иуды, к нему пожаловал во сне неожиданный гость — князь Давид Реувейни на высоком коне, и они, посмеиваясь, поболтали об эскадронном Трунове, переходе через Збруч и упрямых галицийских евреях, не желающих воевать за Палестину.

Об этом ночном визите Иуда рассказал наутро приятному человеку по имени Мустафа, кочевнику. Мустафа попал в госпиталь после тяжелого ранения, развороченные его кишки слаживались с трудом, а контуженная голова работала с перебоями. В минуты этих-то перебоев татарин нес интереснейшую околесицу, и Иуда жадно запоминал откровения тронутого. Сходились они — Иуда и Мустафа — на ветхой госпитальной веранде после утренней каши и сидели там, с жидким пойлом в руках, за дощатым столом, густо покрытым памятными надписями непристойного свойства.

— Чай не пьешь, откуда силы берешь? — побалтывая пойло в кружке, начинал разговор Мустафа.

— Ну да, ну да, — охотно поддерживал Иуда. — Чай попил — совсем ослаб.

Такая завязка ни к чему не обязывала, она была как бы присказкой, и разговор мог покатиться по любой тропинке. Собеседникам на веранде никто не мешал — больные предпочитали отлеживаться после бессонной военной жизни, а врачам с сестрами и подавно не было до них дела. За шаткими перильцами помещения открывалась южная бесснежная степь, там жили крупные птицы с хлопающими крыльями и ночные звери, не показывающиеся на глаза человеку. За степью, далеко, проживали в красивых горах дикие сородичи Мустафы, о которых он отзывался неодобрительно: бараньи люди. Горные пределы Мустафа оставил шесть лет назад ради войны с германцами и так на родину и не вернулся, подавшись — после развала фронта и благополучного оттуда бегства — к красным: агитатор попутал. Агитатор ему понравился, потому что был он человек простой и природный дурак: от новой власти обещал Мустафе землю и скот в вечную собственность, как будто заляпанные грязью бараны и заваленные льдом неодолимые камни вершин принадлежали до сих пор какому-то чужому дяде. Получалось, что агитатор врал не по вредному умыслу, а от полного непонимания горных кочевых обстоятельств, и это говорило в его пользу.

Поклонник бесхитростных природных дураков, Мустафа и сам был человек чистый до прозрачности. Но и солнце, говорят, не без пятен, и прямая на первый, ознакомительный взгляд жизнь кочевника давала кое-где извивы и загибы, и в глазах стояла непроницаемая тень. Иуда Гросман вглядывался в эти стужки тени до боли в глазах.

— Вот ты говоришь, — со вкусом отхлебнув из кружки, сказал Мустафа, — этот ваш князь...

— Реувейни, — напомнил Иуда. — Под ним конь, шашка на боку.

— А камча? — глядя из-за кружки, с интересом спросил Мустафа. — Камча была?

Иуда наморщил лоб, вспоминая, а была ли камча при князе.

— Ко мне, знаешь, кто приезжал недавно? — понизив голос до доверительного шепота, продолжал Мустафа. — Чингисхан!

Иуда, не показывая вида, немного подосадовал про себя: Чингисхан тут был ни к селу ни к городу, Иуду занимали события посвежей и поближе.

— Ну и как? — вежливо спросил Иуда. — Что сказал?

— На нем малахай из лисьих хвостов, — наклонив вперед бритую башку, сообщил Мустафа, — шуба барсовая, сапожки блестят.

— Неверно, — возразил Иуда. — Сапожки тогда еще не блестяли.

— Как так? — выкатил свои косые глаза Мустафа. — А если он по дороге сюда содрал эти самые сапожки с какого-нибудь командира?

— Это дело другое, — без подъема согласился Иуда. — Тогда — да.

— Ну, а как же! — удовлетворился Мустафа. — Может, он крюка дал через Умань или даже через Житомир.

— А в Питер он не заскочил по дороге? — спросил Иуда. — Или в Москву? Там всё же начальство, там власть.

— А как же? — сказал Мустафа. — Был... Ему, что ли, долго?

— Ну понятно, — разведочно заметил Иуда. — Ты ж и сам там бывал, если не путаю. А он теперь по твоим, значит, следам.

— Да, — сказал Мустафа. — Только туда, где я был, его не пустит никто: пропуск нужен.

— Без пропуска — никак? — спросил Иуда. — В Кремль, что ли?

— Зачем в Кремль? — скосив глаза в кружку, сказал Мустафа. — Был у меня один там товарищ, верный человек, я с ним куда хочешь ходил. Куда он, туда и я. Из ваших, между прочим... Он с пятнадцати шагов первым выстрелом в туза попадал, в самую серединку.

— Бандит? — вскользь поинтересовался Иуда.

— Зачем бандит? — сказал Мустафа. — Культурный человек. Чекист. Яшка.

— Ну Яшка так Яшка... — сказал Иуда. — Мало ли там разных Яшек!

— Он главный, — сказал на это Мустафа с уверенностью.

— Как Чингисхан? — спросил Иуда.

— Ну да, — сказал Мустафа. — Нос у него — во, глаза сверкают.

— А фамилия? — спросил Иуда, мягко глядя.

— Секрет, — сказал Мустафа. — Нельзя.

— Не на «бэ» случайно? — спросил Иуда.

— На «бэ», — сказал Мустафа. — Да. Но дальше не скажу. Молчок.

— Дальше будет «л», — сказал Иуда. — А потом «ю».

Мустафа улыбнулся загадочно и со свистом потянул чай из кружки.

Блюмкин. Иуда даже поморгал под очками — так резко, так очерченно встала перед ним картина: литературный подвал, холодно, полно людей, знаменитый террорист с лицом одухотворенным и страшным читает стихи о снежинках, лежащих на лицо смертника во дворе тюрьмы. Яков Блюмкин. Стихи, потом убогий стол, вино из самовара, запах табачного дыма. Дикие, волшебные рассказы об эсеровских терактах, о Савинкове. Есенин в белом кашне тянется чокнуться с убийцей посла Мирбаха... Что общего может быть между Яковом Блюмкиным и кочевым Мустафой?

— А ты что, вообще-то говоря, там делал? — спросил Иуда.

— Чего, чего! — сказал Мустафа. — Что велели, то и делал. Мы люди маленькие. Как все.

Ну не совсем, как все. Если привести такого Мустафу в «Летучую мышь» или в ту же «Бродячую собаку», литературная богема накинется на него, как коршун на кровавое мясо. Еще бы! То ли он страшный горный абрек, то ли вообще какой-то керуленский монгол, тоже страшный. А может, даже на Тибет его заносило бандитским ветром. Людей пера и чернил тянуло на убоину, тянуло неостановимо и бесцеремонно. И если Мустафу привел действительно Яков Блюмкин, успех у посетителей литературных подвалов был обеспечен кочевнику.

— Ты со знаменитыми людьми там водку пил,— сказал Иуда Гросман.— С писателями разными, артистами. А?

— Люди как люди.— Мустафа цыкнул слюною сквозь редкие передние зубы и вдруг поскуучнел.— Это мы не знаем.

— Там пел кто-нибудь? — продолжал подбираться Иуда.— Не помнишь?

— Пел,— не задумался Мустафа.— Этот, который пел, смеялся очень, прямо хохотал. Плясали иногда.

— Ты тоже плясал? — поинтересовался Иуда.

— Нет,— сказал Мустафа.— Нам нельзя.

— Это почему еще? — спросил Иуда.

— Нельзя — и всё,— объяснил Мустафа.— Молчок.

То, что Мустафе запрещено было кем-то плясать в литературном кабаке, позабавило Иуду Гросмана, но не озадачило: ну нельзя, так нельзя. Другое удивляло и даже вызывало хмурую ревность: его, Иуду, Блюмкин никогда не звал ни в «Мышь», ни в «Собаку». А как хотелось войти с этим блистательным алмазным кровопийцей в прокуренный подвал, набитый знакомыми людьми! Эти люди, все эти поэты, прозаики и драматурги, тянулись к Блюмкину, как белые, на нежных стеблях ромашки к красному солнцу. Завораживающее любопытство, любопытство кролика перед пастью удава управляло их движениями. Отброшенные грубыми, гибельными обстоятельствами от как будто бы вечного, на все времена, пока существует искусство, источника критических сомнений, но вместе с тем и обязательной надежды, они искали для себя другой сосец и готовно тыкались в страшное брюхо новой власти. Блюмкин, спустившийся к ним в подвал, был человеком этой дикой, степной, разбойной, а потому завораживающей власти. Запанибратски читая им свои достаточно серенькие стишки, он вместе с тем оставался на недосягаемой ни для кого из простых смертных высоте, густо замаранной повивальной кровью: новая, никогда не виданная и не слыханная справедливая эпоха рождалась в близких муках.

Став Лютовым, Иуда Гросман, несомненно, приблизился к Блюмкину, и это было увлекательно и жутко. Но иначе не должно было быть.

Попив с Мустафой чайку на веранде, Иуда вдруг заскучал в госпитале до ломоты в сердце. Глядя на заплеванные подсиненные стены, он видел себя в Одессе, в Москве и в Питере. Прошла вязкая приятная слабость возвращения к жизни, тянуло куда-то идти, куда-то ехать; Иуда выздоровел.

Удар железной битой по подвешенному обрезку железнодорожной рельсы никого не оставляет равнодушным в госпиталях и санаториях: одни ждут его с раздражением, большинство — с душевным подъемом. Гонг зовет к столу, а совместное сидение над мисками с манной кашей вносит оживление в вялотекущую жизнь праздных людей, выздоравливающих или умирающих. Иуда с того самого дня, как поднялся с постели после болезни и приплелся в столовую, глядел на своих потрепанных застольников с жалостливым замиранием сердца и чуть ли не со слезами на глазах: они выжили вместе с ним, они его близнецы, рожденные смертью... теперь это прошло. Изможденные люди, хлебающие и жующие, стали ему безразличны. Он хотел лишь одного: как можно быстрее с ними расстаться. Пусть себе сидят сами в этой южной степи.

Мустафа — другое дело. Бывший кочевник по-прежнему занимал мысли Иуды Гросмана, писателя. Иуда охотно, одну за другой придумывал истории, в которых его дикий приятель играл загадочные и кровавые роли. Хорошо бы когда-нибудь встретить его еще раз — не здесь, в иных обстоятельствах. А пока что прикипело плюнуть на всё и бежать отсюда — хоть пешком, хоть как. Один день затыжки, ему казалось, мог согнуть его волно, искривить всю жизнь, превратить Иуду из чуткого независимого наблюдателя в послушный объект наблюдения. То, что было задумано с любовью к себе, следовало делать сразу и не откладывая, не то мускулистое желание покрывалось волдырями и крошились зубы от бессильного скрежета. Итак — бежать. В Одессу. Домой.

Веселей было бы бежать с кем-нибудь, хотя бы с тем же Мустафой.

— Ты куда отсюда пойдешь? — спросил Иуда, возя ложкой в белесой жижице каши. — На фронт?

— К бабе пойду, — с уверенностью ответил Мустафа. — Баба — как собака. Служит, служит, пока не сбесится. Как сбесится — надо стрелять. А есть такие, которые не стреляют. И это — беда.

— Где у тебя баба-то? — снова спросил Иуда.

— Нет у меня бабы, — сказал Мустафа. — Была одна, куда-то делась... Другую возьму.

— А любовь? — сказал Иуда.

— А как же? — сказал Мустафа. — Городскую возьму, ученую. Чтоб в драп-пальто ходила.

Такое заявление укрепило Иуду в его намерении бежать отсюда с Мустафой на пару. С Мустафой не пропадешь. И весело.

— Слушай, Мустафа, — сказал Иуда, — я сегодня вечером отсюда сматываюсь.

— Ну и что! — сказал Мустафа. — Мотай!

— Пошли вместе! — предложил Иуда. — До Одессы доберемся, там море, там всё...

— Не могу, — сказал Мустафа. — У меня сальник тянет, кишка не срослась.

— Сратется твоя кишка, — обнадежил Иуда. — Не помрешь.

— Вот именно что помру, — сказал Мустафа. — Тебе-то что, а мне это ни к чему!

Тогда Иуда Гросман пожал плечами и решил уходить один.

К числу неразрешимых загадок славянской души, включая еврейскую, относится страсть к перемене пейзажа. Зачем, куда? Бог весть... лучше всего и солидней застывшим и не лишенным меланхолической грусти взором наблюдать размеренное мелькание природы за окном железнодорожного вагона. Действительно, не бить же ноги в колдобинах проселка, вон, отлично различимого из того же окошка! С большака или хоть со звериной буерачной тропы все то же видеть, что из вагона, только хуже: обзора нет. А тут лес, поле, луг. Степь. Горы на краю степи карабкаются друг другу на закорки. Какая красота, какой простор неодолимый! Можно и выпить по этому поводу. Наливай, ребята, чего время-то терять, глазеть по сторонам! Поехали!

Поехали. В поезде теснота, вонь и приятное дорожное безобразие. Никого покамест не колотят по мордасам в тамбуре, не слышно стрельбы. Пейзаж, картина за картиной, исправно сменяется в окнах по обе стороны вагона: смотри куда нравится. Проездные документы до Одессы, в один конец, лежат, аккуратно расправленные, в кармане Иудиной гимнастерочки, болтающейся на нем, как на вешалке.

Добыть их было нелегко. Главврач госпиталя, ученый старик с отменными вставными зубами, сперва и разговаривать не захотел: завтра! Но «завтра» никак не годилось Иуде, он желал, должен был двинуться в путь сегодня. Ученый старик вмиг сообразил, что имеет дело со взвинченным человеком, готовым на разное, и завел скучный разговор об осложнениях, которыми чреват недолежанный сыпняк, и о тяготах железнодорожного сообщения. Умные слова старика отскакивали от Иуды Гросмана как горох от стены. Ему нужна была госпитальная казенная бумага с печатью, подписанная рукою умного старика. И это всё. А старику по большому счету плевать было сквозь его вставные зубы на то, одним Гросманом больше или меньше останется на белом свете; под всех психованных руки не подложишь. В Одессу нужно красноармейцу? Одесский воздух целителен? Ну это как знать... Мама и жена? Но почему же все-таки не завтра, а именно сегодня ночью? Невозможно объяснить? Да, пожалуй, тут следовало бы привлечь психиатра... Вот вам, нетерпеливый молодой человек, моя подпись,

вот вам печать. Готово! А теперь, извините, ваша очередь: подмахните-ка заявленище о досрочном убытии. Так... Счастливого вам пути и доброго здоровья!

Поезд, пыхтя и воняя, умиротворяюще стучал своими колесами на стыках и стрелках и бежал по степной равнине к морю. Чем ближе Одесса, тем беспокойней и взвинченной становился Иуда. Он оставался еще в том возрасте, когда идея обновления жива и плодоносит. После фронта и тифозной полусмерти он намеревался вернуться домой новым человеком, отвердевшим и заматеревшим среди бедовых людей, вблизи большой крови. Намеревался ступить на одесский вокзальный перрон с его пушкинскими фонарями новым человеком, созревшим для настоящей литературы и готовым к литературной славе. Эти намерения следовало связать в узел, а узел зажать в кулаке, как рукоять казацкой шашки. И рвануть шашку наголо!

Сходя на перрон, он почуял знакомый, стойкий запах жареной рыбы и понял, что долго здесь не задержится.

Одесса составляла часть жизни, и это всё же было обременительно. Родись Иуда Гросман, скажем, в Минске, никому и в голову не пришло бы об этом помнить: минчанин и минчанин. Одессит — дело другое; «одессит» выжжено на лбу, как тавро.

А что в ней особенного, в Одессе? Дюк? Усатая теща? Дурацкие анекдоты? Марсель тоже, говорят, пропах рыбой и чесноком, но марсельцы вряд ли так отличаются от парижан, как одесситы от москвичей. А Одесса — русский Марсель, не более того. Русско-еврейский Марсель. Что же тогда такое Марсель настоящий? Французская Одесса — вот что это такое: роскошный средиземноморский воздух и кругом сплошные французы. Но Одесса, пусть даже французская, так же непредставима без евреев, как Москва без русских. Надо обязательно туда попасть, в этот настоящий Марсель, пройти по набережной с пригоршней горячих каштанов в кармане демисезонного бежевого пальто.

Но это в будущем, желательно — в близком. А пока что обледенелый перрон, угрюмые люди и почему-то не горят пушкинские фонари.

Привокзальная площадь была почти безлюдна: холодные сумерки гнали людей под крыши домов. На трамвайной остановке, притопывая, переминалось с ноги на ногу человек десять женщин и мужчин, молчаливых и дурно одетых. Появление посиневшего от холода красноармейца не привлекло их внимания. А Иуда со своим сундучком жался в сторонке, не рискуя заводить приятный разговор с этими людьми, не похожими на одесситов.

Трамвай проехал недолго и остановился: отключили электричество. Пришлось вылезать. Происшествие позабавило бы Иуду, если б не набирающий силу ночной холод. Надо было все-таки сообщить о своем приезде, и родные встретили бы на вокзале, нашли бы извозчика... Но тогда начисто пропадал весь смак: стук в дверь, мама открывает, на пороге стоит Иуда.

— Боже мой! Это ты! Не может быть...

— Как не может? Ты хочешь сказать, что это не я? Ну дай же мне войти, мама, дай мне чай с вишнями, дай мне коржик с маком!

Замерзшие ноги скользили по скользкому тротуару, перекинутый за плечи сундучок елозил по костлявой спине. Электричество, как видно, вырубил не только на трамвайной линии — улицы были темны, а в окнах домов еле теплились то ли стеариновые свечки, то ли масляные плашки. Иуда сошел с тротуара и зашагал по брусчатке мостовой; ему казалось, что из черной подворотни вот сейчас выскочит бандит, набросится, ударит ножом. Родной одесский бандит, который ничуть не лучше троюродного ростовского, даже если ростовчанин — кругом гой, а одессит целый день молится в синагоге и выходит оттуда лишь глубокой ночью, чтобы пойти на дело. Бандиты хорошо выглядят в пестрой сказке, как мыши в балете «Щелкунчик». «Рыжий вор, идите вечерять!» «Ведите себя скромнее, тетя Песя, вы не на работе!» Это — в сказке. А тут, на улице, на-

бросится и пырнет или разобьет очки. Или отнимет сундучок. И ни слова не скажет на этом роскошном маслянистом языке, годном для сказки по-одесски. «Тут в зал вошел один роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик». Как придумано, как сказано! Сказано — кем? Да уж не бандитом с одной извилиной под кепкой. Сказочником сказано — вот кем. «Тут подошел ко всем маркер известный Мونها, об чей хребет сломали кий в кафе Фанкони». Кто ж этот Мونها, интересно знать? А вот кто: «Побочный сын мадам Альтшулер тети Песи, известной бандерши в красавице-Одессе». Снова буйная тетя Песя. Круг замыкается изящнейшим образом. Сказочник доволен и скромно почесывает бровь над круглыми очочками.

Сырой порывистый ветер подул с моря, холод сделался пронизывающим; Иуде казалось, что нищая его плоть омертвела вконец и лишь упрямый костяк продолжает отстукивать шаги по пустынной улице. Бандиты! В такую погоду бандиты проводят время в кофейнях и бильярдных, они пьют шампанское «Вдова Клико» из эмалированных чайников и обнимают девочек на козетках, крытых китайским шелком в розовую полоску. Невоздержанная тетя Песя — тоже, по существу, бандитка. Одесские бандиты — это фантастическая группа, это театральная труппа, это одетые в канареечные смокинги и обутые в малиновые штиблеты человеко-куклы со стальными бритвенными когтями, они прогуливаются походкой пеликана по роскошной сцене, украшенной красными, зелеными и серебряными лентами, заваленной мешками с контрабандным занзибарским перцем и суринамской корицей и уставленной изящной мебелью французского стиля рококо. Эти замечательные создания охотно путают добро со злом, и это делает их непревзойденными героями с седьмого, верхнего этажа нудной человеческой жизни. Но они не имеют решительно никакого отношения к уголовникам и блатарям сумеречных одесских подворотен.

Как, собственно, и художественнословные буденновские казаки к угрюмым грабителям и убийцам во вшивом солдатском тряпье и с пятиконечной звездой во лбу отношения не имеют никакого. Эти распрекраснейшие казачки — те же человеко-куклы, вполне сродни злодобрым одесским бандитам, только на их литых плечах сидит не кремовая чесуча отборных пиджаков, а сметанная из украденной в церкви золотой парчи небрежная накидка с ангелами.

Дробный треск автомобильного мотора покатился по улице, и Иуда, чтобы не угодить под колеса, поспешно шагнул обратно на тротуар. Еще неизвестно, как лучше быть убитым: бандитским дрючком или технической новинкой. Кабриолет с отпахнутым верхом промчался — то ли алый, то ли лимонно-желтый, в темноте можно было и ошибиться. Рядом с шофером сидел в лунном свете, вольно откинувшись назад, человек в черном, в широкополой черной шляпе, с лицом белым и крупным. Он мог быть удачливым налетчиком, едущим по своим опасным делам, но мог оказаться на поверку и партийным начальником руководящей категории. Как бы там ни было, Иуда, освещенный на миг ярким хрустальным фонарем, искренне пожалел о том, что этот, беломордый, не предложил подбросить до Кузнечной. А ведь мнилось и мечталось, логике вопреки, что авто вот сейчас плавно затормозит, и шофер распахнет перед Иудой лакированную дверцу. Как жаль, что не затормозил.

До Кузнечной, впрочем, оставалось недалеко.

Окна квартиры Гросманов обращены были частью на улицу, частью — в яму двора. В кухне, выходящей во двор, было потеплей, поэтому семья во главе с почтенным Ефимом Матвеевичем смиренно сидела вокруг кухонного стола, на котором по-домашнему, по-свойски расставлены были разномастные чашки с чаем, желтоватый сахар в десертной тарелочке и ломтики подсохшего хлеба в ажурной сахарнице из тонкой серебряной проволоки. Сахарница, знававшая лучшие времена, посреди надколотых чашек выглядела, как княжна Тараканова в окружении прачек. Свет еще не дали, кухня была невнятно освещена керосиновой лампой с надтреснутым отражателем.

— Они ответят, Любушка, — строго глядя на невестку, сказала Фаня Иосифовна. — За всё.

— Тихо! — разведя руки над столом, предостерег Ефим Матвеевич. — Ша! Фейга, прекрати, пожалуйста, каркать!

— Как только появится возможность, — полуоборотясь к мужу, сказала Фаня Иосифовна, — я немедленно уеду во Францию, в Германию, куда глаза глядят. Я не останусь в этом проклятом сумасшедшем доме ни за какие коврижки. Ты слышал, Хаим?

Ефим Матвеевич кивнул головой и улыбнулся снисходительной улыбкой человека, много повидавшего на своем веку.

— Да, да и еще раз да! — сказал Ефим Матвеевич, и руки его взлетали и опускались, как будто он дирижировал оркестром. — Ну конечно! Только не каркай, Фейга, птичка моя! Не то нас всех потащат в чрезвычайку, и мы уже никуда не поедem, ни-ку-да!

— Этот приехал, — двигая бровями на чистом еще лбу, сказала Фаня Иосифовна. — Ну этот. Из Москвы, ихний главный налетчик. Его уже видели. Он гулял по Дерибасовской с нашими писаками и пил пиво в «Версале».

— Если бы Юда сидел дома, он бы тоже с ним гулял, — несмело предположила Люба.

— Еврей не может быть разбойником, — поморщившись, как от кислого, сказал Ефим Матвеевич. — Это просто нонсенс. Еврей может ошибаться, может блукать, но разбойником — нет, нет и еще раз нет! Мы не разбойники!

— Конечно! — мягко улыбнулась Фаня Иосифовна. — Мы не разбойники — мы просто воры и бандиты. Ну где вы еще видели такого дуралея?

— Он бы с ним гулял, — мечтательно повторила Люба, — и нас, может быть, отпустили бы уехать за границу.

— Юда такой неловкий! — вздохнула Фаня Иосифовна. — Какой из него солдат? Он даже очки себе забывает протирать, хайесл майнер.

— Этот их пролетарский Пушкин, — сказал Ефим Матвеевич и вздохнул, — этот усатый босяк в шляпе послал его в люди. И он пошел, дурак! Вместо того чтобы сидеть дома и учиться на юриста.

— Он не дурак! — выкрикнула бледная Люба. — Он умный!

— Пусть будет умный, — не стал спорить Ефим Матвеевич. — Умный юноша лучше глупого царя, запомни! Это не я сказал, это другой еврей сказал.

— Пейте, пейте чай, — сказала Фаня Иосифовна, — уже ночь на дворе... Но вы себе только представьте бульвар, люди отдыхают, а этот бандит едет в красном кабриолете! Как будто бы это не он бегал босиком в Первую талмуд-тору на Базарной.

— Не каркай, Фейгеле, птичка моя! — устало попросил Ефим Матвеевич.

— Юда умный, — упрямо повторила Люба. — Он бы с ним гулял, и у нас не было бы столько цорес!

В дверь стучали — нетерпеливо, часто. Стук в дверь вечером, кулаком, в гражданскую войну неприятен до спазм в горле и страшен до колотья в сердце, но стрельба с улицы в окно еще страшней.

— Кто там? — не подымаясь из-за стола, внятно спросил Ефим Матвеевич. Вопрос, собственно, ни к кому не был обращен. Точно так же можно было спросить у грома небесного, зачем он гремит.

— Сидите, я пойду взгляну, — сказала Фаня Иосифовна и пошла по коридору к двери.

В дверь колотили.

— Кто там? — тихо, почти просительно спросила Фаня Иосифовна.

Колотить перестали.

— Я, я! — донеслось из-за двери. — Свои! Открывай!

— Боже мой... — сказала Фаня Иосифовна. — Не может быть!

На пороге стоял Иуда.

— Может, может! — смеясь и вытирая глаза под очками кончиками изящных пальцев, сказал Иуда. — Мама! Где Люба? Где все?

Они уже шли, уже бежали по коридору — впереди сухопарая Люба с оренбургским платком на чохлых плечах, за ней папа Ефим Матвеевич. Чему суждено случиться, то и случается.

— Жив, жив, — обнимая всех по очереди, повторял Иуда. — Стриженный почему? Да, тиф. Конечно. Возвращаться? Нет, дудки. Дудочки! Валторны с геликонами! С меня хватит. Я уже окунулся, хлебнул — теперь будем просыхать. Чаю, чаю! Никакой водки. Чаю и тепла!

К семейному теплу Иуда Гросман относился как к национальной святыне, на которую волнительно смотреть, но которой надсадно пользоваться изо дня в день. Из обустроенного семейного лежбища Иуду тянуло на волю, а хляби и свободы навязчиво напоминали ему о кружевных домашних занавесках и курином бульоне с лапшой. Иуда воспринимал эту разнонаправленную тягу с пониманием, как легкое недомогание организма, и даже немного был к ней привязан: да, я вот такой, двойной, такая вот у меня интересная тяга. Раньше, еще до фронта, расслаживаясь в портовых притонах и сомнительных бильярдных, где можно было получить в лоб без заявки, он ловил наслаждение, почти чувственное, от грязных липких стаканов, от кислого запаха шлюх с выбитыми зубами, от переливающейся вокруг него бритвенной посверкивающей опасности, но и оттого, что дома, на Кузнечной, его ждала теплая ванна и чистые подштанники.

— Ванна! — войдя в кухню и оглядываясь с удовольствием, сказал Иуда. — А цвет чая, кто понимает! — И, вспомнив своего недавнего кочевого товарища, добавил загадочные слова: — Мустафу бы сюда минут на пять-шесть.

— «Дарджилинг»... — умильно сказал Ефим Матвеевич про чай. — Остатки.

— Ванну сейчас или потом? — свежим голосом спросила Люба.

— А вот это уже совершенно неважно, — обнимая жену за плечи, сказал Иуда. — Важно, что мы вместе и всё будет хорошо.

Садясь за стол и усаживая рядом с собою Любу, Иуда вдруг до теплой тошноты ощутил фальшь сказанного. Будет хорошо? Вместе? Надолго ли? А где усатая теща с ее повидлом? Надо их всех, включая, возможно, и тещу, устроить в каком-нибудь безопасном месте, и пусть себе там сидят за каменным забором с чугунными пиками. Может, в Крым? Но там еще хуже и страшней. В Тифлис? А самому ехать в Москву. Не киснуть же здесь при коптилке до осенней старости, тем более что остатки доставленного на чайном клиппере «дарджилинга» уже на исходе. Итак, в теплую ванну, в супружескую постель — и в путь! А усатая теща пусть едет в другую сторону.

И был чай, и был бульон с лапшой, и была фаршированная шейка. И был вечер. И костлявыми дровишками топили печку — грели воду для ванны. И была ночь. И супружеская кровать с панцирной сеткой гудела и гукала: «У-у-а! У-у-а!» А наутро, за завтраком, был задан вернувшемуся с войны сыну главный вопрос: что сын собирается делать дальше?

— Вот ты вернулся, слава Богу, — сказал Ефим Матвеевич и взглянул вверх, в потолок. — Что ты собираешься делать дальше?

Иуда молчал, катал хлебный шарик по скатерти, потом улыбнулся жалостливо и снисходительно.

— Что собираюсь? — сказал Иуда. — Вот мы рождаемся, папа, растем-растем, нас купают, балуют, покупают нам миндальное печенье. И мы знаем, что завтрашнее утро наступит и что смерти нет. Потом всё меняется и становится с ног на голову. Всё!

— У нас тут тоже трудная жизнь... — вздохнул Ефим Матвеевич, развел руками и скорбно покачал головой.

Иуда снова помолчал немного, а потом сказал:

— Я собираюсь писать книжки. Печататься. Сделаться красивым, богатым и здоровым.

— И знаменитым! — твердо подсказала Люба.

— И знаменитым,— согласно кивнул Иуда.

Теперь вздохнула Фаня Иосифовна — глубоко и обреченно, как над могилой.

— Не надо, мама,— поспешно сказал Иуда и погладил полную руку матери.— Не пыхти, как пароход. Ну почему ты не родила двойню вместо меня одного? Тогда, может быть, всё было бы в порядке... Успокойся ради Бога, оставь все эти твои юридические планы и мне дай покой. Мне — покой, это главное! И тогда — ты увидишь — прилетит светлый ангел и поцелует тебя в щеку. Правда же, папа?

Ефим Матвеевич не стал ни опровергать, ни подтверждать: так было лучше. Совершенно ясно, что Иуда не пойдет учиться ни юриспруденции, ни медицине. Он собирается писать рассказы? Пусть себе пишет. Было бы еще хуже, если б он взялся писать стихи: это означало бы и кокаин, и постепенное одурение, вплоть до желтого дома. Теперь: если он, действительно, возьмется писать рассказы или хотя бы газетные статейки для заработка, он дома долго не просидит. Да и в Одессе он не задержится: скучно, тесно. Что же до самого Ефима Матвеевича, то ему, ребойне шелойлем, впору уже ухаживать за собственной грудной жабой, а не за чужим биндогом, пусть даже этот биндуг будет сыновним. Пусть мальчик едет, нечего ему мешать. Пусть скачет, пусть летит!.. Но вот только в кого он такой непутевый?

После завтрака, наскоро попрощавшись, Иуда убежал в город.

Одесса начинается с Привоза и кончается Первым еврейским кладбищем. Посередине разбросаны еще несколько достопримечательностей, которыми коренному одесситу следует гордиться: кафе Фанкони, тройка-четверка приличных бильярдных залов, Дюк.

Но оставим Дюка на его мраморной приступке. Если идти по Дерibasовской вверх, на углу Греческой и Екатерининской темнеет по левой стороне полукруглая подворотня. Электрические лампочки горят круглые сутки по обводу арки, а из самой подворотни доносится задумчивая граммофонная музыка композитора Сен-Санса, как будто эта интимно притемненная площадочка задумана Главным Проектировщиком не как место хулиганского мордобития, а как танцкласс для юных девиц из благородных семей.

В каменной стене подворотни устроена дверь, за дверью открывается глухой коридор, ведущий в бильярдное заведение «Порто-Рико».

Войдя в подворотню, Иуда Гросман увидел там автомобиль ярко-красного цвета, с откинутым верхом, с шофером угрюмого и угрожающего вида. Ни при каких обстоятельствах не хотелось обращаться к этому шоферу с расспросами или же за помощью, как к ближнему своему. На круглой стриженной башке этот человек имел морскую бескозырку, а сильную его, бугристую грудь обтягивала тельняшка. На тельняшке небрежно, внакидку сидел черный кожан — утренний морозец, как видно, вовсе не беспокоил водителя красного автомобиля.

Начищенное кожаное сиденье рядом с шофером было свободно: белолицый седок, минувшим вечером обогнавший Иуду на темной улице, находился, очевидно, в бильярдном заведении.

Вход туда был открыт не каждому. Крепкую дубовую дверь, высадить которую можно было разве что римским тараном, приоткрывал изнутри форменный силач с богатым уголовным прошлым. Этот силач, по кличке почему-то Рулон, оценивающе оглядывал и даже как бы обнохивал пришельца и решал, впускать ли его или же депортировать из подворотни. Впрочем, в бильярдную «Порто-Рико» случайные люди, как правило, не являлись, а постоянную клиентуру уголовный вышибала знал в лицо.

Иуда Гросман был ему знаком. Проехав по посетителю тяжелым взглядом, вышибала не спеша его пропустил и, прежде чем притворить за ним дверь, лов-

ко выглянул в подворотню проверить, как там, что. В подворотне, как и следовало ожидать, стоял красный автомобиль и шофер сидел смиренно, так что не о чем было беспокоиться.

Миновав глухой коридор с развешанными по стенам классическими пейзажами: горные тропи, солнечные леса,— Иуда очутился в обширном полутемном зале; там преобладали зеленоватые тона. Свет низко подвешенных прямоугольных люстр мягко освещал тройку отличных бильярдных столов, по зеленому сукну которых шары слоновой кости передвигались по-хозяйски уверенно, как слоны по африканской саванне. У одного из столов стоял спиною ко входу, с кием в руке плечистый молодой мужчина в темном, выше среднего роста. На звук шагов он резко обернулся и исподлобья уставился на Иуду Гросмана. Белое крупное лицо одинокого игрока окаймляла дикая черная борода.

— Это ты,— сказал игрок. — Вот ведь встреча...

— Здравствуй, Яка,— сказал Иуда.— А ты меня ночью чуть не задавил.

— Не задавил же! — сказал Яков и пожал плечами.— Ну здравствуй. Смотри-ка, цел!

— Цел и относительно здоров,— сказал Иуда и улыбнулся. — А вот Изя умер. Изя Мигдал — знаешь? Поэт.

— Знаю,— сказал Яков и совсем помрачнел.— Он умер от голода. Поэты не должны умирать от голода, как птицы не должны умирать от астмы... От голода! Здесь, где это вонючее море набито рыбой!

Яков Блюмкин не любил моря: волны и волны. Коренной одессит, он оказался человеком не воды, что было бы естественно для рожденного на морском берегу, а человеком вздыбленного камня. Куда более, чем однообразная до нервной зевоты морская гладь, по душе ему были горы с внезапными изгибами их долин и ущелий. Он и охоту однозначно предпочитал рыбной ловле, и отнюдь не по причине зверства и кровавости, как утверждали некоторые, а лишь потому, что рыба в своей водной стихии вовсе ведь не видна рыболову, томящемуся на берегу, и человек с удочкой, таким образом, не представляет ни на грош, за кем он следит и кого преследует, и напоминает слепого побирешку на церковной паперти. Человек же с ружьем, в тех же диких горах или в сибирской чащобе, точно знает, за кем он крадется и кого хочет убить: медведя ли, барса или козла-теке, и погоня радует душу, а риск напороться на клык или рог живительно греет кровь.

— Бедный рыжий Изя Мигдал,— сказал Иуда.— У него недавно вышел сборничек.

— Да,— сказал Блюмкин,— «Окоём». Я писал предисловие... Сыграем партию?

— Давай,— сказал Иуда.

— Ставь шары,— сказал Блюмкин.— Я разобью, если ты не возражаешь.

Иуда не возражал. Выкладывая треугольник на столе, он почтительно и со сладким страхом в душе думал о том, что вот этими небольшими аккуратными руками, смугло-золотистыми, негусто поросшими блестящими иссиня-черными волосками, Яка Блюмкин убил графа Мирбаха и еще Бог весть скольких людей. И ведь еще, по существу, мальчишка, моложе его, Иуды, лет на пять. Бывший ешиботник Яка Блюмкин знает не по слухам и не по рассказам, что ощущает человек, обрубающий цветущую жизнь другого человека. Вся литература мира на этом держится и стоит: жизнь и смерть, любовь, измена и убийство, убийство, убийство... А он, Иуда Гросман, убил гуся. Впрочем, убить человека — это еще не значит стать литератором. Яка Блюмкин всё же скорей убийца, чем поэт. Но — симпатичнейший убийца!

Изогнувшись в пояс, Блюмкин навис над столом мускулистыми плотными плечами и, отведя назад правую руку с кием, мощно пробил. «Свой» скользнул по нижнему правому шару треугольника, ткнулся в лузу и, ударившись о губку, отошел к дальнему борту. Глядя на наклонившегося Яку, Иуда рассмотрел на его

голове, в зарослях дикорастущих волос, белесый шрам шириною и длиной в палец. Намеливая бегемотовой кожи наклейку кия и мягкую перемычку между большим и указательным пальцем опорной левой руки, Иуда, немного волнуясь, никак не мог решить, что же послужило причиной возникновения блюмкинско-го шрама: сабельный удар или скользнувшая пуля. Ясно было одно: увечье получено не в результате падения с велосипеда.

— Это, что ли? — проведя ладонью по голове, спросил зоркий Блюмкин. — Это петлюровцы. И зубы вышибли... Ладно, играй.

— Шаров много, а играть нечего, — шурясь и оглядывая зеленое поле, сказал Иуда.

— А ты поплачь, — без улыбки предложил Блюмкин. — Шар слезу любит.

— Дай-ка сыграю «дуплета», — сказал Иуда. — От двух бортов к себе в середину... Черт! Ведь был уже там! Ножки свесил!

— Тут луза строгая, это тебе не Марья Иванна, — не без суровости заметил Блюмкин. — Ты ведь рассказы писал?

— Почему «писал»? — поджал губы Иуда. — Пишу.

— Ну да, конечно, — сказал Блюмкин. — Извини... Ты с какого фронта?

— С польского, — сказал Иуда и взглянул настороженно: в этом «с какого фронта» он расслышал командирские нотки. — Грязь, распутица.

— Запад, Запад... — сказал Блюмкин и почему-то вздохнул. — А я — в Голан. Персидская красная армия — слышал? Вот, еду принимать.

— Командармом? — изумленно опустил кий Иуда Гросман.

— Комиссаром штаба, — сухо поправил Блюмкин. — Ты играй, играй!

— В дальний угол чужого, — заказал Иуда.

— Сукна много, — усомнился Блюмкин. — Тут целкость снайперская нужна.

— И надолго ты в Персию? — спросил Иуда.

— На Восток, — почему-то поправил Блюмкин. — Хан-Тенгри, Лобнор, Урга.

— Брюгге, — возразил Иуда. — Шварцвальд, Монтрё.

— Аннапурна, — нахмурился Блюмкин, — Тьянг-Боце, Лхаса.

— Женева, — упорствовал Иуда, — Сен-Бернар, Лаго-Маджоре.

— Гоби, — уставившись исподлобья антрацитовыми глазами, пригрозил Блюмкин, Кара-Кель, Бартанг. Шамбала!

— Ладно, — сказал Иуда. — Хорошо. Ты прав, Яка. Сдаюсь... Свояка в середине.

— Вот так мы устроены, — удовлетворенно сказал Блюмкин. — Кто на Запад, кто на Восток... А ведь один народ!

— Ну, в общем, да, — с сомнением согласился Иуда. — И всё же мне каштан ближе, чем пальма.

— А мне — нет! — покачивая головой, сказал Блюмкин. — Во мне закваска азиатская, в моем дворе пальма больше к месту, чем бузина. И эта твоя Европа мне до печки. Понял разницу, Гросман? Авраам из Ура был кочевник и немного бандит с большой дороги, а не торгош с кошелкой. Вот и я тоже кочевник... Тяну «своего» в угол.

— Вот поэтому-то мы один народ! — выживая шар из лузы, сказал Иуда. — Где бы ни встретились два еврея, они начинают разговор с Авраама из Ура. Это — наше, а то, что сейчас, — это не наше... Думаешь, Персия тебе ближе, чем Тамбов?

— Думаю, ближе, — сказал Блюмкин. — Там и пальмы растут.

— А, — сказал Иуда. — Когда я был маленький, мне всё время снился князь Давид Реувейни. Мы, знаешь, подружались. Даже собирались вместе отвоевывать Иерусалим.

— Понимаю, — сказал Блюмкин. — Дай мелок... Что ж тогда тебя в Европу тянет? От Персии до Палестины рукой подать, а от Брюгге твоего за месяц не доскажешь.

— Я, пожалуй, на скачки эти лучше погляжу с трибуны,— помедлив, сказал Иуда.— Меня книжки тянет писать.

— Меня тоже,— как бы к шару обращаясь, сказал Блюмкин.— Но мне, между прочим, двадцать лет. Я еще лет десять постреляю, а после тридцати уже займусь литературой. Всерьез.

— Да, вот забыл тебя спросить,— сказал Иуда.— Ты Мустафу такого не помнишь случайно?

— Какой-такой Мустафа? — озадачился Блюмкин. Он не любил забывать, забывчивость считал знаком бракованной души.

— Татарин,— напомнил Иуда. — Или калмык. Кочевник. Он в Питере к тебе был приписан. Лысый.

— А, лысый! — с облегчением вспомнил Блюмкин.— Да, был такой. Верный человек. Мустафа. Исполнитель.

Исполнитель Элаев Мустафа доел ливерную колбасу, кинул шкурку в угол караульного помещения и вышел вон, на мороз. Водку Мустафа, в отличие от других исполнителей, не пил ни перед исполнением, ни после исполнения приговора. За семидневку накапливалось этой казенной водки немало, хорошо накапливалось, и Мустафа в неделю раз сливал причитающееся ему по закону в бидончик и нес домой, в полуподвал, на Пречистенку. Там, в полуподвале, он распивал проклятую с товарищем своим Серегой, дворником, и, погрузившись в мечтательную атмосферу, пел кочевые песни, составленные из нескольких всего лишь слов — пяти-шести. Серега ему подвывал душевно.

Пройдя через промерзший и скользкий тюремный дворик, Мустафа толкнул тронутую ржавчиной железную дверь, ведущую в подвал, и привычно, почти бегом спустился по грязным, выщербленным ступеням. Внизу, в тесной проходной комнатенке, было тепло и несколько промозгло, сыровато. На койке-канадееке спал, разувшись, солдат в шинели, из его сапог, стоявших посреди помещения, свешивались серые ленты портянок. На столике, прислоненном к стене у второй двери, помещались литровая водочная, без этикетки, бутылка с узким горлом и буханка ржаного хлеба с отщипнутой горбушкой. Там же, на столе, лежала толстая тетрадь в картонной обложке с привязанным к ней шпагатом чернильным карандашом. Мустафа, полистав, открыл чистую страницу, посплюнул карандаш и вывел с нажимом, старательно: «12 декабря 1929 года. Элаев М.». Потом, сев на табурет у стола, принялся празднично ждать.

Он знал, что ждать придется недолго, что работы сегодня много. Знал и другое: среди сегодняшних его подопечных — бывший его командир, старый знакомец, троцкистский агент, ездивший к самому Троцкому за инструкцией на какие-то острова. Всё это, по сути дела, знать Мустафе совершенно не полагалось, но среди немногих людей, чувствующих себя в расстрельном подвале как дома, секретные тайны были не в ходу: все знали всё или почти всё. Да и не так уж много было этого всего — одни имена. А кому они тут в интерес, эти имена? Что тот, что этот — нет разницы, все одинаковые. Ни от одной головы пуля еще не отскакивала.

Но с этим, с троцкистским агентом, было иначе. Не то чтобы Мустафа, не дай Бог, его жалел — это нет. И не в том тут совсем было дело, что лысый Мустафа вообще не знал жалости — знал, и еще как знал! И детишек беспризорных жалел, и калек безруких-безногих, птицу тоже мог вполне пожалеть с перебитым крылом. Но это теплое и хорошее чувство ему и в голову бы не пришло применить по отношению к этим, на уровень чьих немых затылков он поднимал свой пистолет в подвальном коридоре за порогом теплой комнатенки. К этим он ничего не испытывал — ни любопытства, ни жалости. Он не слышал в полутемном коридоре, в шаге перед собою живой души и стрелял как бы по фанерной мишени. Иногда на Пречистенке, когда пил водку с Серегой и пел кочевые песни, Мустафа вспоминал посреди душевного отдыха свою подвальную работу и

этих, которых нынче или же давеча привел в исполнение. Вспоминая, жевал губами и покачивал головой: вот ведь как устроена наша жизнь! Живем-живем, и ничего после нас не остается на белом свете. Вот от водки хоть бутылка остается, стоит себе в тумбочке или на полочке, постное масло в нее можно налить или цветочек какой-нибудь сунуть. А от нас? Жил-жил — а как и не было. Камень, тот лежит при дороге всегда, солнце его греет, на нем муха, под них жук. Человек придет, сядет-посидит или малую нужду на него справит. Полезный камень останется, а человек пропадет. А если его и вспомнит какой-нибудь дурак через сто лет, так от этого никому лучше не станет.

Дверь легко приотворилась, в комнатенку заглянул разводящий — белобрысый парень в обмотках на молодых ногах.

— Давай, Мустафа! — нетерпеливо сказал разводящий. — Ведут!

Блюмкин знал, куда его ведут, знал этот коридор. Вот где-то здесь, справа, должна быть комната исполнителей. От главного коридора ответвляются четыре или пять тупиковых, узких, как штольни, но туда редко кого доводят: там темно, пол в буграх, можно шею сломать... Блюмкин стал считать шаги: раз, два, три. Сколько их еще у него? Зря, зря, зря поехал он на Принцезы острова, на эту встречу. Всё кончено, всё кончилось. А ведь на будущий год, в марте, как исполнилось бы тридцать, решено было бросить и разведку, и политику и сесть писать книгу стихов. Писать — и всё, и только! Вот ведь никогда нельзя подравниваться к датам: март, апрель. Не будет никакого марта, и тридцать не исполнится. До тридцати осталось — сколько? Сегодня что у нас? Декабрь, январь...

Считая и путаясь в спешке, Блюмкин не успел расслышать, как за его спиной, подымая пистолет на уровень затылка и прицеливаясь, пристроился и легко зашагал Мустафа.

— «Зайчики» в дальний угол, — прицеливаясь, заказал Блюмкин. — Откуда ты его взял, этого Мустафу?

— Я с ним в госпитале лежал, — сказал Иуда. — Кишку у него зацепило. Вот-вот выйдет.

— Может, еще пригодится, — безразлично сказал Блюмкин и почесал юношеским ногтем переносицу — там, где слетались брови. — Но ты мне лучше вот что скажи: пишется? Дай я тебе хоть позавидую.

— Привез с фронта кое-что, — уклончиво сказал Иуда. — Десятка два сюжетов. На сборник наберется.

Он сам еще не знал, что напишет. Отсюда, из приморской бильярдной, все эти красные витязи в островерхих шлемах, эти звероподобные мужики, эти поляки и махновцы, эти головорезы атамана Егорки и грабители атаманши Верки казались сказочными существами: ведьмами и ведьмаками, серыми волками, Иванами-дураками, хитрыми стариками с их вредными и тупыми старухами, легконогими зайцами, празднующими труса, — безусловными героями фронта и прифронтовой полосы. Сейчас они уже не могли дотянуться до него, Иуды, штыком-молодцом, или достать пулей-дурой, или просто съездить по морде, дать по очкам. И насколько мерзко и страшно было смотреть на них там, на фронте, настолько увлеченно тянуло описать их сейчас в их сказочных ярких тонах. Они будут похожи на роскошных бабочек и стрекоз с железными когтями и стальным клювом — вот на кого они будут похожи. Бабочки — эти павлиньи махаоны, парчовые адмиралы и панбархатные крапивницы — порхают меж зеленью луга и синевой неба и всецело им принадлежат. Кому принадлежат провонявшие конским и собственным потом разбойники в алых атласных портках, с павлиньими перьями в сальных кудрях? Богу? Да, конечно, Богу — как всё: как змеи, ехидны и скорпионы. Но ближе всего они принадлежат смерти. Они принадлежат ей, как камень, выпущенный из рогатки, принадлежит земле: мимо земли он не пролетит, а если и поразит кого, так упадет на землю вместе с пораженным. Смерть в черной круглой шляпе погоняет их, не дает отбиться от стада и уйти далеко. Их улыбка, открывающая отменные зубы, спо-

собные загрызть волка,— это улыбка смерти. Их рыскающий требовательный взгляд — это взгляд смерти.

— Целый сборник,— сказал Блюмкин.— Хорошо...— А потом спросил без особого, впрочем, интереса: — Война?

— Смерть,— сказал Иуда.— Какая-то воронка смерти. Всех, кто там есть, засасывает. Но ты же знаешь...

— Да, знаю,— согласился Блюмкин и, выпрямившись, оперся о кий, как о копье.— Рождается ребенок, растет, вякает, болтает чепуху, на него надевают красную шапку с помпоном... А какое-то время спустя пуля — совершенно посторонний предмет — сечет его нежное мясо на польском фронте.

— Щеки,— опираясь о кий по другую сторону стола, сказал Иуда.— Главное — щеки. Шапка с помпоном натянута на голову, на круглые холодные щеки, похожие на половинки красного яблока. Помнишь?

— Вот-вот,— сказал Блюмкин.— Помню.

Слишком еще близко было то время — с круглыминалитыми щеками, с леденцовым петухом на белой деревянной палочке,— слишком различимо за плечом, чтобы вспоминать его со сладкой улыбкой и добрым покачиванием головой. Это потом придет к двадцатилетним генералам время воспоминаний — если доживут. А кто и не доживет.

— Я, знаешь, с тех пор одну вещь помню, никак забыть не могу,— сухо продолжал Блюмкин.— Бред, смех: мечтал, как о мессии, о пуле Наполеона. Достать эту самую пулю из его пистолета, носить ее с собой, греть в кулаке и от нее греться. Талисман, понимаешь? Голодный, рваный — мечтал... Глупо! — И, помолчав, добавил: — Я бы за нее и сейчас отдал немало.

Иуда уловил эту подчеркнутую сухость в блюмкинском голосе. Ему и самому детство представлялось наспех просмотренной страницей, возвращаться к которой нет ни малейшей нужды. И в литературе он детей терпеть не мог, полагая, что описывать их потешные выходки и воркование — дело для серьезного писателя непристойное. Вон Сашка Христос, подхвативший в четырнадцать лет дурную болезнь от старухи-калечки,— ребенок? Или тот сопляк из штаба эскадрона, рассыльный, который в Курятичах на руках бегал: «Ты, Рухля, сколько пропустила? Ты, Рухля, шестерых пропустила!» И сам подстраивается. Такого клоуна тогда же и прибить бы, пристрелить к трепаной матери, а то ведь он, может, до сих пор бегаёт. Пристрелить! — тоже красивый конец главы и назидательный: добро торжествует над злом, сопливый насильник валяется с дыркой в голове, Рухля спасена от позора. Что ж не пристрелил мерзавца? А было важнее посмотреть, как он вскочит на несчастную эту Рухлю, запомнить, записать. Надо это написать: местечко, Рухля, шестеро в очереди и малолетка со слюнявым ртом, с рыбьими глазами.

— Странно как-то,— сказал Блюмкин, возвращаясь к столу.— Раньше всё делилось на черное и белое, а теперь на красное и белое. Что ж, красное, выходит, стало вместо черного? Это вообще-то не годится.

— Ну анархисты тоже черные,— сказал Иуда.

— Я про другое,— отряхивая руки от мела, сказал Блюмкин.— Да и анархисты погоду сегодня не делают... Ладно, поговорим об этом как-нибудь.

— Кончили? — спросил Иуда, показывая на разбежавшиеся по столу, по леному сукну шары.

— Да,— не извиняясь, осведомил Блюмкин.— Ехать надо. Дела. Вечером в «Верлибр» не заглянешь? Там все будут.

— Обязательно,— сказал Иуда.— Ну счастливо тебе!

Через минуту из-за двери, из подворотни донесся опасный рев красного автомобиля.

День выдался солнечный, сухой, прохладный. Булыжники мостовой звенели под каблуками Иуды Гросмана, и эта музыка создавала легкое, праздничное настроение. Нет, предпраздничное. Нет, праздничное.

Иуда Гросман шагал посреди мостовой, его тянуло подпрыгивать, перескакивать с камня на камень, как с клавиши на клавишу. Он и подпрыгнул, и перескочил, придирчиво вслушиваясь в знакомые с детства звуки, а потом огляделся по сторонам: не видел ли кто, не пялит глаза, как на сумасшедшего?

Самое главное, что не было больше войны. Война помещалась как бы в ином измерении, она никак не соприкасалась с Одессой — ни степными дорогами, ни небесным гулким пространством. Смерть гнездилась и здесь, под зелеными крышами городских домов и в темных переулках окраин, но то была домашняя, уютная смерть, а военная, отчаянная или случайная, погибель, неистребимая грязь, вши и голод, голод отлетели от Иуды Гросмана. И приятная тяжесть желудка служила тому доказательством.

Литературное кафе «Верлибр» располагалось на Приморском бульваре, в подвале старого кирпичного дома, почти без потерь выдержавшего напор смутного времени. Это было скорее даже и не кафе, а кабачок, кабак со случайной мебелью — столами, стульями, диванами, — напоминавший всем своим обликом воровской опасный притон или воспроизведенную по литературным цитатам бандитскую малину. Вон там, в притемненном уголке, за будуарным столиком под малиновой бархатной скатертью с кистями, должна была бы сидеть Мурка в кожаной тужурке и с наганом. Но не было никакой Мурки, гости не испытывали стеснения и чувствовали себя весьма привольно. Между столиками разгуливали милые девицы, одетые в костюмы «ласточка»: белые корсажи, голые ноги, черный прямой хвостик из накрахмаленной саржи. Девицы разносили горячительные напитки в разномастных рюмках, стопках и фужерах и охотно переговаривались с гостями, как с хорошими приятелями. Под низким сводчатым потолком, выкрашенным фиолетовой краской, стлался сизый дымок. Не нужно было быть ботаником, чтобы обнаружить в этом дымке запахах паленой веселой травы. Но и кокаин тут был в ходу, и длинноногие ласточки, двумя пальцами выуживая пакетики с порошком из-под корсажа, из укромного места, деловито снабжали ими желающих. Хозяин «Верлибра» Мона Копенгаген, средних лет толстячок с грустными глазами много повидавшего на своем веку человека, сидел за отдельным столиком у самой эстрады. Тяжелые плечи Мони складчато обтягивал белый смокинг, в петлице рдела крупная роза. На столе перед Монею стоял стакан молока. С гостями, входящими в зал из коридора, из-за гобеленовой портьеры, Копенгаген раскланивался кивком головы, не подымаясь со своего места. Кивки рознились глубиной и скоростью наклона — в зависимости от близости и душевного расположения хозяина к гостю.

На эстраде завывал хор цыган. Звенели гитары, бубнили бубны. Цыганки, перебирая плечами и лениво вскидывая костлявые колени, расхаживали. Увлеченная своими разговорами публика не слушала цыган и на эстраду не глядела. Ждали скорого начала вечера, ждали поэтов и стихов. Цыгане здесь были ни при чем, как пришей кобыле хвост. Но почему-то именно цыганами, а не румынами или греками заполняли пустоты таких вот вечеров; так было принято, и раздражения или вопросов по этому поводу не возникало. Не пустовать же эстраде, в самом-то деле.

Иуда Гросман добрался до «Верлибра» в десятом часу вечера. Откинув портьеру и поймав довольно-таки формальный кивок Мони Копенгагена, Иуда с порога оглядел зал. В полутьме, как медузы из глубин, всплывали знакомые лица. То там, то здесь Иуде приветственно махали из-за столиков, приглашая в компанию. Это было приятно, празднично. Войны не было, она растаяла, как ледяная глыба, от нее осталось лишь мокрое бесформенное пятно. Была иная жизнь, литература, ласточки с открытыми спинами, свежая постель, и мерцали впереди серебристым ясным светом признание и слава.

С близоруко прищуренными глазами и вытянутой шеей протискиваясь между столиками, Иуда вдруг споткнулся: сидевший у прохода коренастый молодой человек малого роста, с красивой львиной головой подставил ему ножку и одновременно, не давая ему упасть, подхватил под локоть крепкую рукой.

— Товарищ, вы были на Борнео? — спросил молодой человек, требовательно глядя.

— Я не был на Борнео, Юра! — смеясь и злясь, сказал Иуда Гросман.

— Тогда садись, — сказал Юра, — хотя мне неприятно до крайности, что ты не был на Борнео.

Юра писал удивительную, странную прозу и сам слыл человеком странным. Иуде Гросману это не мешало, он знал Юру давно и испытывал к нему ровную, устойчивую приязнь. Это Юра придумал: «Да здравствует мир без меня!»

— Зато я жив, как видишь, — садясь, сказал Иуда, а потом поправился: — Как видите...

Рядом с Юрой сидела на краешке венского стула худощавая, узкая девушка в черном, с черною челкой, низко падавшей на брови. Она сидела совершенно прямо и неподвижно, облокотясь тонкою рукою о столешницу и уложив подбородок в раскрытую ладонь, как в вазочку.

— Ах, да! — сказал Юра. — Это Оля. Она — орхидея с острова Борнео. Я разрешаю тебе смотреть на нее.

— Спасибо, — сказал Иуда. — Ты настоящий друг. Может, я посвящу тебе рассказ о санитарке Ленке, которая, правда, тоже не была на Борнео.

— Тогда не надо, — сказал Юра. — К черту. Не посвящай.

— Итак, я жив! — повторил Иуда Гросман. — Представь себе...

— Я тоже, — перебил его Юра. — Вот Оля не даст соврать.

— Вина! — попросил Иуда у проходившей ласточки. — Грузинского, красного.

— И ямайского рома, — добавил Юра. — Из бочонка.

— Я ж вам уже говорила, — хохотнув, как удачной шутке, сказала ласточка. — Нету! Нету рома!

Оля, не двигаясь, иронически повела бровями: рома, естественно, нет. Откуда ему тут взяться? Конечно, нет рома.

— Тогда барбадосский! — не отступил Юра. — Барбадосский — есть?

— Нет, нет у нас никакого рома! — зашлась вполне счастливым смехом ласточка. — Ни-ка-ко-го нет!

— Хорошая девочка, — сказал Юра ласточке. — Оставь адресок моему другу, он лю-ютый!

— Откуда ты знаешь? — изумленно спросил Иуда.

— От птицы-секретаря в атласных панталонах и золотых очках, — сказал Юра. — Цыгане уходят, начинается новая жизнь. Я хочу быть цыганом в косоворотке.

Цыгане, допев, гуртом спускались с эстрады. Зал был полон уже до краев, десятки пар глаз то и дело нетерпеливо поглядывали на опустевшую эстраду, как будто ожидали появления интересного чуда: бородатой женщины или стройного ангела с розовыми напудренными крыльями. Вместо этого под одобрительный гул зрителей на сцену поднялся неопрятный угрюмый мужчина в турецкой феске с кисточкой.

— Феска, — сказал Юра и выпил рюмку водки. — Это интересно. Будет драчка.

А Оля нежданно-негаданно улыбнулась свежими губами и переменяла руку под подбородком.

— Вы все дураки, — начал Феска ворчливым и глухим голосом. — Вы ничего не смыслите в стихах. Ясно?

— Жалко, Блюмкин еще не пришел, — наклонившись к Юре, сказал Иуда. — А то б он его застрелил.

— Я буду читать сонеты! — с неожиданной яростью заявил Феска.

— Блюмкин? — переспросил Юра. — Да, я слышал, что он в Одессе.

— Он едет в Персию, — сказал Иуда. — Может, это секрет.

— Блюмкин — душегуб отменный, — сказал Юра. — Я бы хотел с ним пообщаться.

- А вы разве не знакомы? — небрежно спросил Иуда Гросман.
 — Шапочно, — сказал Юра. — Походя и мимоходом... А вы что, дружите?
 — Отчасти да... — сказал Иуда. — С ним трудно дружить, он человек в себе.

Но — сильный! Интересный!

— Ты хочешь сказать, — по-птичьему покосился Юра, — что лучше быть его другом, чем врагом?

— Нет, не это! — отмахнулся Иуда. — Что он — застрелит меня, что ли? Гранату бросит? Ну бросит... Просто он знает тьму вещей. И такие, как он, кстати, делают сегодня историю.

— Ну и что ж, — сложив руки в замок, сказал Юра. — Ему свое, и нам свое. Не так ли?

— Блюмкин — власть, — сказала Оля, и вдруг обнаружилось, что голос у нее низкий, с приятной хрипотцой. — Захочет — расстреляет, не захочет — не расстреляет. Ну и по мелочам... Вот вы все к нему и липните.

— Ай да Оля! — откинув голову, захохотал Юра. — Она говорит мало...

— Но она говорит смачно, — улыбаясь и удовлетворенно покачивая головой, продолжил Иуда Гросман. — И хочется, чтобы она сказала еще что-нибудь.

Оля молчала, как будто сказанное Иудой было предназначено человеку за соседним столиком и никак ее не касалось.

Тем временем на эстраде появился кукловод со своей ширмой.

— Да что они тянут! — сердито сказал Юра. — То сонеты, теперь куклы... Что значит «по мелочам»? Во-первых, расстрелять — для них тоже мелочь, а во-вторых, мелочей вообще не существует в мире. Кто осмелится сказать, что перо колибри — это мелочь?

— Нет, не мелочь, — согласился Иуда.

— Блюмкин — это лев, — глядя на фиолетовых, желтых и алых кукол, выскакивающих из-за ширмы, как чертенята из сундука, сказал Юра. — Волк, тигр и лев.

— Не лев, а дракон, — вынув подбородок из ладошки, сказала Оля. — Хочу с ним познакомиться.

— Человека тянет подышать одним воздухом со львом, — сводя и разводя пальцы рук, сказал Иуда. — Это опасно, это смертельно опасно, но человек хочет почувствовать себя немного львом.

— Да не львом, а драконом, — упрямо повторила Оля.

— Что-то она сегодня разговорилась! — озабоченно сказал Юра и развел руками над столом.

Куклы были одеты в костюмы, сшитые из ярких шелковых лент: девки и парни, женщины и мужчины и один лысый старик с имамской бородой и с кинжалом. Лица кукол были карикатурно носаты, щеки имели свекольный оттенок, а глаза лысого старика опасно сверкали. Куклы приплясывали и пели песню о бесшабашном бандитском житье-бытье, о прелестях и опасностях воровской профессии. При каждом их движении широкие шелковые ленты вздрагивали и струились, словно бы лимонный, розовый и бирюзовый огонь, спеша и спотыкаясь, пробежал по кукольной одежке.

— Знаешь, ведь это неважно, что они там поют, — глядя на кукол с приязнью, сказал Иуда. — Любой текст можно им дать — только хороший, точный... Вот этот, в красных штанах — начдив-шесть, вон Трофим, Гундосый, Рохля из Зверятчей. А это Марусичка.

— Твои, что ли? — строго глядя, спросил Юра. — Армейцы?

— Ну да, — сказал Иуда. — В малиновых портках. Поют, пляшут.

— Но это же шпана! — шепотом воскликнул Юра. — Шпана с Привоза!

— Ну да, — откликнулся Иуда Гросман. — Сказочная, Юра, великолепная. Ты только погляди на его шапочку с пером, ты только взгляни! Так ведь в жизни не бывает, это все — сказка, антижизнь. И война — антижизнь.

— И шпана — антижизнь, — добавила Оля.

— Да, и шпана,— кивнул Иуда.— Чтo может быть мерзей? Описывать весь этот гной — нет, спасибо! Тем более все уже описано, что только возможно,— и война, кстати, тоже: третий взвод, пятая батарея,— все расставлено по своим местам, все разложено по полочкам. Огонь, пли! Красные — хорошие, белые — плохие. Или наоборот... Сказку надо писать об этом, сказку! И тогда — дойдет.

— Кащей Бессмертный с Серым волком тоже не были первыми учениками из церковно-приходской школы,— усмехнулся Юра.— Зло ярче, если оно сказочно... Интересная идея!

— А Иванушка-дурачок! — сказала Оля.— Он такой милый. И ездил на Сером волке верхом... Ты — Серый волк! — заключила она, указывая в Юру тонким детским пальцем.

— Но тут все дело в кукловоде,— продолжал Иуда.— Он ведет своих героев, он шепчет, он ревет. Он лукаво ухмыляется за своей ширмой. Он — творец!

— Я позову его к нам,— сказал Юра.— Хочешь? Мы немного знакомы.

— Смотри, смотри! — указывая рукой, воскликнул Иуда Гросман.

Из-за ширмы медленно поднимался Черный ангел. Белое тонкое лицо молочно сияло на фоне черного кружевного капора. Одна рука была скрыта под шелковой черной накидкой, другая, вытянутая вперед, направлена была в зал, и распахнутые черные крылья, редко увитые нитями грошового жемчуга, нетерпеливо вздрагивали. Черный ангел медленно отвернулся от зала, рука его уставилась в сбившихся в пеструю кучу блатарей, налетчиков и веселых барышень, и в грубияна с бородой, и в начдива Савицкого, и в раскоряченную Рохлю из Зверятчей, и в при базарную Марусичку из Житомира, и в военного Блюмкина, и в самого Кирилла Лютого в круглых очочках. Черный ангел повелительно повел рукой, и все они, все до единого скорбно и послушно исчезли за ширмой. Представление закончилось.

Иуда Гросман, вертя головой, оглядел зал, ничуть, казалось, не озабоченный явлением Черного ангела. Ласточки порхали от стола к столу, и гости прохаживались. Откинув портьеру, сбежал по ступенькам Блюмкин, мрачный, как Блок, и, уклонившись от поднявшегося ему навстречу Мони Копенгагена, стремительно прошел к дальнему столику. Там, сидя в одиночестве, он принялся изучать зал. Голова его была откинута назад, брови нахмурены; он глядел исподлобья. Нащупав взглядом Иуду Гросмана, Блюмкин помахал ему рукой.

А кукловод тем временем собрал свою ширму и не спеша спустился с эстрады.

— Сейчас! — сказал Юра и пошел к кукольному по тесному проходу.

Он вернулся тотчас, ведя за собою пожилого плешивого еврея в вытертой бархатной жилетке, в несвежем белом шарфе на индюшачьей шее.

— Это Зяма,— сказал Юра, придвигая гостю стул.— Главный кукловод.

— Нет-нет, что вы! — возразил Зяма, улыбаясь смущенно и одновременно радостно.— Главный Кукловод — там! — И он указал пальцем, вытянутым, как пистолетный ствол, в потолок, и в крышу, которая над потолком, и в небо, которое над крышей.— Главный Кукловод сидит на небесном пеньке, и ест печеного леща, и складывает косточки в горку.

— Скажите, Зяма,— спросил Иуда Гросман, приветливо глядя,— зачем еврея Черный ангел?

— Это вы Его спросите,— сказал Зяма и снова указал пальцем в потолок.— А я что? Я раскладываю ширму, складываю ширму. Пою. Говорю... И вот однажды Мендель, мой балагула, ну этот, в лиловых шароварах, высунул голову из-за ширмы, и какой-то босяк выстрелил из револьвера и отбил ему эту самую голову. Еще чуть-чуть — и он бы попал в меня, прямо в лоб. Ну, что вы на это скажете?

— Не надо высовываться,— сказал Юра, пожимая широкими плечами.

— Да, верно,— согласился Иуда Гросман.— Но — так иногда хочется!

— Это по молодости лет,— кивнул Зяма.— Пройдет... Можно я ваш фужерчик возьму, а то некуда налить?

— Хорошо писать, Юра,— это тоже высовываться,— сказал Иуда.— Так что же — писать плохо? А? Чтоб никто не заметил?

— В каждом деле свой риск,— снова пожал плечами Юра.— Боксер, например, получает по морде. Нам хуже: у нас ни ног, ни груди — одна морда. Морда от пяток до макушки. Тут не промажешь.

— Я высунусь,— помолчав, негромко сказал Иуда.— Пусть стреляют. Может, все же промахнутся.

— Может, может,— не стал спорить Зяма.— В конце концов Черный ангел почти все время сидит себе в сундуке.

— Отмените его, Зяма! — попросил Юра.— Ну что вам стоит?

Они и не заметили, как на эстраду поднялась седая женщина средних лет в длинном платье и, не представившись, принялась читать поэму, состоящую из одних гласных:

Ооо-ууу-ааа...

За столиками слушали внимательно, понимающе покачивали головами. Иные, закрыв глаза, вполголоса повторяли вслед за поэтессой красивые звуки.

Прочитав поэму, седая женщина, не дожидаясь благодарности зала, сошла с эстрады, с недовольным видом уселась за свой столик, легко закинула ногу за ногу и закурила. Она была обута в опорки из леопардовой шкуры.

— Мне понравилось,— сказал Юра и решительно выпил.— Особенно сюжет. Я почти уверен, что она недавно вернулась с Борнео.

— Из желтого дома она вернулась,— сказал правдолюбивый Зяма.— Вчера она читала «Голос собаки динго» — вот это был номер!

— Лаяла? — сочувственно спросила Оля.

— И выла,— дал справку Зяма.— Лаяла и выла.

— Через пять лет я тоже буду знаменитой,— ровно сказала Оля.

Оля почему-то запомнила этот вечер, случившийся в ее жизни пять лет назад ранней весной, запомнила случайного Юру, и Иуду в круглых очках, и плешивого кукловода. Подымаясь по каменистой тропе тибетского нагорья — монастырь Тьянг-Боche остался далеко позади, справа под ногами расстилось глубокое ущелье, покрытое островками низкорослых жестких кустов,— она видела перед собою тот зал, ту эстраду под низким сводчатым потолком. Вот только Черного ангела она забыла напрочь.

Непривычная одежда местных женщин сковывала движения и немного раздражала — даже сейчас, накануне конца этого двухмесячного пути, упирающегося в цель, в мишень. Приволакивая ноги в тибетских чунях, сшитых из ячьей шкуры, Оля завидовала Резиденту, шагавшему далеко впереди, этому дракону, словно бы рожденному в оранжевой хламиде буддийского ламы, с мешочком цзампы у пояса. Он не шел — он как бы летел над тропой в прохладном воздухе высокогорья, и хламиды развевалась... В разведупре, в Москве, многие так его и звали: Лама.

Зачем Блюмкин взял с собой в горы, в эту безумную экспедицию Олю, это оставалось загадкой и для нее, и, как она догадывалась, для самого Блюмкина. Какой-то темный, главный, страшный секрет мерцал за всем этим предприятием. Иногда, греясь у очередного костерка и слушая рассуждения Ламы о неизбежности великой мировой революции, Оля думала, что они ищут на тибетских крутизнах необходимый для окончательной революционной победы клад — золото или брильянты неведомых восточных владык, может, даже Чингисхана. Зачем Лама притащил ее сюда? Однажды, в подходящий момент, она спросила его об этом.

— Мне скучно одному,— обидно объяснил Лама.

— А я думала, ты ко мне хорошо относишься...— сказала Оля.

— И это тоже,— улыбнулся Лама счастливой улыбкой.— А не то взял бы другую.

Вот и весь ответ. И бесполезно было спрашивать дальше.

Вообще-то прежде всего было необъяснимо, почему Оля до сих пор жива. Тут дело было не в опасностях пути — всех этих обрывах и пропастях, голово-

ломных тропах и гнусном зверье, которым кишмя кишели сырые низовые заросли. Дело в том, что нормальный русский человек, гуманный, не мог все-речь существовать в этих запредельных краях. Его уделом здесь непреложно являлась скорая смерть от совершенной несовместимости с окружающим миром. И красивая плоть, теплая, с ее нежными золотистыми волосинками, обратилась бы в кучку падали, годной разве что птицам на расклев.

— Чаша Грааля, философский камень, — глядя в огонь, сказал Блюмкин, — знаешь про это? Так вот, это всё чушь, бред. Это всё для плохих сочинителей. Шамбала — вот клинок будущего! Шамбала здесь, рядом.

— Там клад? — спросила Оля. — Дворец?

— Там люди, — сказал Блюмкин. — Головы, мозги. Клад, ты говоришь? Да, клад! Эти люди сохранили знания прошлых, разрушенных цивилизаций. Они передадут их нам, и вот тогда-то мы построим наш, новый мир на земле.

— А если не передадут? — тихонько спросила Оля. — Нет — и все!

— Передадут, куда они денутся! — строго, без улыбки глядя, сказал Блюмкин. — Мы их заставим. Ведь это нужно всем, всем людям — для справедливости, для счастья. Понимаешь?

Оля молчала, беря веткой угольки в костре.

— Технические открытия, философия, даже великая литература — все там, — глухо продолжал Блюмкин. — Древний Египет, Атлантида. Да что Атлантида! Отрезок истории, этап... Тайны неба, инопланетной жизни — вот Шамбала! И я заберу это у них.

— А если они все-таки не отдадут? — еще тише спросила Оля. — Ты будешь их пытаться?

— Да! — крикнул Блюмкин. — Да, черт возьми! Если так, все, что нам нужно, я вырву у них силой!

— Какой ты... — бросив ветку в огонь, сказала Оля. — Лама...

Назавтра они поднялись перед рассветом. Они видели, как первые солнечные лучи с востока нащупали ледяные головы гор, их снежные гривы. Небо, туго, без морщин натянутое над Тибетом, от первого света сделалось из черного густо-лиловым; далеко на западе сверкали, будто выкованные из платины, крупные звезды. Мощный лед горных вершин блистал рубиновым, сапфировым, изумрудным цветом. Было холодно, прозрачные льдинки позванивали в узком, туго закрученном ручье.

Блюмкин, наклонившись над водой, сполоснул лицо и вытер его полою своей оранжевой рясы.

— И я, и шамбалиец оный,

— полуоборотясь к Оле, прочитал Блюмкин, —

Обиду сможем перенести,
Хотя высок пред пешим конный
И с лошади прискорбно слезть.

Они шли весь день без отдыха и к закату вышли на перевал. Поднявшись на гребень, Блюмкин окаменел на миг, как будто пуля его остановила тычком. Оля подошла к нему и встала рядом.

За гребнем зиял розовый провал. На дне ущелья, далеко-далеко под ногами угадывались сквозь розовую дымку три овальных разноцветных озера: голубое, зеленое и черное. Нельзя было определить, люди ли это устроили или так тут все и было празднично испокон веков. В межозерье шло какое-то движение: бежали то ли серебряные поезда, то ли хрустальные кареты, а может, горный ветер гнал по розовой земле клубы серебристой пыли. И трубы фабрик, как огромные сосны, выбрасывали султаны зеленого дыма, и мерцали золотоверхие крыши каменных строений.

То был другой мир, ничем не похожий на наш. То было розовое чудо, детская мечта, укрытая от чужих глаз в сердце взрослого угрюмого человека. Шагнуть туда — и добрая мама подхватит на руки, и папа будет давать с ложечки микстуру от простуды, и будут хлопушки с подарками на Новый год.

Лама не шагнул.
А Оля — шагнула.

— Смотрите, смотрите! — заговорщицки понизив голос, сказал кукловод Зяма.— Блюмкин!

Не глядя по сторонам, Блюмкин протискивался меж столов к эстраде. Вслед ему глядели — искоса и прямо, исподлобья и широко открыв глаза, с интересом, восторженно или зло. Взбежав по ступенькам на эстраду, Блюмкин развернулся к залу и сказал в наступившей вдруг мертвой тишине:

— Добрый вечер. Я Блюмкин. Слушайте:

С гор спускаюсь дикой кошкой,
И отраднo мне
С самаркандскою лепешкой
Чай пить в чайхане.

Мне приятен чистый старец
С бритой головой,
Продающий на базаре
Тыквы и насвой.

Зал сидел, разинув рот. От Блюмкина ждали много, чего угодно — и этого, про самаркандского бабая, тоже.

— У него в курджуне рваном,

— продолжал Блюмкин,—

Попытав, найдешь
Заповедного ограна
Шамбалийский нож.

— А все говорят, что он имажинист,— сказала Оля.— Никакой он не имажинист. Он просто романтик. Ну и, конечно, дракон.

— И я, и шамбалиец оный,

— читал Блюмкин,—

Обиду сможем перенести,
Хотя высок пред пешим конный
И с лошади прискорбно слезть.

Зал аплодировал дружно, но с осторожностью, как бы опасаясь потревожить кого-то и вывести из себя.

— Ничего не поделаешь, надо высовываться,— сказал Иуда Гросман и, сняв очки, аккуратно протер стекла краешком скатерти.

(Окончание следует.)



Владимир КАНТОР

Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталитаризма

1. «Именно Россия...»

Русские религиозные мыслители — да не только русские — видели в установившихся (после двух социалистических революций — большевистской и нацистской) тоталитарных режимах России и Германии очевидное воплощение уже в Апокалипсисе предсказанного царства антихриста, господства сатанинской стихии¹. Впрочем, в конце века были опубликованы две знаменательные книги — «Антихрист» (1895) Ницше и «Краткая повесть об антихристе» (1900) Вл. Соловьева (как часть его «Трех разговоров»). Если Ницше резко и откровенно напал на христианство, которое, на его взгляд, следовало превзойти, то Соловьев, напротив, боялся появления антихриста, способного подменить христианскую идеологию некоей новой, которая будет выглядеть привлекательнее и даже справедливее, чем христианская. Исторический опыт последнего столетия, как кажется, раскрыл в весьма значительной степени социокультурный смысл деятельности победно пришедшего в мир врага христианских ценностей.

Почему, однако, я обращаюсь к образу и идее антихриста при анализе тоталитарных структур XX века, когда уже были конкретные партии с политическими и социальными программами, решениями, лозунгами, определенным влиянием на общественную жизнь? Не проще ли их понять, исходя из их собственных установок, критически рассматривая теории марксизма-ленинизма или национал-социализма?.. Но, очевидно, не случайно тема антихриста была поднята русской религиозно-философской мыслью. Этот вечный образ обладает большой эвристической и объясняющей силой. Именно его указующий перст может осветить неожиданным светом сумятицу повседневности, политических вождей, программ и сухих резолюций.

Сталин говорил, что «именно Россия станет страной, пролагающей путь...» Путь куда? Сегодня очевидно, что к тоталитарному обществу. Так получилось, что как раз Россия дала первый образ антихриста XX века, как и предсказывал еще в 1891 г. К. Н. Леонтьев: «Подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель *Новой Веры*, — и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо цер-

¹ Вот как в 1945 г. описывал эту ситуацию русский философ И. А. Ильин (характерно, что по-немецки): «Наши поколения поставлены пред ужасными, таинственными проявлениями этой стихии и доселе не решаются выговорить свой опыт в метких и точных словах и не знают, что начать. Здесь мы встречаем нечто чудовищное, что нельзя изобразить в осязательных строгих формах и о чем легче говорить в символических намеках. Можно было бы описать эту стихию как «черный огонь» или определить ее как вековечную, неутолимую зависть, как неисцелимую ненависть, как дерзающую свирепость, как агрессивную, воинственную пошлость, как вызывающую бесстыдную ложь, как абсолютное властолюбие, как презрение к любви и к добру, как попрание духовной свободы, как жажду всеобщего унижения, как радость от унижения и погубления лучших людей, как антихристианство. Человек, подавшийся этой стихии, теряет духовность и влечение к ней, в нем гаснут любовь, доброта, честь и совесть; он предается сознательной порочности, противоестественным влечениям и жажде разрушения; он кончает вызывающим кощунством и человекоумчительством. Но и этого мало: он полон ненавистью к людям духа, любви и совести и не успокаивается до тех пор, пока не поставит их на колени, пока не поставит их в положение предателей и не сделает их своими покорными рабами — хотя бы по внешности» (Ильин И. А. О демонизме и сатанизме. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 6, кн. II. М., 1996, с. 277—278).

ковных — родим того самого антихриста...»². Царство же антихриста всегда связывали, а в XX в. особенно, с абсолютной властью государства над телами и душами подданных (см. книгу С. Н. Булгакова «Апокалипсис Иоанна»). И царств этих возникло в прошедшем столетии («эпохе, — как предсказывал Вл. Соловьев, — последних великих войн, междоусобий и переворотов»³) не одно.

Я сознательно говорю о разных и нескольких царствах антихриста. Еще в Евангелии было сказано: «Восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Мф 24, 6—11). И тут же: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельститься, если возможно, и избранных» (Мф 24, 23—24). Итак, при конце света провиделись многие лжехристы и лжепророки. Потом начались уточнения о единственности антихриста. В VIII в. Иоанн Дамаскин писал: «Надобно знать, что должно придти антихристу. Конечно, всякий, кто не исповедует, что Сын Божий пришел во плоти, что Он есть совершенный Бог и сделался совершенным человеком, оставаясь вместе с тем и Богом, тот есть антихрист. Но в собственном смысле и по преимуществу антихристом называется тот, который придет при кончине века»⁴. Наш опыт показывает, что явление антихриста — не одноразовое, и хотя имеет характер онтологический, но проявляется в исторических формах⁵. Никому не удалось — а такие попытки были! — найти или создать *своего*, национального Христа (помимо евангельского), зато существовало множество национальных антихристов — Нерон, Иван Грозный, Торквемада, Гитлер, Ленин, Сталин. Ибо антихрист многолик, как и порождающее его зло. По словам современного исследователя, с которыми я полностью согласен, «в Зле разнствует человечество и его институции, в нем — принцип различения индивидуальных волей. Добро не имеет и национальных форм, зато злое начало нации выражает себя в специфических формах (жестокости, например)»⁶. Более того, как замечал еще Соловьев и подтверждали его последователи, «каждое христианское исповедание таит в себе своего антихриста»⁷. А по точному наблюдению Г. П. Федотова антихрист понимается восточной Церковью как «лицемер и имитатор Христа», западная же его понимает как «воплощение чистого, беспримесного зла»⁸. Поэтому в историко-культурном смысле можно сказать, что в России действовал антихрист прикровенный, а в Германии откровенный.

Говорить о немецком варианте его царства я сейчас не буду, тем более что русский мистик Даниил Андреев называл Гитлера «неудачным кандидатом в антихристы, который был побежден <...> и покончил с собой в финале второй мировой войны»⁹. Удачные же были в России, воплотившиеся в двух сменивших друг друга исторических личностях — Ленине и его ученике, «вожде всех народов» Сталине. Но Сталин был следствием. Принципы тоталитарного общества с явной антихристианской направленностью были созданы и закреплены Лениным. Поэтому необходимо осмыслить путь, каким пришла Россия к такой своей страшной «удаче». Посмотрим, однако, прежде на родовые черты этого явления, а уж потом перейдем к его российскому бытию в XX в.

2. Четыре задания антихриста...

Антихрист выполняет — судя по священным текстам и по соображениям религиозных мыслителей разных веков — по меньшей мере четыре задания: 1) захват власти и установление деспотии; 2) гонение на христиан — и не просто на христиан,

² Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина. Избранное. М., 1993, с. 291.

³ Соловьев В. С. Три разговора. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 10. СПб., б. г., с. 193.

⁴ Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992, с. 160.

⁵ «Естественно возникает вопрос: имеется ли здесь в виду однократно совершившееся событие, которое более не повторяется в истории? Однако мы можем свидетельствовать, что оно уже повторялось в ней (и мы не знаем, сколько раз имеет оно еще повториться). Во всяком случае, чрезмерная злость исторического кругозора, которая заставляла бы ограничивать этот период лишь временем нероноских или же вообще первохристианских гонений, являлась бы решительно несоответственной нашему теперешнему историческому возрасту, который уже знает их повторение. Конечно, это также возможно и в будущем» (Булгаков С. Н. Апокалипсис Иоанна. М., 1991, с. 106—107).

⁶ Исупов К. Г. Русский Антихрист: сбывающаяся антиутопия. В кн.: Антихрист. Антология. М., 1995, с. 23.

⁷ Трубецкой Е. Н. Мирозерцание Вл. С. Соловьева. В 2 тт. Т. II. М., 1995, с. 283.

⁸ Федотов Г. П. Об антихристовом добре. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 2. М., 1998, с. 21.

⁹ Андреев Даниил. Роза мира. М., 1991, с. 265.

а на христианские смыслы; для этого 3) он создает перверсную идеологию с использованием христианских понятий, наполненных противоположными смыслами; 4) в результате своей победы «в одной отдельно взятой стране» он идет далее к мировому господству.

Власть

Итак, *первое*, к чему стремится антихрист,— это захват и смена власти, смена принципов правления. Почему это так актуализировалось к XX столетию? Дело в том, что постепенно развитие христианства выработало в человечестве, по мысли русских мыслителей (Степуна, Федотова), принципы демократии так, что христианство с его опорой на ценность мнения каждого в конце концов стало основой западноевропейской демократии. Антихрист в любом своем воплощении, разумеется, был всегда ориентирован против государства, признававшего христианские ценности, теперь же сложившаяся ситуация стала для антихриста последним шансом, ибо эти ценности начали вроде бы определять основание политического устройства Западной Европы. Против этого результата долгой христианской истории Европы и произошло в XX веке восстание.

Разумеется, как писал уже в эмиграции замечательный русский философ Ф. А. Степун, современный западноевропейский парламентаризм представляет собою вырождение свободы и даже порой скатывается к мещанству, но идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо явно тяготеет к «большевицкому сатанизму». Противостоит же этому сатанизму, по его пониманию, «*Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории*». Демократия — не что иное как политическая проекция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает *лицо* человека, как верховную ценность жизни, и форму автономии, как форму богопослушного делания»¹⁰.

Конечно же, христианским в полном смысле этого слова российское государство, т. е. самодержавие, назвать было нельзя. Да и православная церковь была всего лишь департаментом российского государства, а потому уважением не пользовалась, и злу мира сего противостояла весьма недостаточно. Но именно поэтому столь опасным могло оказаться выступление против власти, которое легко оборачивалось ниспровержением все же имевшихся в русском обществе христианских смыслов. Толстой и толстовство стали явными *антихристианскими* оппонентами государства, церкви, армии, западноевропейской культуры, как *чуждых русскому народу*. Лев Толстой антихриста тщился увидеть в Наполеоне, полагая, что *чужой* и есть очевидный враг, а сам между тем пролагал пути врагу христианства. Антихрист ведь никогда не *чужой*, он всегда *свой*, ибо только свой, *которому доверяют*, может соблазнить души людей. Правда, Вл. Соловьев, полагая даже плохое христианское государство препятствием для надвигающегося зла антихристианства, проницательно назвал толстовцев лишь предвестниками такого явления.

Соловьев видел в Толстом не антихриста, а мыслителя, пролагающего пути антихристу. И дело не в том, что граф выступил против Церкви, тем более нельзя назвать его атеистом. Если Ницше выступал с твердым неприятием христианства и всех тех духовных ценностей европейской культуры, которые были им порождены, то Толстой пытался собой подменить Христа. Уже в 1912 г. Бердяев отметил эту особенность религиозных усилий великого писателя: «Л. Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца: *он сам, сам исполнит волю Отца, сам может*»¹¹. «Великий отказ» от искусства, науки, церкви, государства свидетельствовал как о социальных борениях писателя, выражении крестьянских взглядов («зеркало русской революции»), так и о более существенном — признании ошибкой почти двухтысячелетнее развитие христианской культуры. Отказ от европеизма, европейских ценностей приводит в конечном счете к отказу от христианства. Ибо основа европейской культуры со всеми ее противоречиями и есть противоречивое христианство. Если атеист и вольнодумец Пушкин, все глубже усваивая европейскую культуру, пришел к христианству, то путь Толстого прямо противоположный. Интересно, что в романе Достоевского «Братья Карамазовы» именно черт оказывается почитателем искусства Толстого (наблюдение английской исследовательницы Д. Э. Томпсон).

¹⁰ Степун Ф. Мысли о России. «Современные записки», Париж, 1924. Кн. 21, с. 301 (курсив Ф. Степуна).

¹¹ Бердяев Н. А. Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого. «Вопросы литературы», 1991, № 8, с. 139 (курсив мой.— В. К.).

Революционно настроенные поздние современники Толстого приняли и поддержали это его желание превзойти Бога. «А с неба смотрела какая-то дрянь / величественно, как Лев Толстой», — так резюмировал Маяковский окончание тяжбы Толстого с Богом в сознании соотечественников писателя. Отсюда недалек шаг и к большевистскому самозванничеству, расстреливавшему массово «попов» казенной церкви¹², отвергшему «буржуазную» культуру и историю и объявившему Октябрьскую революцию высшей и последней вехой в развитии человечества, после которой люди вырываются из принудительности исторического процесса, классовых противоречий и, отбросив веру в потустороннее воздаяние, строят царство счастья на Земле, как того и хотел граф Толстой¹³.

Но, спросят резонно, если антихрист связан с идеей власти, с идеей тоталитарного государства, то зачем ему толстовско-анархистская антигосударственность? В той мере, в какой старое государство не было гонителем церкви христовой, существовало в рамках христианских понятий и ценностей (при всех нестыковках и разногласиях), оно, по понятиям антихриста, должно быть разрушено, его связи с европейскими державами разорваны, договоры с ними расторгнуты. Не случайно, поясняя свое сочинение об антихристе, Вл. Соловьев подчеркнул: «Важно для меня было <...> наглядно пояснить настоятельную необходимость мира и искренней дружбы между европейскими нациями»¹⁴. После первой мировой войны, однако, произошел разрыв между европейскими странами, что облегчило приход антихриста, который вначале выступил за поражение своего правительства, которое враждебно народу (а он за народ, он *свой*), а после Октябрьской революции на развалинах разрушенного создал невиданную до тех пор деспотию. Впрочем, такая возможность была обозначена комментировавшим Соловьева Е. Н. Трубецким, писавшим, что антихрист отрицает государство до тех пор и постольку, поскольку оно ценно для добра, и боготворит его с того момента, когда оно утрачивает эту ценность. Поэтому-то «понятен и необходим переход от современной безгосударственности толстовского учения к империализму царства антихриста. <...> Сдерживая внешние проявления зла, препятствуя аду овладеть вселенной, государство тем самым в настоящий, *переходный* момент так или иначе служит делу Христову: при этих условиях естественно, что современное явление царства антихриста должно характеризоваться направлением антигосударственным, анархическим»¹⁵.

Народный бунт и возрождение почвенного язычества

Отсюда следует *второе* обстоятельство. Антихрист нелегитимен, он может прийти к власти, только *опираясь на народный бунт самых низших и эксплуатируемых слоев общества*. Св. Ириней Лионский замечал еще во втором веке: «Антихрист представляет вид, будто бы мстит за угнетенных»¹⁶. К. Н. Леонтьев угадал восстание масс как предпосылку слома христианства, а стало быть, устранения механизма, способного гуманизировать человечество. Христос пришел ко всем, но повел за собой лишь избранных. Между тем XX век — это век «восстания масс». На историческую арену выходит огромное четвертое сословие, требующее не только материального, но и духовного равенства. Однако работающий в толще этой массы архетип еще вполне языческий. Не случайно сомневался в христианизации *всего* европейского населения Чернышевский, полагая, что «масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих <...> остается погружена в препорядочное невежество», что «она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще языческого характера»¹⁷. Еще актуальнее это звучало для России.

¹² Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах» (см. статью «Л. Н. Толстой» в кн.: В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1969, с. 221).

¹³ Подробнее об этом см. мою статью «Лев Толстой: искушение неисторией». «Вопросы литературы», 2000, № 4, сс. 120—181.

¹⁴ Соловьев В. С. Три разговора. С. 90.

¹⁵ Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. С. 281. Обратимся к Отцам Церкви и увидим примерно то же. По словам св. Иоанна Златоуста, «когда прекратится существование Римского государства, тогда он (антихрист) придет. И справедливо. Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу; но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие; и он будет стремиться похитить всю — и человеческую и божескую власть» (Св. Иоанн Златоустый. Об Антихристе. В кн.: Об антихристе. СПб., 1998, с. 88).

¹⁶ Св. Ириней, Епископ Лионский. О тираническом царстве Антихриста. В кн.: Об антихристе. С. 56.

¹⁷ Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима. Полное собрание сочинений в 15 тт. Т. VII. М., 1950, с. 665.

В «Бесах» Достоевский изобразил восстание языческих смыслов и символов. Христу здесь прогивопоставляется Иван Царевич, подозрительно смахивающий на Стеньку Разина, а ведь образ Ставрогина не раз прочитывался как намек на возможного антихриста. Но именно рядом с ним появляется и разработанная система тоталитарного общества, шигалевщина. В Ставрогине писатель нарисовал образ потенциального вождя языческого антихристианского бунта, который рождает самозванца — персонажа, по сути своей близкого к антихристу. Партийные псевдонимы большевиков говорили о принадлежности их к подпольному, отчасти блатному миру. Торжествовала игра масок, личин. Ленин, Сталин, Троцкий, Киров, Зиновьев, Молотов, Каменев... Переименование мира начинали с себя. А для отказа от европейски-христианской истории мир нуждался в переименовании (от имени страны до названий городов).

Как считал Леонтьев, когда обрушатся старые социальные перегородки, придававшие обществу структурированность, и будут уничтожены сословные права, то вместо твердых понятий о жизни восторжествует *личность*, воцарятся хаос и всеобщее бесправие, так необходимые антихристу для получения всей полноты власти и установления новой вертикали всеобщего тоталитарного подчинения. Во всяком случае так понимал русского романтика-консерватора Семен Франк¹⁸. Отсюда и идет характерное леонтьевское утверждение, что «замедление всеобщего предсмертного анархического и безбожного уравниения <...> необходимо для задержания прихода антихриста»¹⁹. Но было ли это возможно? Государство действовало механически, грубой силой, но силой явно недостаточной, чтоб сломать или даже сдержать грядущее народное восстание. Русская же церковь тем более была бессильна.

После революции С. Л. Франк констатировал: «Быть может, самым глубоким и общим показателем этой застарелой и тяжелой нравственной болезни русского национального духа является ужасающее общественное бессилие и унижение русской церкви»²⁰. Впрочем, о том, что церковь в параличе, писал еще Достоевский, искавший панацеи в старчестве. Но и он чувствовал недостаточность этой идеи для общества, говоря, что в России старчество существует не более ста лет и неизвестно, приживется ли оно. В его романе «Братья Карамазовы» умерший старец Зосима «пропах», мощи его не могут быть сакрализованы, ждущие от христианства языческих чудес скандализованное общество и народ — в растерянности. В растерянности, однако, и писатель. Он пытался говорить о возможности православного социализма, собиравшись сделать Алешу революционером, но, видимо, таким, который после гражданской казни сумеет повернуть направленность революционного движения к Христу, что не удалось Чернышевскому в реальной жизни²¹. Не удалось это и Достоевскому.

Более того, его поиски «русского Христа», поиск христианской истины в народной почве давали стране сомнительные ориентиры. Напрашивающаяся параллель из XX столетия достаточно страшна. Ибо после победы нацистов, в 1933 г., в свою очередь, на церковных выборах победили так называемые *немецкие христиане*, которые провозгласили «создание «Евангелической церкви германской нации»» и решили «завить миру *германского Христа*». <...> Они требовали создания расово-чистого христианства вокруг *нордически-героического образа Иисуса*»²². Интересно, что некоторые высокопоставленные партийные функционеры Третьего рейха вполне откровенно, по словам исследовавшего этот вопрос германского ученого Х. Хюртена, сближали национал-социалистическое движение с неоязычеством. Цели же нацистского фюрера в церковной политике предполагали уничтожение церкви как таковой, ибо Гитлер питал к ней неистребимую ненависть. Как видим, к XX столетию очевидно наступало именно почвенное восстание языческих смыслов против наднационального христианства, создавшего в средние века Европу как *Corpus Christianum* и далее выработавшего к XX в. идею Соединенных Штатов Европы, т. е. Европы как некоего единого целого.

¹⁸ «Человечество медленно будет перерождаться в новое, неслыханно-жестокое рабство. Этот надвигающийся порядок, как это и подобает царству антихриста, будет чудовищной карикатурой настоящей жизни, ибо при нем господствуют деспотизм, насилие и страдания. <...> В любом случае Леонтьев ясно сознавал упадок либеральной демократии и приход примитивного деспотизма, каким являются и фашизм, и большевизм» (Франк С. Л. Константин Леонтьев, русский Ницше. В кн.: Русское мировоззрение. СПб., 1996, с. 418—419).

¹⁹ Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина. С. 291.

²⁰ Франк С. Л. De profundis. В кн.: Вехи. Из глубины. М., 1991, с. 495.

²¹ См. мою статью: «Срубленное дерево жизни». Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском? «Октябрь», 2000, № 2, с. 157—180.

²² Лёзов Сергей. Христианство и политическая позиция: Карл Барт. В кн.: Попытка понимания. М.— СПб., 1999, с. 146 (курсив мой.— В. К.).

По мысли Чаадаева, именно в Европе строится при всех социальных, политических и прочих противоречиях Царство Божие на Земле. Стало быть, удар антихриста закономерно направлен против Европы в ее культурно-христианском качестве. *И Гитлер, и Ленин, и Сталин были по сути своей антиевропейцы*. Однако первым был Ленин. Хотя он и произносил слова о пользе учения у Европы, но выступил против самых основ европейской культуры. Известно, что он ненавидел христианство, закрывал церкви, отбирал церковное имущество, призывал десятками и сотнями расстреливать «попов», церковь не просто отделил от государства, о чем мечтали многие, но поставил ее практически вне закона. Но церковь уничтожалась им именно как хранительница европейски-буржуазных понятий.

Большевиками буржуазная, т. е. европейская Европа, была объявлена врагом, а рабоче-крестьянские беднейшие массы — носителями высшей истины и справедливости. Не случайно Ленин боялся возникновения Соединенных Штатов Европы, ибо тогда будет сохранен буржуазный строй. «Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны»²³, — писал он в 1915 г. После Октября он вполне откровенно говорил о специфике русской революции как пролагающей путь азиатским, восточным революциям (в ответе Суханову «О нашей революции»).

Сотворение образа

Тут возникает *третье* обстоятельство, которое должен преодолеть антихрист. Его идеология и его образ должны выглядеть справедливее и привлекательнее, нежели христианские смыслы и образ Богочеловека. Св. Иринея писал: «Из того, что будет при антихристе, видно, что он, будучи отступник и разбойник, хочет, чтобы поклонялись ему как Богу, и, будучи раб, хочет, чтобы его провозглашали царем»²⁴. Облик вождя в сознании масс становится равновеликим образу подвижника. Розанов не воспринял соловьевскую тревогу, он иронизировал над возможными добродетелями антихриста. О Ленине он тогда и не думал. Задумались о нем посторонние наблюдатели между двух русских революций. Любопытно привести свидетельство человека, так сказать, со стороны, высказавшегося еще до создания советской легенды о Ленине как воплощении всех лучших человеческих качеств. Французский посол в России заносил в свой дневник от 21 апреля 1917 г.: «В 1887 году его старший брат, замешанный в дело о покушении на Александра III, был присужден к смертной казни и повешен. <...> Низвержение царизма сделалось с этих пор его навязчивой идеей, а евангелие Карла Маркса — его молитвенником. Неумолимо деятельный, он скоро нашел пламенных последователей, которых он увлек культом интернационального марксизма. <...> Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать. <...> Субъект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть, — каким я его себе представляю, — черты Савонаролы, Марата, Бланки и Бакунина»²⁵.

Интересно при этом, что опирался Ленин, как и описал будущего антихриста Вл. Соловьев, на авторитет книги. Розанов по поводу этой детали сыронизировал, говоря, что лекция Соловьева об антихристе его почти усыпила, но развеселило его то обстоятельство, что «антихрист (по изображению философа) есть наш брат литератор»²⁶. Заметим как важную деталь, что Ленин себя именовал литератором. Надо сказать, что вес слова в России традиционно был тяжелее, нежели в других европейских странах, поэтому властитель умов и не мог в России явиться иначе, чем в роли литератора.

Но книгой обольщается *элита*. Антихрист же прежде всего обращается к *массам* и должен быть для них привлекателен. Привлекательность эта есть смесь как привычного уже массам облика христианского подвижника, так и облика сильного языческого вождя, столь отвечающего архетипическим чаяниям бедноты: «недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый» (М. Палеолог). Он и охотник, и рыболов, и в тюрьме сидел, и в ссылке в Си-

²³ Ленин В. И. О лозунге Соединенных Штатов Европы. Полное собрание сочинений. Т. 26. М., 1961, с. 352.

²⁴ Св. Иринея, Епископ Лионский. О тираническом царстве Антихриста. С. 45.

²⁵ Палеолог Морис. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 431—432.

²⁶ Розанов В. В. Во дворе язычников. М., 1999, с. 100.

бири был — почти Пугачев или Стенька Разин. Не случайно в революционный иконостас были занесены лики «вождей народных восстаний» и в первые же годы революции на все лады стали воспеваться кровавые народные бунты предшествовавших столетий, поэты писали поэмы — «Пугачев» (Сергей Есенин), «Стенька Разин» (Василий Каменский) и др., потом пошли тяжелые романы, где жестокость восставших объяснялась как добродетель. Впрочем, как было замечено еще в первый год революции Е. Н. Трубецким, «зверопоклонство под видом народопоклонства составляет сущность “большевизма” всех времен»²⁷.

Устанавливающийся новый, антихристов строй паразитирует, разумеется, на привычных для народного слуха христианских формулах, но подгоняя их под новые смыслы. Христос, не принимая славу мира сего, говорил: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин 5,43). Но в большевизме мы сталкиваемся с невероятной силой мимикрии и трагедийного подражания антихриста Сыну Человеческому. Скажем, Ленин (как Христос во имя Отца Своего) пришел не во имя свое, а во имя Маркса, таким образом используя парадигму христианского учения. Те идеи и понятия, которые выработались в христианской европейской культуре, большевики вроде бы принимали, но до неузнаваемости меняя их. Нужно было прибавить всего лишь одно, *большевистское* по своей сути, слово, которое придавало понятию искаженный смысл. Так, например, на идею гуманизма они отвечали идеей «воинствующего» гуманизма, а, скажем, на идею демократии либо идеей демократического «централизма», либо идеей «социалистической» демократии. Федотов писал, что «христианство есть религия свободы, и этого не выгравить из него никакими силами»²⁸. Политическая свобода была связана с идеей либерализма, поэтому либерализм получил прилагательное — «гнилой». Понятия вроде бы оставались те же, но наполнялись новым и (как казалось людям, одурманенным маревом идеологической пропаганды) более справедливым содержанием. По удачной формуле немецкого исследователя А. Игнатова, с одной стороны, ленинский атеизм *отрицает* религию вообще и в особенности христианство, с другой — он *подражает* христианству. Все основные элементы того духовного, психологического, эмоционального, практического и религиозного комплекса, который мы называем словом «христианство», находят себе соответствия в ленинизме. У большевиков было свое *представление о царствии небесном* (коммунистическое провозвестие о грядущем бесклассовом гармоничном обществе), своя *дихотомия добра и зла* (пролетариат и буржуазия), свои великие *пророки и апостолы* (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун), свои *святые и мученики* (пламенные революционеры), свои *святыни* (Смольный, Кремль), свои *обряды и молитвы* (партийные съезды, годовщины великих событий, памятные мероприятия, лозунги), своя *церковь* (партия) с соответствующей *церковной иерархией* (ЦК) и свои *еретики* (уклонисты). «Не надо быть пророком,— писал С. Аскольдов в знаменитом пореволюционном сборнике,— чтобы понять, что соблазн антихристового движения подойдет к человечеству не в обличье злого волка, а именно в обличье человека, одушевленно-благороднейшими идеалами и умеющего проводить их в жизнь в заманчивых и этически безупречных формах»²⁹. Именно таким добрым «дедушкой Лениным» нам и рисовали в нашем советском детстве образ вождя.

Антихрист никогда не называет себя Христом. Напротив, он считает себя заменой Христа, вместо Христа, не Сыном Божьим, но Богом. Иными словами, тоталитарный правитель обожествляет себя, как некогда владыки древних восточных деспотий. Карл Витфогель в книге «Восточная деспотия» высказал предположение, что основоположники тоталитарных государств XX в. сознательно или бессознательно опирались в своем политическом творчестве на политические структуры Древнего Египта, Шумера, Ассирии. Более того, по его мнению, в русском царизме был очевиден этот азиатский элемент. Однако «весной 1917 года попытались антитоталитарные силы России совершить *антиазиатскую социальную революцию* (курсив мой.— В. К.). <...> Но осенью 1917-го эти антитоталитарные силы были разбиты большевиками — поборниками нового тоталитарного порядка»³⁰. Ленин был во главе этого осеннего переворота, и он был канонизирован при жизни и после смерти как восточный владыка-полубог.

²⁷ Трубецкой Е. Н. Два зверя. В его кн.: Смысл жизни. М., 1994, с. 309.

²⁸ Федотов Г. П. *Carmen saeculare*. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 2. М., 1998, с. 86.

²⁹ Аскольдов С. А. Религиозный смысл русской революции. В кн.: Вехи. Из глубины. Сс. 245—246.

³⁰ Wittfogel Karl A. *Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht*. Köln — Berlin, 1962, S. 32.

В отличие от распятого Сына Человеческого, призывавшего прощать врагов своих, за рану вождя Октябрьской революции были расстреляны десятки тысяч ни в чем не повинных людей (вполне языческое кровавое жертвоприношение). Сохранились фотографии, изображающие, как он («этот самый скромный человек» — по идеологическому клише) улыбается *ликующим толпам* — до всякого еще Сталина и Гитлера — под *своими* портретами. Как было сказано в Евангелии: «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: *ибо день тот не придет*, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес 2, 2—4). Христос был положен во гроб, откуда воскрес, набальзамированный же труп Ленина так и остался лежать в гробу на удивление миллионам — «как живой», но на самом деле абсолютно мертвый и пугающий своей мертвенностью. В его мавзолее стояли очереди взрослых — приезжих из провинции — и обязательные группы школьников, которым предписывалось пройти через мавзолей. Далее — история из рассказа родительницы: учителя уговаривали детей, чтоб в мавзолее те вели себя тихо и не разбудили дедушку Ленина. «Он может проснуться и лежать с закрытыми глазами,— говорили учителя.— Но не думайте, он и с закрытыми глазками из гроба всё и всех видит. И накажет тех, кто плохо себя ведет». Вот дети проходят по мавзолею, затаив от ужаса дыхание, но перед самым саркофагом вдруг раздается пронзительный испуганный детский голос: «Мама, а он кусается?!» Образ пробудившегося мертвяка, готового сожрать всякого попавшего ему на пути,— прямо из русских языческих поверий.

Имперский национализм

И, наконец, решение антихристом *четвертого* противоречия своего прихода, а именно: вырастая на почвенном восстании, антихрист должен быть по сути своей националистом, но националистом, стремящимся к мировому господству не только силой оружия, но и силой оболщания. И именно здесь у большевиков была самая изощренная возможность манипулирования мировым мнением. Гитлер ломился к мировому господству военной силой, напрямую, метода ленинской партии была иной.

Начнем с того, что многоязычная Русь уже давно варилась в котле великорусской народности, а потому всероссийский бунт оказался принят всей страной. Показательно и то, что центр страны вернулся в Москву, тем самым символически был подчеркнут отказ от петровско-европейской России, и в сознании людей вдруг воскресла идея Москвы как третьего Рима, призванного объединить мир, подкрепленная созданием Третьего Интернационала, где решающую роль играла Москва. Силой оружия были захвачены отколовшиеся социалистические закавказские республики и Украина. Показательны письма Короленко и записки Винниченко, полные удивления перед военным вмешательством Москвы в дела Украины, несмотря на все слова большевиков о праве наций на самоопределение вплоть до отделения.

Вспомним слова Мориса Палеолога о «культе интернационального марксизма» у Ленина. Мы привыкли к этому лозунгу о советском интернационализме, но задумаемся о его подлинности. Он служил замечательным прикрытием националистически-имперской политики, прорывавшей порой в строчках гимна («Сплотила навеки великая Русь»), где даже произошел возврат к древнему наименованию страны при ее новых задачах. А уж анекдот советских лет («С кем граничит Советский Союз?» «С кем захочет, с тем и граничит») весьма откровенно говорил об империалистическом пафосе новой державы.

Национализм существовал в советской России в перверсной форме марксистского интернационализма. Перверсной, ибо был лишь маской, личиной. Как показала история, интернационализм этот не мешал вполне империалистической попытке навязать свою идеологию (через Коминтерн), а по возможности и свое господство (через захват территорий) другим странам и народам, а цитирование еврея Маркса не помешало гонению на так называемых *космополитов* и воспитанию вполне жизнестойкой популяции антисемитов. Хотя уже в первые годы советской власти многим было ясно, что большевики на деле являются, как писал В. Н. Муравьев, «националистами. Они пытаются делать то, что всегда делают последние. Они создают армию, организуют государство, стараются защитить интересы России и отстаивать ее границы. Последние ноты Чичерина — образцы такого национализма, прикрытого теми же фиговыми листьями революционной фразеологии, как в свое время речи Керенского»³¹. И далее добавлял: «Сейчас большевизм, стремясь к распространению во

всем мире, исполнен истинно империалистического пафоса. После Вильгельма несомненно самым большим империалистом современности является Ленин. Идея большевизма приближается и к крайней форме империализма — к теократии»³². Антихрист, выступающий против наднациональной религии христианства, естественно оказывается националистом и империалистом. Откровенным или прикровенным — с исторической точки зрения это не столь уж и важно.

Остается, однако, вопрос: как общество попустило? Ведь многие знали, предчувствовали, причем те, кого принято называть духоводителями народа. Самообман народа понятен. В Евангелии простолюдины издеваются над Христом, не признавая Его за Богочеловека, а в гениальной русской поэме о великом инквизиторе писатель Достоевский рисует народ еще более страшными красками: народ знает, что перед ним Христос, но по приказу великого инквизитора готов предать Его новой казни. Так что, повторяю, обольщение и поведение народа, погруженного в почвенно-языческие суеверия, понятны. Но ведь приняли антихриста и те, кто должны бы были быть более зоркими, которые знали или по крайней мере слышали о грядущем приходе врага Христа. Что же их смутило? В этом стоит разобраться хотя бы спустя время, когда обольщающее марево ушло пусть в недалекое, но все же прошлое.

3. Догадки, предчувствия и предвестия

Разговоры о пришествии антихриста были для России, начиная с раскола, не новость. Но, как правило, до конца XIX века эти разговоры не выходили за пределы, пользуясь выражением В. Розанова, «церковных стен», т. е. не становились фактом светского общественного сознания хотя бы в той мере, в какой оно начинало с петровской эпохи складываться в России. Столетие, в которое выростал В. Соловьев, было столетием позитивизма, веры в прогресс и окончательное торжество гуманизма. Трагические предчувствия Достоевского, его «катастрофическое» восприятие мира казались либо результатом физического нездоровья писателя, либо в лучшем случае списывались на особенности его художественной манеры. Правда, сам Достоевский отмечал, что болезнь повышает у мыслителя восприимчивость «мирам иным», иным веяниям, которые здравому и одномерному рассудку не доступны, говорил о неевклидовой геометрии библейских текстов, но произведения писателя оказались востребованы лишь в XX столетии.

В своих «Трех разговорах» В. С. Соловьев подхватывает тему, намеченную в «Великом инквизиторе» Достоевского, но как бы переносит ее из мира художественных текстов в мир реальной жизни, того, что должно свершиться здесь и теперь. Сошлюсь снова на слова К. Исупова: «Евразийский Антихрист Соловьева в своих действиях намного масштабнее Великого Инквизитора Достоевского, но уступает последнему в точности исторического прогноза. С другой стороны, визионерские способности Соловьева открывали ему возможность кратковременных, истощавших его внутренние силы контактов с темными пределами антихристового царства. Эти прорывы в не весьма отдаленное будущее придали «Краткой повести...» качество предельной историософской напряженности и достоверности»³³. Дело, однако, не в том, что масштабнее, а в том, что соловьевский текст о возможном пришествии антихриста выглядел не художественной моделью, с помощью которой можно анализировать и текущие факты, а своего рода газетной новостью, репортажем из недалекого, но вполне мыслительно очевидного будущего.

Те церковные рассуждения об антихристе³⁴, на которые общество не обращало внимания, под пером Соловьева вдруг обрели живую злободневность, стали событиями

³¹ Муравьев В. Н. Национализм и интернационализм. В его кн.: *Овладение временем*. М., 1998, с. 77.

³² Там же. С. 78.

³³ Исупов К. Г. *Русский антихрист: сбывающаяся антиутопия*. С. 12.

³⁴ В книге 1911 г. Сергей Нилус писал: «Ожидание близкого явления антихриста и кончины мира от предстоятелей Христовой Церкви перешло в умы и сердца наиболее чутких представителей мирской философской мысли, не порвавшей связи с Церковью. <...> Таким чутким представителем философского умозрения, сохранившим связь с христианством, можно считать покойного Владимира Сергеевича Соловьева, имя которого, как философа, известно не в одной только России, но и во всем образованном мире. В высокой степени знаменательно, что завершительный момент его творческой деятельности вознес его до высот эсхатологического прозрения, чрезвычайно ярко выразившегося в его предсмертном творении «Три разговора». Главный предмет, о котором трактует это творение, — всемирно объединяющая власть антихриста, выросшая на столкновении и смешении исторических добра и зла, царящих над массой человечества» (Нилус С. *Великое в малом*. СПб., 1998, с. 324).

ем текущей духовной жизни, которое требует и художественно-философского осмысления. Постепенно от насмешек В. Розанова над слишком большой серьезностью Соловьева при изображении антихриста перешли к тому, что образ, данный Соловьевым, сочли каноническим, что и констатировал уже в 20-е годы Г. Федотов: «Произошло поразительное искажение перспективы. Уже плохо различают своеобразно-соловьевское в образе антихриста от традиционно-церковного. Антихрист “Трех разговоров” для многих стал образом каноническим. Кажется, что он просто транспортирован из Апокалипсиса в современный исторический план»³⁵.

Но самое интересное, что влиятельный философ, философский публицист, историк культуры и философии в восприятие российской художественной элиты, в ее духовный мир (я не говорю сейчас о собственно философах) вошел прежде всего как поэт, автор идеи о панмонголизме и «Краткой повести об антихристе». Если поэт Блок отзывался об «Оправдании добра», что это чистая скука, зато стихи и «Три разговора» вдохновляют на творчество, то это более или менее понятно. Но даже философ Шестов полагал, что «между “Тремя разговорами” и тем, что Соловьев писал раньше, лежит ничем не заполнимая пропасть»³⁶. Шестов считал, что в своей теоретической философии Соловьев находится вне русской литературы, которая и является истинной философией России. Зато в своем последнем произведении он отказался от себя прежнего, стал не теоретизировать, а говорить, как власть имеющий: «От умозрения философов какая-то сила, которой он не называет и назвать не умеет, “понесла” его к юродству пророков и апостолов. “Три разговора” — не рассуждение, а комментарий к Апокалипсису»³⁷. Не будем здесь спорить с Шестовым о действительном значении философских сочинений Соловьева, согласимся лишь, что «Три разговора» и в самом деле находятся в традиции русской классической литературы, той ее ветви, которая несла в себе пророческий пафос не только по отношению к обществу, но и по отношению к бытию как таковому, показывала его взрывчатый ненадежный состав. Вот этот его пророческий дух и восприняла русская культура «серебряного века». Тем более что эти пророчества начали сбываться с устрашающей реалистичностью.

После поражения в японской войне, после революции пятого года темы Соловьева из журнально-салонных разговоров перекочевывают на страницы прозы и философской публицистики. Тему панмонголизма, скажем, отчетливо можно видеть в «Петербурге» Андрея Белого. Достаточно искусственно построенная трилогия Мережковского «Христос и Антихрист» сменяется публицистикой, где писатель пытается угадать сегодняшнюю и завтрашнюю Россию и где соловьевская тема антихриста начинает звучать чрезвычайно актуально. В «Большой России» Мережковский указал на такие детали его пришествия, которые стали нам вняты до конца только во второй половине столетия. Он писал: «Антихрист соблазнитель не своею истинной, а своею ложью: ведь соблазн лжи в том и заключается, что ложь кажется не ложью, а истиной. Разумеется, если бы все видели, что Антихрист — хам, он бы никого не соблазнил, но в том-то и дело, что это увидят не все и даже почти никто не увидит. Будучи истинным хамом, “лакеем Смердяковым” *sub specie aeterni*, он будет казаться величайшим из сынов человеческих»³⁸. Мережковский, правда, именует этого Хама-антихриста чаще всего мещанином (общее место русской предреволюционной публицистики), т. е. чем-то вроде буржуа, но в какой-то момент он апеллирует не к схемам, а к общественно-исторической реальности и строит такую триаду: три лица Хама в России — самодержавие (это настоящее), казенное православие (это прошедшее) и «третье лицо, будущее, — под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц»³⁹. Антихрист — это хам, хулиганство — явление антихристово. В эти годы о хулиганстве как субстанциональном явлении писали и Горький, и Бердяев, и многие другие.

Разумеется, хулиганство, Грядущий Хам и т. п. ни у кого симпатии вызвать не могли, и когда Мережковский называл Грядущего Хама антихристом, то могло казаться, что это немислимо, ибо хам обольстить никого не может, а самое главное — хам и бандит не могут восприниматься как носители «добра и правды». Примерно в эти же годы Александр Блок в русле общих тревог и предчувствий написал одно из самых страшных своих стихотворений, помеченное мартом 1903 г. (сборник «Распу-

³⁵ Федотов Г. П. Об антихристовом добре. С. 17.

³⁶ Шестов Лев. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Соловьева. Сочинения. М., 1995, с. 332.

³⁷ Там же. С. 383.

³⁸ Мережковский Д. С. Большая Россия. Л., 1991, с. 101.

³⁹ Там же. С. 43.

тья»), где смутный облик антихриста явлен тем не менее поэтически весьма отчетливо. Приведу его почти целиком, оно небольшое:

— Всё ли спокойно в народе?
 — Нет. Император убит.
 Кто-то о новой свободе
 На площадях говорит.

 — Кто же поставлен у власти?
 — Власти не хочет народ.
 Дремлют гражданские страсти:
 Слышно, что кто-то идет.
 — Кто ж он, народный смиритель?
 — Темен, и зол, и свиреп:
 Инок у входа в обитель
 Видел его — и ослеп.
 Он к неизведанным безднам
 Гонит людей, как стада...
 Посохом гонит железным...
 — Боже! Бежим от Суда!

Казалось бы, предупреждений да и собственных предчувствий и озарений было немало.

4. Соблазн антиевропеизма, или Победа «внутреннего монгольства»

Но все поменялось, когда пришедший Хам объявил себя *врагом Европы и европеизма* как явления, мешающего развитию человечества. Здесь и был великий соблазн. Соловьев достаточно внятно писал: «Историческим силам, царящим над массой человечества, еще предстоит столкнуться и перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себя звере вырастет новая голова — всемирнообъединяющая власть антихриста, который “будет говорить громкие и высокие слова” и набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору ее конечного проявления, чтобы — по слову Писания — *даже и избранных, если возможно, соблазнить к великому отступлению*. Показать заранее эту обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим высшим замыслом, когда я писал эту книжку»⁴⁰. По Соловьеву, приход антихриста — это катастрофа прежде всего европейская, поскольку христианство и есть религия Европы. И нельзя не согласиться со Степуном, что Соловьев «страстно боролся <...> за европейский склад и образ России»⁴¹.

Кризис европеизма, приведший к «европейской бойне» (А. Блок) первой мировой войны, дал тот вариант событий, деталей которого, разумеется, Соловьев разглядеть не мог, хотя смысл событий был им указан ясно и отчетливо. События эти были порождены европейским кризисом, но случились они не в результате внешнего завоевания, но в результате вторжения «внутреннего монгольства», когда Россия оказалась завоеванной маленькой партией нелюдей, а Европа в растерянности безмолвствовала, что вызвало у многих деятелей русской культуры, пытавшихся понять большевизм, вполне понятный вопрос-сравнение: «Чем не монгольское иго?»⁴².

Запад боялся «вмешательства во внутренние дела России», Гиппиус называла это страхом Европы «перед традиционными словами», писала, что большевики с серьезной миной используют эти слова, а потом «хохочут — над Европой», которая никак не решится на внешний толчок, на интервенцию. И Гиппиус восклицает: «О эта пресловутая “интервенция”! Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски — и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще — надо (и легко) столкнуть татар с досок? И отнюдь, отнюдь не из “сострадания” — а в собственных интересах, самых насущных. Ибо эти новые татары такого сорта, что, чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски»⁴³.

⁴⁰ Соловьев В. С. Три разговора. Сс. 90—91 (курсив мой. — В. К.).

⁴¹ Степун Ф. А. Памяти Владимира Соловьева. В его кн.: Портреты. СПб., 1999, с. 29.

⁴² Гиппиус З. Н. Петербургский дневник. М., 1991, с. 29.

⁴³ Там же. С. 66.

Параллель большевистской революции с татаро-монгольским завоеванием была, что называется, на слуху: тут и Гиппиус, и Блок, и Бунин, и не случайно возникшие евразийцы с их оправданием монгольского ига. Тут естественны были и исторические параллели, и культурные — я имею в виду соловьевское стихотворение «Панмонголизм», эпиграф из которого Блок взял к своим «Скифам», будто подчеркивая духовную преемственность. Хотя Соловьев привязывает именно к монголам свои апокалиптические предчувствия, слово «панмонголизм» звучит у него лишь как символ Божьей кары: «Орудий Божьей кары / Запас еще не истощен». Более того, у него, как и у Бунина, и у Гиппиус, рисуется катастрофа («третий Рим лежит во прахе»). Блок же отождествляет себя с кочевниками, т. е. с большевиками, «этим вертикальным вторжением варварства», как назвал Ортега-и-Гассет русскую и немецкую революции. Этот антиевропеизм и притягивание большевизма очевидны у Блока:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте, сразитесь с нами!
 Да. Скифы — мы! Да, азиаты — мы,
 С раскосыми и жадными очами!

 Мы широко по дебрям и лесам
 Перед Европою пригожей
 Расступимся! Мы обернемся к вам
 Своею азиатской рожей!

«Скифы» были восприняты противниками большевистского режима как сочувствие Блока разрушительным и антиевропейским началам большевизма. Чуть позже, уже в эмиграции, Г. П. Федотов писал: «Становясь на сторону революции, Блок отдается во власть дикой, монгольской стихии»⁴⁴. И вправду, в дневнике и записных книжках Блок весьма положительно отзывался о Ленине («Ленин — с предвиденьем доброго»⁴⁵ — 19 октября 1917 г.; нечто похожее есть и в записях от 23 февраля и 26 февраля 1918 г.), бранит буржуев и рассуждает о своей ненависти к Европе. К европейцам обращается (11 января 1918 г.) так: «Если нашу революцию погубите, значит, вы уже *не арийцы больше*. И мы широко откроем ворота на Восток. <...> Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. <...> Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары»⁴⁶. Для нас здесь важно отметить, что «Скифы» вполне определенно полемичны по отношению к Соловьеву, отвергается соловьевский страх перед Азией и скифством: да, азиаты мы, и если Европа не будет нам супротивничать, то варварская лира готова созвать на пир европейские народы. А вообще-то мы ближе гуннам и монголам. Любопытно, что о христианстве в поэме ни слова.

В этот период принятия зла как блага он и написал «Двенадцать», где, будучи верен реализму деталей, хотел указать благотворный смысл происходящего, который традиционно в европейской культуре связывается с именем Христа. Но поглядим, мог ли увидеть Христа человек, обьявивший себя по ту сторону христианской Европы и союзником монголо-скифства?

5. Видеть и увидеть

Соловьев провидел двойное крушение Европы: сначала от удара кочевых азиатских орд, а потом — от антихриста: сначала силой, а потом ложью и обманом. Но в истории эти два момента совместились: насилие, а также ложь и обман пошли рядом, рядом пошло и пугавшее мыслителя азиатство (скифство, евразийство) совместно с грандиозной подменой нравственных ценностей, когда насилие и зло объявлялись добром и благом.

⁴⁴ Федотов Г. П. На поле Куликовом. В его кн.: Судьба и грехи России. В 2 тт. СПб., 1991, т. 1, с. 122.

⁴⁵ Я лучшей доли не искал... Судьба Александра Блока в письмах, дневниках и воспоминаниях. М., 1988, с. 453.

⁴⁶ Я лучшей доли не искал... С. 469. Европу бранили и бывшие друзья Блока, но по совсем иной причине: она не приходит на помощь европейской России, которую раздавила Россия стихийная, азиатская, а потому предрекали Западной Европе, предавшей русских европейских братьев, собственные катастрофы и катаклизмы, что и исполнилось в немецком и итальянском фашизме. З. Гиппиус в своем дневнике записывала: «Вот точная формула: если в Европе может, в XX веке, существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим рабством и Европа этого не понимает или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и дорога» (Гиппиус З. Н. Петербургский дневник. С. 108).

Соловьев *не видел* антихриста в реальности, *но увидел* его духовным прозрением, озарением; *не видел* деталей, *но увидел* катастрофическую суть надвигающегося на мир зла, грядущего порабощения Европы антихристом. Что же произошло в Октябре, кто же на самом деле пришел — Христос или антихрист? Посмотрим, что свидетельствует и показывает и что говорит и утверждает поэт. Сам он, говоря после революции о Христе с презрением, тем не менее давал основание своим апологетам предполагать, что и в самом деле у разбушевавшихся каторжников есть высшее оправдание, раз поэт не любит, а все-таки видит Его. При этом Блок отрицал, что восхвалял большевиков: «Разве я “восхвалял”? (Каменева). Я только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели на *этом пути*, то увидишь “Исуса Христа”. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак»⁴⁷.

Самый близкий ему в те годы по позиции поэт и мыслитель, тоже принявший большевиков, Андрей Белый писал: «В том звуке крушения старого мира, который Александр Александрович услышал со всей своей максималистической реалистичностью, должно было быть начало восстания, начало светлого воскресения, Христа и Софии, России будущей. <...> “Впереди Исус Христос” — что это? — Через все, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это “все” идет к тому, что “впереди”, — вот к какому “впереди” это идет»⁴⁸.

Поэма пронизана символами русской и мировой культуры. И не случайно споры о поэме живут и сегодня, несмотря на угасание политической злободневности. Слов вокруг этой поэмы было сказано много, ее приняли (хоть с оговорками) большевики и категорически не приняли их противники, увидевшие в этой поэме предательство христианской культуры. Зато интеллигенты-народолюбцы, видевшие смысл истории в народных действиях, обрадовались такому освящению народного безудержа. Иванов-Разумник ликовал: «“Двенадцать” — поэма о революционном Петербурге конца 1917 — начала 1918 года, поэма о крови, о грязи, о преступлении, о падении человеческом. Это — в одном плане. А в другом — это поэма о вечной, мировой правде той же самой революции, о том, как через этих же самых запачканных в крови людей в мир идет новая благая весть о человеческом освобождении. Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники»⁴⁹.

Как видим, сторонникам большевиков очень хотелось оправдать свои зверства, прикрывшись даже хоть именем Христа. Революционеры Октября вообще уравнивали свою революцию и революцию христианскую, забывая, что Христос погиб сам, без огня и бури, а его сторонников очень долго еще предавали мучениям и казни. Блок рисует иную ситуацию: убийцы возглавляют Христом. Но Христом ли? У Блока были сомнения. Степун, опираясь на дневниковую запись поэта, полагал, что поначалу Блок хотел изобразить антихриста в качестве предводителя красногвардейцев: «Непонятным появление Христа показалось и самому Блоку: “Когда я кончил поэму, я сам удивился, почему Христос, неужели Христос, когда надо, чтобы шел Другой”. Начертание Другого с большой буквы неоспоримо указывает на то, что Блок под “Другим” понимал антихриста»⁵⁰. Христос должен явиться в конце света, но в качестве *освободителя* от убийцы людей — антихриста. Возглавляющий убийц и каторжников, не преобразующий их, вряд ли может быть Христом. И все-таки Блоку виделся Христос, и он остался верен своему видению. Он кого-то видел, а кого — разглядеть и увидеть не мог. Хотя и дал этому кому-то конкретное имя.

⁴⁷ Я лучшей доли не искал... С. 474 (курсив Блока. — В. К.). Приведем убедительный анализ отрывка так и ненаписанной пьесы Блока, данный Б. Зайцевым: «И один отрывок — величайшей важности для понимания Блока. набросок пьесы из жизни Христа («Русский современ.»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: “ни женщина, ни мужчина”, о св. Петре “дурак Симон с отвислой губой”, или “все в нем (Иисусе) значительное от народа”, “апостолы крали для него колосья” — все-таки он написал. Это, скажем, не литература. Но... что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи “Двенадцати”. Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в каком настроении она создавалась. Что же, “настоящий” Христос вел “Двенадцать” или блоковский, “ни женщина, ни мужчина”, у которого “все значительное от народа”? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок пристегнул к своему писанию» (Зайцев Борис. Далекое. М., 1991, с. 464).

⁴⁸ Белый Андрей. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997, с. 495—496.

⁴⁹ Иванов-Разумник. Испытание в грозе и буре. В кн.: Блок А. Двенадцать. Скифы. Предисловие Иванова-Разумника. СПб., 1918, с. 6.

⁵⁰ Степун Ф. А. Историческое и политическое мировоззрение Александра Блока. Портреты. С. 29.

6. Страшный мёрз

Но вчитаемся в последние строки поэмы.

...Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой, невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Начнем наш анализ этих строк с методологического замечания. Странно появление Христа под гул пальбы, среди пролитой крови, в час земной катастрофы, как предводителя убийц-каторжников («на спину б надо бубновый туз»), ибо до Него по всем евангельским и святоотеческим текстам должно быть пришествие антихриста, Христос же приходит только *после* антихриста, чтоб покарать насильника людей, установив наконец мир на Земле и вернув людей в гармоническое состояние. Но поэт все же *увидел* Христа. Посмотрим, что он *видел*, ибо это он дает нам как свидетель, «констатирует факт», по его собственным словам.

«...Так идут **державным** шагом». Таким шагом идут не апостолы, а представители государства, с которым Христос связан не был. Напротив, с идеей сильного государства связывался и Евангелием, и отцами церкви именно антихрист.

«Позади — **голодный пес**». Пес, как известно, если говорить о религиозной символике, скорее всего спутник дьявола.

«Впереди — с **кровавым флагом**». Кроваво-красный флаг заслуживает некоторой детализации. Во-первых, *кроваво-красный флаг был не только у большевиков, но и у немецких нацистов*, разной была лишь символика — у большевиков серп и молот, у нацистов свастика. Во-вторых, себя Блок мыслил раньше рыцарем белого знамени как символа христианской России. Вряд ли Христос отказывается от своих белых риз. В-третьих, сошлемся на любопытное культурологическое наблюдение аргентинского мыслителя и президента Аргентины конца прошлого века Домениго Сармьенто: рассуждая о символике красного цвета, он обращает внимание на «страны, где флаги багряно-алые: Тунис, *Монголия*, Марокко» и замечает, что красный цвет «очень нравится дикарям», а потому «багрово-алый цвет — это символ насилия, крови и варварства»⁵¹. Еще существеннее для нашей темы следующие наблюдения: «Накидка римских императоров, символ диктаторской власти, была пурпурной, *алой*. <...> Во всех европейских государствах до прошлого века палач носил *пурпурные одежды*»⁵². Итак, кровавый флаг есть символ диктаторства, диктаторской власти и палачества. Заметим, что собственно красный цвет имеет в русском языке помимо негативного («пустить красного петуха») и позитивный смысл (красный — прекрасный, «красна девица»), чем впоследствии удачно воспользовались большевики. Можно вспомнить и красный цвет стягов дружины князя Игоря, цвет воинский, означающий небоязнь пролития крови. Правда, в «Слове» цвет этот обозначается словом *червленьый*: «Червленьый стяг и белое знамя» — или на древнерусском — «бела хорюговь», т. е. воинский стяг и княжеское, государственное (более важное) знамя. Но существенно, что Блок в «Двенадцати» видит именно *негативный оттенок* цвета, не красный, а *кровавый*. Зададим риторический вопрос: может ли под «кровавым флагом» идти Христос?

«И за вьюгой, **невидим**». Христос всегда являлся во плоти, даже позволял вложить персты в свои раны. Более того, у апостола Иоанна находим на этот счет вполне конкретные предостережения по поводу бесплотности и невидимости Христа: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, *пришедшего во плоти*, есть от Бога: *а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти*, не есть от Бога, но это дух *антихриста*, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин 4, 1—3; курсив мой. — В. К.).

«**И от пули невредим**». Но не случайно, как отметил Бунин, Блок после «Двенадцати» собирался писать издевательскую пьесу о Христе как расслабленном и сла-

⁵¹ Сармьенто Д. Ф. Цивилизация и варварство. Жизнеописание Факундо Кироги. М., 1988, с. 88 (курсив мой. — В. К.).

⁵² Там же.

боумном. Сильный, который «от пули невредим», вряд ли может быть принявшим мученическую смерть Христом, чьи раны были очевидны, недаром Фома Неверующий вкладывал в них свои персты. И, упав с горы, Он бы разбился (вспомним искушение в пустыне, когда Он отказался от помощи сатаны), в отличие от соловьевского антихриста, бросившегося с обрыва, но уцелевшего. Блок вернулся к соловьевским темам в конце жизни, когда предчувствия мыслителя начали сбываться, но не захотел им поверить, не захотел их увидеть глазами Соловьева. Конечно, соловьевец Блок помнил «Три разговора», так что речь может идти здесь о явной полемике, тем более что одновременно написанные «Скифы» все пронизаны такой полемикой.

А более всего поражает олеографический и мещанский «белый венчик из роз» вместо *тернового венца*, каким был в реальности увенчан Христос. И вряд ли здесь можно увидеть нечто от розенкрейцеров. Если уж искать некое историко-метафизическое воздействие на Блока, то скорее этот венчик из роз идет от нищенского Заратустры, венчающего себя розами. Это штрих не из образа Христа, а скорее — антихриста-сверхчеловека.

Возможно, Блок исходил из славянофильско-народнической позиции, которая вылилась у него в формулу, что в Христе «все значительное от народа». Но, и это чрезвычайно важно, Христос не с диким народом, он пришел, как прежде пророки, *исправить народ*, а не согласиться с его пороками, принеся злым и жестоким заповеди любви и милосердия. Он — сын Бога и во внешней поддержке не нуждается. Стоит еще раз подчеркнуть, что антихрист не легитимен, а потому приходит на волне народной любви и поддержки. Под видом добра — апология насилия и грабежа. Народ требовал распятия Христа, освободив преступника Варраву, и двенадцать блоковских каторжников тоже стреляют в того, кого они считают Христом, но этот некто уходит от их пуль, чего Христу сделать не удалось.

Блоковский некто вполне бесплотен и условен, Блок видел световое пятно, но ему захотелось видеть в нем Христа. Иными словами, вопреки слову апостола он не исповедовал Иисуса Христа, «пришедшего во плоти». Вот рассказ Блока, записанный Алянским и авторизованный Блоком, о возникновении образа Христа в поэме. Поэт любил гулять вьюжными ночами. И вот во время вьюги «вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг? <...> Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе. <...> Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос»⁵³. Он не увидел, а домыслил Христа. То же, что он видел и пересказал как свидетель, дает нам образ совсем другого персонажа конца истории, который и должен был прийти до Христа. Не случайно Луначарский как-то по поводу блоковского «Другого» упрекал поэта, что он не увидел Другого в Ленине. У Степуна есть статья «Путь Александра Блока от Соловьева к Ленину». Ленина Аскольдов в сборнике «Из глубины» назвал одним из ликов антихриста. А один из героев текста С. Булгакова из того же сборника вспомнил и поэму Блока. О «Двенадцати» говорит *Беженец*: «Высокая художественность поэмы до известной степени ручается и за ее прозорливость. Может быть, и впрямь есть в большевизме такая глубина и тайна, которой мы до сих пор не умели понять? Но дальше спросил я себя: насколько же вообще простирается ясновидение вещего поэта? Есть ли он тайнозритель, который силою поэтического взлета способен увидеть грядущего Господа? И довольно было лишь поставить этот вопрос, как пелена спала с глаз, и я сразу понял, что меня так волновало и тревожило в стихотворении, как нечто подлинное, но вместе и страшное. Поэт здесь не солгал, он *видел*, как видел и раньше, — сначала Прекрасную даму, потом оказавшуюся Снежной Маской, Незнакомкой, вообще двусмысленным и даже темным существом, около которого загорелся “неяркий пурпурово-серый круг”. И теперь он кого-то видел, только, конечно, не Того, Кого он назвал, но обезьяну, самозванца, который во всем старается походить на оригинал»⁵⁴.

Соловьев даже под ликом филантропа, в образе добродетеля распознал антихриста, ибо у него был четкий критерий: *тот* выступает *вместо* Христа, подменяет Его собой. Блок, расплевавшись с православным христианством («что нынче невеселый, товарищ поп?») в тот момент, когда священников лишали всяких прав и расстреливали десятками, причем не сервильных, а лучших, счел обещание нехристианского до-

⁵³ Алянский С. М. Из воспоминаний «Встречи с Александром Блоком». В кн.: Я лучшей доли не искал... С. 509.

⁵⁴ Булгаков С. Н. На пиру богов. В кн.: Вехи. Из глубины. С. 325.

бра благом и как бы поэтически благословил зло образом Христа. Счел революцию истинным проявлением деятельной любви, хотя вся поэма — живая картинка из апокалипсиса: снежной, вьюжной ночью идут двенадцать красно-армейцев-каторжников, стреляющих в любую смущающую их нетрезвый ум фигуру, обещающих грабежи и устраивающих настоящую охоту на проститутку (бывшую «Незнакомку», по мысли Федотова). Вся эта охота и пьяная удаль заканчиваются убийством, в результате же пред исчадиями ада возникает под пером поэта якобы облик Христа, ведущего куда-то, возможно, в светлую даль. Поразительно, как поэт, нарисовавший апокалиптическую картину происходящего, пренебрег мистическим прозрением Соловьева. Бердяев писал о соловьевской «Краткой повести...»: «В этой повести историческая перспектива исчезает, стираются грани между двумя мирами и все представляется в апокалиптическом свете. <...> Вл. Соловьев видит нарастание зла под видом добра, соблазняющего добром»⁵⁵. Апокалипсис поэт Блок увидел, но вождя этого апокалипсиса видеть не пожелал.

Полемизируя с Соловьевым, Блок тем не менее добавил убедительные черты, изображающие приход антихриста в его реальности. Но при этом создал поэму великого самообмана. Если бы, однако, поэт изобразил предводителем красногвардейцев, идущих «без имени святого» и под кровавым знаменем антихриста, то и поэма была бы другой или бы ее не было вовсе. Она до сих пор держится этим явным противоречием, сдвигом образа, когда дьяволово войско почему-то возглавляет Христос. На самом деле Блок видел антихриста, но марево, напущенное врагом христианства, было таково, что поэт обознался. И поступил так, как предупреждало Евангелие не поступать. Принял лжехриста за подлинного Христа. По этой поэме можно постигать антихристов мóрок, когда человек, способный даже к духовидению и призванный «на пир богов», видит всю подлинную реальность злодеяния, но называет это добром. Тайна поэмы в том, что, обоготворив стихию, направленную против европеизма, европейской цивилизации, «Розы и креста», европейско-рыцарской и романтической «Прекрасной дамы», он в сущности отрекся и от способности, дарованной европейско-христианской культурой, — отличать Христа от его обезьяны, от самозванца, от антихриста. Поэма «Двенадцать» остается поэмой великого соблазна, утверждающей, что Зло может вести к Добру, а Высшее Благо предводительствовать злодеями. В ответ на соловьевское «Оправдание добра» Блок по сути дела написал «оправдание зла».

После этой поэмы он до самой смерти практически ничего не пишет. И это происходит с одним из самых продуктивных поэтов России! Три года спустя, в 1921 г., когда ему в общем-то стало ясно, что зверства есть зверства, что душа отныне живет «среди глубины отчаяния и гибели», Блок рассчитывается с поэмой жуткой, полной самоубийственной издевки фразой (дневник от 17 января): «Научиться читать “Двенадцать”». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда...» Возможно, прозрение пришло, но заплатил он за то, что поддался мброку, своим творчеством.



⁵⁵ Бердяев Н. А. Основная идея Вл. Соловьева. В кн.: Н. А. Бердяев о русской философии. В 2 тт. Свердловск, 1991, т. 2, сс. 48—49.

Валерий ПИСИГИН

Письма с Чукотки

То, что удалось собрать под одной обложкой, я не рискну назвать книгой. Тем более книгой о Крайнем Севере, о котором вообще нелегко писать, еще труднее думать, и уж совсем непросто совмещать одно с другим.

Я оказался на Чукотке не волей обстоятельств, не случайно и не по недоразумению. Этого требовал замысел будущего повествования, в котором Северу как «действующему лицу» отводилась роль не бóльшая, чем внешнего оформления событий более существенных.

Однако Север настолько вторгся в замысел, что стал доминировать в нем, и мне с трудом удавалось (и неизвестно, удалось ли) удерживать себя, чтобы следовать задуманному. Пробыв на Чукотке чуть больше двух месяцев и притащив оттуда целый ворох записей, набросков, документов, не говоря уж о впечатлениях, я оказался в положении кладоискателя-кустаря, который в поисках кувшина с монетами наткнулся на захоронение Чингисхана. Глядя на кипу бумаг, я не знал, что с ними делать.

Когда я отчаялся и уже было отложил затею, мне подсказали выход: собрать отосланные с Чукотки письма и как есть опубликовать их, добавив немного документальных материалов, «для апперцепции», как выразился мой друг. Теперь мне предстояло собрать письма, что оказалось немногим проще, чем их написать.

Больше всего писем я отослал в Париж. Вероника Г. в свое время работала журналисткой в Москве, прекрасно знает русский и еще лучше нашу историю — предмет ее профессиональной деятельности. Другие адресаты — это преподаватель философии из Казани, петербургский художник, искусствовед и теоретик театра, проживающий в Москве, литературовед из Пскова, учительница русского языка и литературы из Торжокского педучилища...

Я так же написал два больших письма своему другу Г., известному политику, имя которого у всех на слуху. Все попытки заполучить эти письма или хотя бы их копии закончились безрезультатно. Говорит, письма бесценны и он всегда их носит в кармане, не помнит только в каком. Скорее всего они утеряны, и читатель будет лишен удовольствия ознакомиться с моими взглядами на политическое переустройство нашего общества и государства. Не вернула мне три письма и одна милая особа, хотя я грозил ей разрывом отношений, которые и составляют основной предмет моих к ней посланий. В результате нет ни писем, ни отношений. Таким образом, читатели ничего не узнают ни о моих политических воззрениях, ни о сердечных переживаниях. Надеюсь, это не окажется единственным достоинством повествования. Впрочем, в наш век и это немало.

Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия, это — факт географический.

*П. Я. Чаадаев.
Апология сумасшедшего*

4 ноября, Москва

Дорогая Вероника!

Как ты догадываешься, я готовлюсь к поездке. Похоже, это будет настоящая экспедиция, причем в край, о котором я не имею ни малейшего представления. Знаю только, что это далеко. Ничего о Чукотке и о Крайнем Севере не читаю, стараюсь избегать малейших, даже косвенных, соприкосновений с тем, что предстоит увидеть.

Мой приятель, к которому я обратился за советом, какую одежду взять, увлекся и стал рассказывать о красотах Чукотки, о том, что на побережье Ледовитого океана он видел огромный красный танкер, в то время как вода была фиолетовой, а вокруг плавали белые льдины и небо было зеленым... Я остановил приятеля, потому что своим рассказом он вторгся в мое воображение, предвосхищая события. Всю ночь я представлял картины с фиолетовой водой и красным парходом. Для меня также подобрали стопку книг, убеждая, что их необходимо прочесть. Но и от книг я отказался. В мои планы не входит сочинять научный труд и соперничать с североведами, съевшими на Чукотке не одну собаку упряжку.

Если помнишь, замысел таков: некий человек отправляется на поиски первого младенца двухтысячного года, двадцать первого века и третьего тысячелетия. Я хотел отослать этого воображаемого господина сначала на край Чукотки, например, в Уэлен, через неделю перебросить в Петропавловск-Камчатский, а затем в Магадан, полагая, что в одном из этих мест обязательно родится счастливый младенец. Ведь световой день и отсчет суток начинаются именно там. Поскольку поиск младенца — это миграция от одного родильного дома к другому, из одного города в другой. Эти поиски и станут сюжетом будущей книги. Я считал, что месяца мне вполне хватит, но теперь вижу, что планы придется менять вместе с представлениями о расстояниях.

Чукотка, Камчатка и Магадан — не просто далеки друг от друга. Это разные страны, и перебраться с Чукотки на Камчатку, тем более зимой, немногим легче, чем из Парижа на... Луну. То же и с Магаданом. На такие перемещения не хватит ни времени, ни денег, ни здоровья. Кроме того, сюжет получит ритм, если поиск вести от центра на восток. Тогда край земли, восход солнца и рождение младенца — соединятся. Идеально, если первый ребенок родится где-нибудь на побережье Берингова пролива, в Уэлене или в Лаврентия. В крайнем случае пусть он родится поближе к центру полуострова, только бы это была Чукотка. Если же младенец появится на свет в Магаданской области или на Камчатке, за ним останется большое пространство, в то время как перед ним должны быть и вся Россия, и весь мир.

Интересно, может ли в тундре родиться ребенок, но так, чтобы никто об этом не узнал? Почему бы и нет. Ведь там, в чуме, среди снегов и оленей, наверняка, рожают. Что же, они о каждом докладывают?

Теперь вот о чем.

Неожиданно возник вопрос: когда именно настанет двадцать первый век и третье тысячелетие? В народном сознании, в том числе и моем, новый век ассоциируется с круглой датой — двухтысячным годом. Теперь, ссылаясь на математиков, стали доказывать, что двухтысячный год не начинается новый век, но заканчивает старый. Если так, то мой младенец не окажется «легитимным».

Послушный науке, я уже было решил отложить затею на год, но у меня возникли сомнения. Не математические, а метафизические. Моя бабушка родилась в 1900 году и всегда считала, что родилась в двадцатом веке. В то время как дедушка, родившийся в 1899 году, был убежден, что родился в прошлом, девятнадцатом веке. Никогда ни у кого сомнений на этот счет не было, и всякий, кто родился в 1900 году, считал себя ровесником века.

Теперь, если следовать науке, все не так. Один телеведущий постоянно поправляет тех, кто собирается встречать новый век вместе с двухтысячным годом. Говорит, что еще через год. Никто с ним не спорит, но встречать собираются сейчас, потому что на календаре грядет круглая дата. Что же делать с мнением народным? Его или науки придерживаться? И как считают в Париже?

Я не знал, как быть, пока не встретился с одним мудрым и набожным стариком. Он сразу посетовал на то, что людей одолевает гордыня, все ответы они ищут в науке, а надо бы их искать у Бога. Он сказал, что для него нет и не может быть иного летосчисления, чем то, которое берет свое начало от Рождества Спасителя. «Поезжайте на Чукотку. Через три года этого вопроса не будет. В сознании останется только круглая дата», — посоветовал старик.

Этот разговор утвердил меня окончательно: ехать надо сейчас.

До свидания, привет Парижу, о котором скучаю, а Москва, со своей политикой, надоела донельзя.

20 ноября, Москва

Привет, Наиль!

Получил твое письмо, но отвечаю лишь неделю спустя, так как занят сборами. Все же еду не в Торжок и не в Казань. На Чукотку, говорят, попасть трудно, но можно, а вот выбраться... Меня предупредили, чтобы я не вздумал забраться в какой-нибудь отдаленный поселок: можно до весны застрять.

Ты спрашиваешь: почему Чукотка да еще зимой, накануне Нового года? Не сошел ли я с ума?

Знаешь, я не романтик и никогда им не был. Мне всегда были непонятны коллективные восторги от походов, палаток, костров, ночных бдений и самодельных песен вокруг всего этого. Меня и сейчас раздражают великовозрастные дяди и тети, поющие под гитару. К тому же вся эта «романтика» ассоциируется у меня с пионерией и комсомолом, которых я не любил еще больше, чем они меня. Поразительно, но при этом я был и пионером, и комсомольцем, ходил в походы, жег костры и даже пару раз играл возле них на гитаре. Вот только не пел, потому что свой голос сорвал, еще будучи октябреньком.

Меня также никогда не тянуло в экзотические страны и на необитаемые земли, тем более на Крайний Север, где вечная мерзлота, свирепствуют вьюги и метели. Мой «романтизм» не простирался дальше себя самого, что можно было бы назвать самосовершенствованием, если бы я чего-то достиг. Я всегда считал, что, именно сидя дома, в тепле, уюте и безопасности, лучше всего созерцать окружающий мир и пытаться его объяснить. И, даже когда я стал выбираться в какую-нибудь деревню или небольшой близлежащий город, моим домом стал автомобиль, который я не оставляю дольше, чем на два часа, и от которого не отхожу дальше, чем на двадцать шагов.

Чукотка возникла в моих замыслах не потому, что эта далекая и неведомая страна меня притягивает и манит, не потому, что я решил забраться на край земли и оттуда посмотреть на мир, и не потому, что бегу от себя (я хорошо к себе отношусь). Просто этого требует сюжет будущей книги. Какой? Пока не скажу. Прости, я уже способен утаивать замыслы. Скажу лишь, что он связан с восходом солнца. Если бы день начинался на Украине, у тебя в Татарстане или в Бразилии, я бы отправился туда. Причем с большим энтузиазмом, потому что не терплю холода. Более теплолюбивого существа, наверное, нет, так как трудно представить большее тепло, чем то, которое сопровождало мое детство.

Пуховая белоснежная перина, прежде чем принять меня, разогревалась несколькими грелками, которые аккуратно подкладывала в кровать бабушка. Взбитая подушка также подогревалась, но не сильно, потому что согласно Суворову (генералиссимус почитался в доме наравне с Пушкиным, Ломоносовым

и Тарасом Шевченко) голову надо было «держат в холоде». И, пока разогревалась постель, бабушка грела мою фланелевую рубашку, для чего помещала ее в большую кастрюлю, а уже кастрюлю — в духовку. Только после этого обеспуговиченная рубашка (чтобы пуговицы не причиняли неудобств) надевалась на меня. Затем я укладывался спать (не сам — бабушкой!), и, пока не усну, она должна была находиться рядом, гладить меня по голове своей теплой рукой и приговаривать ласковые слова. Иначе я не засыпал.

Затем бабушка, чуть шурша, уходила, оставив меня в сказочном мире, где я был защищен неприступными перинами и подушками, а еще толстыми кирпичными стенами старого дома. Никакие внешние события не касались меня. Холодные ветры, мороз, слякоть и всякая непогода были мне неведомы, равно как и суровые законы человеческих отношений. Был лишь добрый и солнечный мир, готовый меня с радостью принять. Даже и теперь, когда мне плохо, я нахожу утешение в глубоком сне, укутавшись с головой тяжелым одеялом.

Можешь ли теперь представить, что значит для меня отправиться зимой на Чукотку?

К тому же у меня нет одежды, пригодной для настоящей зимы. Ни обуви, ни носков, ни куртки, ни теплого свитера, ни белья, ни шапки... Оказалось, что вся моя одежда хороша лишь для соблазнения девиц и дефилирования от подъезда к машине и обратно. На Чукотке ей грош цена.

Мне подсказали адрес магазина для летчиков, где я и приобрел все, что надо. Куртку из овчины, летчицкий зимний комбинезон, унты (особая радость!), пару шерстяных свитеров, теплые тельняшки, меховые рукавицы, несколько пар носков, четыре комплекта теплого белья... Кроме всего прочего, приобрел американский спальный мешок и уже опробовал его. Я даже не отвечу, чего больше испытал от такой покупки: удовольствия или гордости? Кстати, совсем недорого, в сравнении с ценами в спортивных магазинах, клиенты которых забавляются альпинизмом и горными лыжами. Впрочем, Чукотка — тоже «забава» еще та. Билет в Анадырь, в один конец, стоит почти восемь тысяч и, говорят, подорожает еще.

На днях передали репортаж с Чукотки, связанный с предстоящими выборами: показали дома, занесенные снегом, спасающихся от метели людей и оленей, а журналист попытожил, что скоро на Чукотке похолодает и начнется зима... После репортажа я отогрелся в горячей ванне.

Мои друзья вместе с завистью высказывают опасения и советуют перенести поездку на лето. Вообще кого ни спроси — все всё знают о Крайнем Севере и, в частности, о Чукотке. Мне без конца дают советы, наставления, где и что надо говорить, как себя вести, что брать с собою. Один знающий человек советует обязательно взять шматок сала, которое будет поважнее фотоаппарата. Другой знаток рекомендовал купить солнцезащитные очки. Обе рекомендации я выполнил, хотя на Чукотке полярная ночь.

Еще один приятель советует взять охотничий нож, на случай если нападут медведь, волк или еще кто-нибудь. На его друга, художника, напал морж. Тот вроде бы стоял на берегу то ли Охотского, то ли моря Лаптевых, возле Чукотки или Камчатки, рисовал Ледовитый океан, был увлечен айсбергами и не заметил, как подполз здоровенный морж. Я спрашиваю: как же он сумел незаметно подкрасться? Но приятель говорит, что шум океана скрадывал все прочие звуки, к тому же у моржей не слышно шагов. Они устроены так, что не ходят, а переливаются: жир перекачивается с нижней части тела в верхнюю, и таким образом осуществляется передвижение. Художник лишь услышал сопение за спиной. Повернулся, а морж уже изоготовился к прыжку. Где видано, спрашиваю, чтобы моржи прыгали? Но приятель говорит, что на Чукотке какие-то особенные моржи, они вроде бы и прыгают, и даже скачут...

Словом, купил я нож, в котором, кроме нескольких лезвий, штопора, пилы, напильника, линейки и ножниц, есть еще вилка, консервный нож и ложка, так что в развернутом виде изделие похоже на оцетинившегося ежа. Кстати, про-

давщица напомнила о судьбе Роберта Скотта, экспедиция которого погибла из-за того, что нечем было открыть консервы. Из-за мелочи, сказала девушка, погибли хорошие люди.

Мне также посоветовали взять фонарик, причем непременно мигающий. На случай, если следы заметет и обратной дороги не найду. Так хоть фонариком помигаю, глядишь, кто-нибудь отзовется. Мне рассказали, как недавно один пошел по нужде и был немедленно окружен стаей голодных волков: сидящего на корточках, его, видимо, приняли за зайца. Он давай кричать. На крик сбежались еще и медведи. Фонариком бы помигал — зверье бы разбежалось. А так парень спасся только благодаря суматохе: звери начали выяснять отношения из-за добычи, и он бочком, между сопок, проскочил к своим...

Поразительно! Не побывав даже рядом с Севером и Чукоткой, все, с кем я разговаривал, прекрасно осведомлены о положении дел в тех краях, знают о природе, о коренном населении и даже о вековых обычаях. Буквально все рассказы вали о невероятном гостеприимстве чукчей и эскимосов, которые, чтобы показать доброе расположение к гостю, подкладывают ему в постель своих жен. Мне, как гостю издалека, обязательно подсунут, так что я должен быть готовым к этому, уважать обычаи и нравы малочисленных народов, не проявлять высокомерия и небрежения, а то чукчи — народ воинственный... «Если угостишь гостя, а он откажется, ты ведь обидишься? — рассуждал мой приятель. — Так это всего лишь еда. Что же говорить об игнорировании чужеземцем любимой женщины!»

Довели до того, что мне приснилось, будто я остался на ночлег в чуме и в ожидании того, что мне подсунут чью-нибудь жену, никак не мог уснуть. (Приснится же: во сне и не мог уснуть!) Лежа в своем спальном мешке, я озирался, прислушивался ко всякому шороху и вот слышу, как впотьмах, ступая по оленьим шкурам, ко мне пробираются хозяйева. Перешептываясь и перемигиваясь, они хотят засунуть мне в мешок большой сверток, — не это ли чья-то жена? — а я пытаюсь уклониться и делаю вид, что сплю. Но лишь только я выразил недовольство — тут же блеснули в их руках кривые ножи, которыми только что был мелко нашинкован какой-то зверь, оскалились смуглые засаленные чингисханьи физиономии, и со всею ненавистью оскорбленного народа чукчи посмотрели на меня и то ли спросили, то ли приговорили: «Не уважаешь!» — «Как же не уважаю?» — взмолился я. — «Докажи, однако!» — потребовали от меня... и усилием воли я проснулся.

Вот какие страсти, дорогой друг, сопровождают подготовку к моей экспедиции. Не знаю, будет ли возможность написать тебе еще до отъезда, но с Чукотки обязательно напишу. Правда, говорят, письма оттуда идут по три месяца

P.S. Пересылаю тебе заметку о чукчах из настольного Энциклопедического словаря Граната. Она хоть и устаревшая — 1901 год, — зато лишена советской риторики.

«ЧУКЧИ, инородцы Приморск. и Якутск. областей, въ сев.-вост. углу Камчатки по рр. Кальму и Анадыру, около губы св. Лаврентія и по берегамъ Охотск. моря. Чукчи постепенно вымираютъ, и численность ихъ, некогда громадная, не превышаетъ теперь 8 т. По образу жизни разделяются на оседлыхъ и кочевыхъ (оленныхъ). Первые живутъ на морскомъ берегу, вторые ведутъ жизнь пастушескую. Внешностью Чукчи похожи на эскимосовъ: они низкаго роста, толсты, смуглы, съ малыми косыми глазами. Живутъ въ подвижныхъ юртахъ изъ оленьихъ шкуръ, тесно и неопрятно. Часть Чукчей крещена, большинство состоитъ въ шаманствѣ, полигамія дозволена, но редка; по смерти супруга жена переходитъ къ младшему брату. Чукчи управляются старшиной (наиболее вліятельнымъ и богатымъ оленями человекомъ). Главнымъ занятіемъ ихъ являются рыболовство и звероловство, собаки ценятся высоко и служатъ для охоты и для езды. Оленные имеютъ страсть къ торговле, которая производится въ Анюйской креп., Анадырскѣ и Гижигѣ и состоитъ въ обменѣ пушнаго издѣлія, холстъ и пр.; кроме того, Чукчи ведутъ торговлю съ американцами и съ эскимосами Берингова пролива».

ЧАСТЬ I. БИЛИБИНО

29 ноября — 3 декабря. Билибино

Привет, дорогой Иверий!

Уже три дня, как я на Чукотке, в городе Билибино. Ты советовал записывать первые впечатления, самые точные и сильные. Я постараюсь, вот только не пойму, когда заканчиваются первые впечатления и начинаются вторые, третьи... десятые. Во всяком случае, часть моих впечатлений я пересылаю тебе: быть может, из них когда-нибудь получится очерк.

Первые впечатления

Многочасовой перелет в направлении, обратном вращению Земли, уничтожил сутки. Вылетали из Москвы, было темно, летели во тьме и приземлились в Певеке тоже затемно. Исчезнувший день лишь мелькнул пурпурно-серебряным отражением во льдах океана, глядя на которые думаешь: «Не приведи Господь!» Когда-то Гоголь писал о наших пространствах: три года скачи, ни до какого государства не доедешь... Вот и здесь — летишь, летишь, а внизу все та же безжизненная бесконечность и хоть бы один огонек. Сентиментального Николая Васильевича, выросшего в нежной Украине, раздражали унылые и однообразные российские пейзажи. Что бы он почувствовал, взглянув в иллюминатор?

Известно, что Чукотка находится далеко. Но как далеко — представить невозможно, потому что мы, живущие в России, не понимаем, что такое наши расстояния. То ли все относительно близко, то ли все относительно далеко... Я искал в магазинах карту Чукотки, но взамен продавцы предлагали карты Камчатки, Якутии и даже Дальнего Востока, полагая, что все это в одном и том же месте. Для жителя центральных районов все, что находится за Уралом, — далекое и малодоступное. Что же говорить о Чукотке, если от Москвы до Иркутска такое же расстояние, как от Иркутска до Уэлена? Далекий Байкал является лишь географическим центром России!

Чукотка и Камчатка действительно граничат, а Магадан и Петропавловск-Камчатский — ближайšie к Анадырю крупные центры. Но между этими городами и Анадырем расстояние такое же, как между Москвой и Тюменью! Еще недавно Чукотка входила в состав Магаданской области, но от Магадана до залива Святого Лаврентия, где я намереваюсь побывать, расстояние такое же, как между Москвой и... полуостровом Ямал!

Вместе с тем для жителей Чукотки Магадан и Петропавловск-Камчатский — ближние города, о которых в Анадыре, Билибино или Певеке говорят так, как в Москве о Подмоскowie. Кстати, Москва от мыса Семена Дежнева находится дальше, чем столица Мексики.

Но масштабы наших расстояний не измеряются лишь километрами и часовыми поясами. Существует множество причин, которые удаляют Чукотку и Крайний Север гораздо дальше, чем они на самом деле находятся, оставляя эти земли не просто труднодоступными и оторванными от остальной России, но еще и разделенными между собой. Проще попасть из Нью-Йорка в Москву и даже из Анадыря в Нью-Йорк, чем перебраться из Билибино в кажущиеся соседними Уэлен и Провидения.

Недавно в новостях сообщили, что где-то в этих широтах нашли хорошо сохранившегося мамонта. Его двухметровые бивни торчали из-под земли много тысяч лет, и никто их не замечал. Но не потому, что люди у нас ленивы и нелюбопытны. Просто за все это время никто не проходил мимо. Лишь французская экспедиция, проезжая на вездеходах, обнаружила бивни и теперь пытается извлечь из мерзлоты всего мамонта, чтобы клонировать или даже оживить его. Да! Непросто будет интегрироваться в мировую экономику стране, в которой двадцать тысяч лет из-под земли торчат бивни мамонта и остаются незамеченными.

...Певек, куда мы приземлились, находится на побережье Восточно-Сибирского моря, но город я не видел. Кроме того, что было темно, прямо с одного самолета мы пересели на другой, грузовой. Он без окон, без сидений, без туалета и

без стюардесс. Зато все пассажиры друг друга хорошо знали, словно это сельский автобус. Получасовой пересадки хватало, чтобы я оценил Певек. Температура минус двадцать, но с таким ветром, что я вмиг промерз. Московскую одежду пришлось сбрасывать и прямо в самолете переодеваться в настоящую зимнюю.

Спустя час приземлились, но от аэропорта до самого Билибино еще сорок километров. Это чуть меньше часа пути на «уазике». Температура ровно на двадцать градусов ниже, чем в Певеке, но ветра не было вовсе.

Мои чукотские благодетели разместили меня в обычной двухкомнатной квартире, в которой сейчас никто не живет, но где все приспособлено для проживания. Здесь тепло, тихо, есть горячая вода, ванная, туалет... Если бы сообщили, что я не на Чукотке, не нашлось бы оснований сомневаться.

На кухне плита «Лысьва», известная у нас не меньше, чем находящийся здесь же холодильник «Бирюса»; в спальне типовой шкаф и двухспальная кровать; в большой комнате — раскладывающаяся софа и отечественный телевизор; в прихожей — трюмо с тумбочкой, внутри которой лишь несколько шариковых ручек, давно не годных к употреблению, и устаревшие телефонные справочники; остальное — стулья, стол, линолеум, обои... — такое же, какое имеется на всем нашем необъятном пространстве, начиная от Калининграда. Те же кастрюли, сковороды, чайник, вилки, ложки, ножи, половник, солонка, сахарница, пепельница, дверные ручки, выключатели и розетки, равно как и радио, точно такое же, какое я недавно видел в гостинице на Валдае, и всякая прочая мелочь, известная каждому, кто только знает наш советский быт. В ванной все то же и такое же, что можно увидеть в ваннах комнатах Пскова и Екатеринбурга, Пятигорска и Смоленска, Кемерово и Перми. Имеется даже обязательный кусок пемзы, которым наши граждане приводят в порядок пятки, причем он такого же размера, той же формы и того же цвета, что и повсюду, и если вас с намыленной головой и зажмуренными глазами незаметно перенесут за тысячи километров куда-нибудь в Орел или Иваново, то, пошарив по краю ванны, вы обязательно отыщете такой же кусок пемзы и даже не почувствуете, что находитесь на противоположном конце Земли. Зеркало и краны, мыльница и само мыло, оставленные кем-то зубные щетки и тюбики из-под пасты, тазик под ванной, табуретка, выцветшая полиэтиленовая занавеска и все прочее — точно такое же, как и повсюду, поэтому привыкать и приспособливаться не приходится. А к этому надо добавить те же звуки, издаваемые канализацией, к ним — те же запахи, присовокупить позывные «Маяка» и задушевные песни, раздающиеся из радио, и ко всему — телеэкранные физиономии, которые пребывают в тех же позах, произносят те же слова, с той же интонацией, даже не представляя, что, пока они болтают, их занудный телезритель перелетел на другой конец света и уже оттуда ворчит на них...

Я не обратил бы внимания на все эти перлы унификации, если бы обнаружил их в Брянске, Нижнем Тагиле или даже в Сургуте. Но здесь! Пролететь девять часов и увидеть все то же самое! Это не может не потрясти. Действительно, великая страна!

Впрочем, одно различие я все же заметил. В поведении тараканов. У нас, едва зажжешь свет, они тотчас разбегаются, здесь же некоторое время пребывают в оцепенении, словно отмороженные. Отчего так? Почему не бегут?

Еще недавно на месте Билибино, кроме волков голодных, ничего не было. Теперь же среди мерзлоты и холода глубокой ночью я набираю в ванну горячую воду и окунаюсь... Разве не чудо? Ведь кто-то затащил сюда эти ложки, вилки, табуретки, холодильники, кровати, кирпичи, трубы, котлы, насосы, атомные реакторы, затем собрал, соорудил конструкцию, заставил ее работать, и вершина этой работы — возможность залезть в ванну с горячей водой...

До самого утра я не мог уснуть. Стоя у окна, я ждал рассвета, чтобы наконец увидеть саму Чукотку, а не то, что сюда завезли. Кроме того, было интересно — во сколько зажгутся окна? В понедельник 29 ноября в 6 ч. 00 мин. из трехсот двадцати окон, которые я мог обозревать, светились лишь пятнадцать. Спустя час картина не изменилась. Зато появились первые билибинцы, выгуливающие собак. На сорокапятиградусном морозе это не особое удовольствие. Через двадцать минут стали зажигаться окна, но ожидаемого массового включения не последовало. Еще через полчаса билибинцы — взрослые и дети — пошли на ра-

боту и в школу. Никто из них не торопился. К девяти часам окна вновь стали темными: хозяева ушли на работу. Понедельник — день тяжелый.

Город Билибино появился на карте в 1958 году, хотя до того уже несколько лет существовал поселок геологоразведчиков. Юрий Александрович Билибин — легендарный геолог — в городе, названном в его честь, никогда не был. Он сумел вычислить на Колыме золото, и по стопам его расчетов направились колоритные бородатые люди. Вскоре они действительно обнаружили несметные золотые залежи.

Билибино расположено в континентальной тундре, на реке Большой Кэпэрвеем, среди живописных гор, и издалека может напомнить высокогорный курорт. Впрочем, слова «горы» на Чукотке не существует, и, если кто-то отважится его произнести, глядя на заснеженные вершины, его тотчас поправят: «Это не горы, а сопки». И будут поправлять до тех пор, пока слово «горы» не будет напрочь забыто. Горы — на Кавказе, в Гималаях, в Альпах, а на Чукотке одни только сопки.

Билибинцы также не любят, когда склоняют название их города, как это принято в русском языке. Говорят, один литератор склонял, так его книгу за одно это невзлюбили. Я даже не знаю, как быть и чему следовать: пожеланиям будущих читателей или правилам? Конечно, в книге я буду придерживаться правил, но сейчас, в набросках и письмах, оставляю так, как говорят на Чукотке.

Билибинский район занимает территорию в 174 652 квадратных километра. Нас иногда тешат сравнения: это вместе взятые Австрия и Португалия. Самый восточный поселок — Омолон. Он расположен на границе с Магаданской областью, на реке Омолон (с юкагирского — «Хорошая река»). От сочетания «омолонская тундра», «омолонская чукчанка» веет холодом и недостаточностью. Здесь как-то была зафиксирована температура минус шестьдесят семь!

На западе район граничит с Магаданской областью и Якутией, с обязательным ударением на «и». Иначе здесь не произносят. Якутия — холодный континент, отделяющий Чукотку от Красноярского края. С севера Билибинский район омывается Восточно-Сибирским морем, причем весьма условно, потому что «омывается» им Чукотка только тогда, когда море не сковано льдом.

Теперь о географических названиях вокруг Билибино. Они самые причудливые и если имеют коренное происхождение, то не всякий их выговорит. Вот названия некоторых рек: Пыркинайвеем, Майнгычаутапан, Кайчаутапан, Гуйвиниэг, Ныгчеквеем, Куйвырэннэт... Это еще попроще. Бывают такие, что язык сломаешь: западнее от Билибино есть река Лельвергыргын (что означает «Росистая река»), а если плыть по Малому Анюю, то обязательно встретится речка Ыттгыльывеем. Вообще что касается буквы «ы», то она здесь употребляется не меньше прочих букв. Вот названия горных перевалов: Ыттгытылян, Ымынкаюушкин, Ымыскываам, Ыльвэнейский, Ыльчуней...

Выводя эти названия, я сочувствую корректорам будущей книги, которым предстоит их сверять. Никогда они этого не сделают, потому что подробной карты Чукотки не найдут, а если найдут, то едва ли отыщут на ней эти реки, ручейки, горы и перевалы. Никакого времени не хватит, не говоря о терпении. У меня терпения предостаточно, и, внимательно просмотрев Топонимический словарь, могу сообщить, что не Билибинскому району принадлежит первенство по самым труднопроизносимым и длинным названиям. В Чаунском районе есть река Умкырыннэтырыткынвээм, что значит — «Исток кустарниковой реки». Но даже в этом районе это не самое длинное название. Там есть речка Гыргочанрыннатватапаам, в переводе — «Верхний распадок моховой реки». Но и это еще не все. Рекордсменом чукотской топонимики можно назвать речку из Анадырского района — Майегытколленныскываамкай, то есть «Река, протекающая по холмистой местности, где растет голубица».

Длина, впрочем, не значит, что слово самое труднопроизносимое. Есть названия короткие, но такие, что и не знаешь, как с ними быть: в Чаунском районе есть гора Ытвзынэй («Лодка-гора»). Понадобится отыскать эту гору — как спросить? С названиями на Чукотке сплошной сюр. Кстати, и речка Сюр тоже протекает где-то в этих краях. С якутского переводится, как «Страшная» или «Ужасная»...

Я упомянул названия коренные, а есть русские, почти лирические. Здесь, неподалеку, в Большой Кепервеем впадает речка Сойка, а чуть западнее — Тополевка, будто это не Крайний Север, а Тверская губерния. Кроме того, на Чукотке множество названий сугубо советских. Вот реки и ручьи: Бивачный, Тонкий, Торный, Каркасный, Вредный, Спокойный, Нартовый, Лагерный. Вот названия гор и сопки: Мрачная, Острая, Плоская, Овальная, Серая, Баранья. А вот озера: Вольное, Пасмурное, Воронье. У некоторых ручьев встречаются названия и вовсе пролеткультовские: Каменистый, Щебеночный, Смежный, Базисный, Суходрев, Трубный. Есть такие названия, что не догадаешься, чем вызваны они. Например, маленький ручеек почему-то назван Прорвой, а его собрат — Вражым. Есть ручей Двоякий, есть Двойной и есть едва заметный ручеечек, каким-то шутиком названный Необъятным. На границе с Якутией безобидно петляет ручей под названием Вампир. В Магаданской области на полуострове Тайгонос выделяется мыс с явно несевверным названием — Акчори. Ученые долго ломали голову, пока кому-то не пришла идея приставить к слову зёркальце. Оказалось — Ирочка! Один билибинец рассказал, что в районе есть ручей Кидэ. Был здесь геолог Эдик, всем замечательный, но мало пил. Поэтому в его честь назвали не реку, а лишь ручей.

Вернусь поближе к Билибино. Город окружен сопками Поэнурген, Раздольная, Острая, Верблюды, Орбита, на которой находится телевизионный ретранслятор. Самая близкая названа сопкой Любви (Sopka of Love). В недавние времена, когда все жили в бараках и не было возможности уединиться, на эту сопку поднимались парочки и занимались любовью. Разумеется, в летнее время. Мне рассказал об этом один уважаемый билибинец, неоднократно поднимающийся на сопку Любви и знающий там всякий кустик...

Если есть сопки-горы, значит, есть и долины. И одна из них, по которой проходит дорога в аэропорт и село Кепервеем, напоминает легендарную Изрельскую долину. Только там жарко, а здесь холодно. Настолько, что всех этих озер, рек, ручьев и ручейков попросту нет. Они вымерзли до дна, и даже русла их не отыскать. Все занесено снегом. Зимой карта Чукотки представляет сплошной белый лист, а все перечисленные названия — условны.

Тем не менее жизнь не замирает. Здесь водятся зайцы, волки, медведи, огромные лоси (их зовут сохатыми), горностаи, соболь, россомаха, белка простая и белка летающая (летяга), и, конечно, здесь есть олени, в том числе дикие. Законы выживания суровые. Все друг за другом охотятся и нещадно поедают. И люди тоже охотятся. Не ради удовольствия, но чтобы прокормиться.

Пернатый мир тоже разнообразный и хищный. Филины, совы полярные и неясны бородатые постоянно высматривают — от кого бы урвать кусок плоти. Но есть птицы и мирные. Если по забывчивости спросишь у чукчи, кто это сидит на дереве и долбит по стволу, чукча ответит: «Это уттырэвмырэзыт». Впрочем, зимой дятлы улетают. Но остаются глухари (уттырэвмырэв) и куропатки (рывымрэв). А кроме них, имеется еще пернатая мелочь с милыми названиями, вроде чечетки, сероголовой гаички, бурой оляпки или кедровки. Все они не только летают, но щебечут, воркуют и поют.

Утром я видел здоровенных ворон, которых не в состоянии удержать хилые ветки лиственниц. Заметил также двух зайцев и от неожиданности за обоими погнался...

Летом здесь распускается самая разнообразная флора. Из трав — копеечник темный, смородина печальная, грушанна красная, горец живородящий, пушица влагилищная (*Eriophorum Vaginatatum*), растут одуванчики, полынь Тилезуса, Сон-трава, Иван-чай, астра альпийская и еще много чего. Из деревьев — сосна стланиковая, или кедровый стланик, лиственница даурская, береза плосколистная, ольховник кустарный, береза тощая, ива чукчей, тополь душистый. Из ягод — брусника, морошка, шикша, голубика, водяника. Много грибов: подосиновики, маслята, сыроежки.

Меня здесь упрекают, что я приехал зимой, а не летом...

Сейчас, конечно, никаких кустов, грибов и цветов нет. Только стланик на сопках. Вид у него довольно жалкий. Деревца невысокие, и многие покошены. Это от того, что корни стараются расти по поверхности, тщетно надеясь согреться. Но и эта змизья скудность — благодать, потому что радует глаз. Все растет экономно, не спеша. Десятилетние карликовые березки имеют высоту всего несколько сантиметров и несут от двух до десяти листьев. К тридцати го-

дам высота этих березок достигнет 20—26 сантиметров. Зато доживают они до 120—140 лет.

Вот бы оказаться в этих краях несколько тысяч лет назад! Не дятлы с росяхами, а несметные стада мамонтов и носорогов бродили здесь. Не жалкие белки и куропатки, а пещерные львы властвовали в районе. Не хилые американские бизончики обитали в долинах, а наши, российские, с трехэтажный дом, по несколько тонн весом...

В подвале местного краеведческого музея лежит разобранный мамонт. Площадей не хватает, да и потолки низкие, а то работницы музейные мигом бы его собрали. Пока же экспонируются лишь ноги доисторического животного, его челюсти, часть позвонков, берцовая кость и кусок кожи — морщинистой, серой и волосистой. Эта кожа сантиметров пять толщиной. Дальше у мамонта шло сало, метра полтора-два, затем столько же мяса и лишь потом кости. Поверх кожи росла еще и шерсть, да такая густая, что не пробьешься. И все же народ первобытный этих мамонтов выслеживал, нечеловеческими криками и истошными воплями загонял в заранее выкопанные ямы, закидывал их камнями, палками и всем, что только попадалось под руку, затем пробирался сквозь волосистой покров к коже, вгрызался в нее, проникал сквозь сало к мясу, в мгновение ока выедал начисто, оставляя нам, потомкам, лишь отполированные скелеты. Теперь нас упрекают, что этим скелетам мы никак не можем подобрать место в музеях.

Мне хотел один билибинец подарить двухметровый бивень. У него в сарае их несколько. Но я отказался: куда же я с бивнем? Тогда он, взяв слово, что я не выболтаю, отвел меня в сторону от Билибино и показал место, где неглубоко покоится целехонький мамонт среднего возраста. Теперь я сам являюсь носителем тайны и, конечно же, о местонахождении животного не проболтаюсь.

Постройка дома, поселка, тем более города в этих местах — чудо, героизм, подвиг. Эпитетов не жалко. К тому же всякий из них будет преуменьшением и ничего не объяснит. Жители привыкли, многие сами строили Билибино и не склонны преувеличивать свои заслуги. Более того, стремятся отсюда убраться. Мы восхищаемся Петром Великим, сумевшим заложить город. Но что в сравнении с берегами Невы берега Колымы, Малого Анюя и Большого Кепервеема?

Конечно, дворцов здесь нет. Все жилые дома — обыкновенные пятиэтажки. Но обыкновенные лишь на первый взгляд. На самом деле они более прочные, стоят на сваях и потому выше обычных пятиэтажек. Почти все подъезды в Билибино трехдверные, чтобы сбергалось тепло, а сами двери хорошо подогнаны и обиты войлоком, так что щелей не обнаружишь. Двери плотно захлопываются с помощью пружин, и подъезда с распахнутой дверью не встретишь. Рамы оконные — двойные и качественные, поэтому в квартирах жарко: в пятидесятиградусный мороз форточки можно оставлять открытыми. Батареи такие, что к ним не притронуться.

Архитектура города максимально утилизирована. Кажется, все подчинено сбережению тепла и удобству жителей. Еще в середине восьмидесятых их в городе проживало двадцать тысяч, а в районе — тридцать. Теперь в районе осталось двенадцать тысяч жителей, а в Билибино лишь шесть. (В Австрии и Португалии на такой же территории ютятся около 20 миллионов граждан!) Оставшиеся билибинцы улучшили жилищные условия и переехали в квартиры, расположенные в центре, оставив пустующими целые дома. Сейчас стоимость двухкомнатной квартиры — от трех до шести тысяч рублей. Столько же стоят хорошие ботинки! Причем однокомнатная может стоить дороже трехкомнатной. Этот парадокс объясняется невероятно высокой платой за жилье, при которой выгоднее иметь однокомнатную квартиру. За нее платят примерно триста рублей в месяц, за трехкомнатную — восемьсот. Дороже всего обходится тепло.

Возле жилых домов нестройными рядами стоят контейнеры. Это огромные железные ящики, в которых перевозится имущество северян. Контейнеры — неприменный атрибут северных городов. Они уродуют вид, но не больше, чем железные гаражи. Вместе с тем стоящий у дома контейнер — не просто железный ящик, но еще и символ. Это овеществленная вера в возможность покинуть Крайний Север. Присутствие контейнера создает владельцу ощущение временности пребывания, а значит, и временности бедственного положения. Занесен-

ный снегом железный ящик, видимый из окна,— частичка желаемого и воображаемого материка. Так столичный путник, вынужденно поселившийся в провинциальной гостинице, не выпускает из виду свой чемодан, который даже не распаковывает. Он надеется убраться поскорее из этой гостиницы, на рассвете, первым же проходящим поездом...

Билибино состоит из двух жилых массивов, но есть еще старая, покинутая жителями, часть города, состоящая из ветхих одноэтажных домов и их развалин. Центр устроен так, чтобы до всякого здания было близко. Две школы, два банка, бассейн, Дом культуры, узел связи, кафе, библиотека, школа — все находится внутри своеобразной карусели, в центр которой стягивается жизнь билибинцев. В отличие от наших городов, не имеющих форм и лишенных замкнутости, Билибино имеет и то, и другое. Замкнутость обеспечивают окружающие сопки. Они выполняют роль городских стен и защищают от ветра. Мне кажется, билибинцы чувствуют себя неудобно во всяком другом городе. Они невольно ищут знакомый горизонт над крышами.

Тяжелое впечатление оставляют пустующие дома. Их постепенно сносят, но все же они остаются и один находится в самом центре. Страшен мертвый дом среди домов живых. Кажется, в его оставленных, пустующих квартирах с выбитыми стеклами, в темных подъездах без дверей поселились злые духи. Они свирепствуют, устраивают оргии, злорадствуют и, потирая костлявые руки, поют бесовские песни, в которых грозятся захватить соседние дома... Я всякий раз стараюсь обходить эти мертвые здания. Их надо поскорее убрать, как убирают покойника из мира живых.

Есть в Билибино и своя главная площадь, на которой проходили демонстрации и устраивались торжественные мероприятия. Здесь находятся детская школа искусств, занимающая здание райкома партии, кинотеатр и административное здание горно-обогатительного комбината. Был на площади и памятник Ленину, но его взорвал один не совсем нормальный билибинец.

Говорят, он штудировал Полное собрание сочинений Ленина (55 томов!), но, увлекшись, «выпал» из исторического контекста и перенес классовую борьбу на улицы полярного города. По мере прочтения ленинских трудов в нем укреплялся революционный дух. Он стал поджигать коммерческие киоски и устраивать разные гадости местным предпринимателям. Вскоре он пошел на «экс» и взорвал машину директора пищекомбината. На очереди были другие руководители... Но, дойдя до последних работ Ильича и особенно до тех, в которых были сформулированы идеи нэпа, отчаянный билибинец разочаровался, вошел в левый уклон и расправился с вождем.

Взорванные ленинские останки разлетелись со страшной силой. Пострадали — школа, в которой не осталось ни одного стекла; здание ГОКа, покрывшееся трещинами и теперь требующее ремонта, а также школа искусств. Осколки памятника разобрали работники ГОКа. Теперь в их кабинетах находятся у кого рука, у кого кусок головы, в одном кабинете стоит на видном месте ленинский нос, в другом — губы и брови, так что, если постараться, памятник можно собрать. Пока же на освободившемся постаменте установили стелу, посвященную сорокалетней годовщине города. Ортодоксального марксиста арестовали, судили, но он уже свое отсидел и сейчас на свободе. По последним данным, он соорудил на озере Тытыль небольшой шалаш и занимается, очевидно в конспиративных целях, ловлей рыбы. Изредка к нему приезжают соратники. Что у взрывателя на уме — никому не известно. Возможно, от этого начальство ГОКа и не спешит с ремонтом своей конторы.

Есть в Билибино еще одна достопримечательность, едва ли оцененная его жителями. Без сомнения, этот город на одном из первых мест по количеству магазинов на душу населения. Буквально в каждом доме, а то и в каждом подъезде по магазину. Отчего их столько, когда покупательская способность невелика? Я спрашивал об этом продавцов, но они не в силах объяснить этот феномен и лишь твердят: «Если магазины есть — значит, нужны».

Может быть, такое количество магазинов обусловлено следующим. Известно, что коммерческие киоски в наших городах не поддаются счету. Есть они и в Билибино, но их немного. Из-за сильных и продолжительных морозов киоски — не лучшее место для торговли. Гораздо удобнее занимать освободившиеся квартиры, расположенные на первых этажах. Это выгодно и властям, кото-

рые получают плату за аренду и не оставляют безхозной жилплощадь. В магазинчиках товары почти одни и те же. Покупают их не активно, и потому продавцы, чтобы не помереть от скуки, обзавелись телевизорами. Все эти магазинчики — частные. Государственных в городе лишь два, и они большие.

В эти дни билибинцам выдали долгожданную зарплату. Как говорят, в связи с выборами в Думу, чтобы народ «правильно» проголосовал. Можно подумать, что и без зарплаты народ наш проголосовал бы как-то иначе. Что касается цен, то они здесь такие, каких я еще не видел. Разве что в Норвегии. Но что мы знаем о норвежской зарплате?

Чтобы вникнуть в быт, нравы и прочее, связанное с жизнью людей, должно пройти время. Зато природу видишь сразу и восхищаешься ею тотчас.

Билибино находится за Полярным кругом, поэтому зимой здесь на несколько недель устанавливается полярная ночь. Жители не видят солнца. Зато видят неповторимую картину, точнее, неповторяющиеся картины, потому что пейзажи, рождаемые скрытым за горизонтом солнцем, изменяются ежеминутно, одабривая билибинцев невиданной красотой. Самое впечатляющее полярной ночью — полярный день, продолжительность которого лишь несколько часов. Его даже нельзя назвать днем. Скорее это сумерки. И больше всего восхищает в этих сумерках — синий цвет. Он не просто доминирует над другими цветами, он единственный и отражается во всем: в воздухе, в небе, на сопках, на растениях, на зданиях и даже на прохожих, которые кажутся бледными.

Ближе к полудню с южной стороны, на кромке горизонта появляется узкая светлая полоса, которая, постепенно расширяясь, розовеет, затем краснеет, набирает силу и контрастность, все настойчивее напоминая о прячущемся за горизонтом солнце. Рассвет набухает, словно бутон алой розы, но вопреки ожиданиям не распускается. Если же в это время обратить взор на север, то увидишь, как безжизненные сопки, только что сливавшиеся с синим небом, оживают и окрашиваются в бледно-розовые тона.

...Всякому действительному художнику мучителен повтор. Настоящий талант предпочтет поражение на пути к новому, неизведанному и до сих пор недоступному. Природа, самый совершенный художник и самый великий талант, не знает повтора. Казалось бы, вечный ритм приливов и отливов, восхода и захода солнца, сияние и блеск неподвижных горных вершин, извержение вулканов и грохот водопадов, милое и размеренное колыхание золотистых колосьев и раскачивание вековых деревьев — все это повторяется миллионы лет с пугающим однообразием и постоянством. Но приглядишься и увидишь, что повтора нет. Каждый миг — и новый, и другой. Просто природа добавляет к своему творчеству то самое «чуть-чуть», которое отличает наивысшее из всех искусств. В этом она лучший мастер и величайший из учителей.

Так вот, на Чукотке природа к этому «чуть-чуть» прибавляет еще немного. Здесь, на краю земли, вдали от посторонних взглядов, она позволяет себе больше обычного. Так ведет себя перед зеркалом, оставшись одна, молоденькая кокетка: примеряет разнообразные наряды, надевает одну за другой шляпки, принимает самые неожиданные позы и сворачивает губки трубочкой без боязни быть кем-то замеченной. Подлови именно сейчас эту застенчивую кокетку, поймай в зеркале ее безмятежное, даже ветреное отражение и поймешь, отчего самые смелые и отчаянные бросаются в одиночку в эти безлюдные заснеженные пустыни и нередко пропадают там...

С каждым днем напоминание солнца о себе и яркость горизонта будут ослабевать, пока полярная ночь не достигнет пика. Непоявляющееся солнце искушает, манит, невольно побуждает к тому, чтобы проникнуть за горизонт, и укрепляет мечты о благодатном, теплом и уютном материке.

В такие сумерки, когда синий свет разлит по долинам континентальной Чукотки и лишь сопки своей белизной очерчивают пространство, всякий огонек — чудо, каждый лучик — надежда. Желтые огни полярного города на фоне голубого океана — живописное зрелище. Им можно было бы долго любоваться, если бы не пятидесятиградусный мороз. Нельзя назвать пейзажи континентальной Чукотки суровыми и сравнить их, например, с уральскими, где могучие леса и обнаженные ветхие скалы властвуют над тобой и над всем вокруг. Здесь, кажется, властвуешь ты, обволакиваемый нежным голубым сиянием. Я встречал подобное од-

носветие лишь на Псковщине, в Пушкиногорье, в знаменитых михайловских рощах. Там господствовал зеленый свет, но пространство было ограничено кронами могучих деревьев. Здесь же, на Чукотке, пространство бесконечно...

Летом, коротким чукотским летом, здесь красота иная. Она также очаровывает и впечатляет. Встрепенувшись, природа поражает многоцветием. Трава, мох, цветы, кустарники, деревья, камни, земля, вода и небо — словно соперничают между собой за право громче высказаться, напомнить и заявить о себе. Кажется, все существует для того, чтобы удивить, восхитить и даже ошарашить. Природа — уже не застенчивая кокетка. Она больше напоминает провинциальную торговку, выставившую товар перед заезжим столичным франтом. Только природа не продает, а по-детски дарит себя каждому, явившемуся на ее просторы, без обмана и без претензий на взаимность.

Но сейчас, зимой, природе севера не до того. С синим светом ничто не соперничает. Он в отсутствие солнца остался один. Можешь любоваться, можешь не замечать, до тебя дела нет. Сейчас, на этом боку, планета спит. И не рискуй тревожить ее почем зря.

...Медленно ползущий автомобиль поднимается на сопку. По мере подъема открываются все более фантастические картины. С высоты видно, как долина, в которой находится город, залита густым голубым туманом. Это холодный воздух спустился с окрестных гор. Лишь с южной стороны сияет красно-розовая полоса. Это и восход, и закат. Но розовый свет не касается Билибино, а проходит высоко над городом. Представляю, если бы неведомые силы перенесли сюда Руанский собор. Тогда бы готическое строение выступало из голубого тумана и стопятидесятиметровым шпилем соединялось с красно-розовым горизонтом.

Какие звуки услышал бы творец музыки, если бы находился здесь! Что за стих родился бы у поэта, и какая песня полилась бы из его уст! Какие виды и оттенки смог бы запечатлеть художник, если бы хоть одним глазом увидел то, что вижу сейчас я!

...Кто-то утверждал, будто на Чукотке нет полутонов, но есть четкое, контрастное разделение цветов. В пример приводили Рокуэлла Кента. Я даже приобрел его альбом, но... Какой там! Возможно, летом в этих местах такие контрасты встречаются. Но зимой здесь все тонкое, хрупкое, едва уловимое и, повторюсь, нежное. Тут нужен Рембрандт! Только он, заливая полотна темно-желтым, почти коричневым, светом, мог изображать застывшее время. Здесь же с помощью лишь синей гаммы следовало бы изобразить бесконечность. Но так, чтобы из этого не получился безжизненный космос.

30 ноября. Билибино

Дорогая Валентина Федоровна, привет с Чукотки!

Уверен, еще никто не писал Вам из такого далека.

Устроили меня совсем неплохо. Бытовые удобства — каких в Торжке не сыщешь. Во всяком случае, электричество не отключают. С едой забот тоже нет, так что Вы напрасно беспокоились. Конечно, освоиться непросто: разница во времени, полярная ночь, незнакомый город. Днем клонит ко сну, а ночью не могу уснуть.

Поскольку я отправился в места, о которых не имел никакого представления, то накупил гору лекарств. Один приятель посоветовал запастись. Говорит: «Посмотри на карту... Какие там аптеки!» Впрочем, так он отвечал на все. Заходила ли речь о стиральном порошке, о кофе, консервном ноже, карандашах, бумаге или ручке, на все он реагировал одинаково: «Посмотри на карту: ну какой там стиральный порошок?.. Какой кофе?.. Откуда там взяться бумаге?..» Следуя его советам, я должен был захватить на Чукотку все на свете.

А другой приятель, не меньший знаток Севера, советовал не брать ничего. О чем бы я ни спрашивал, он уверенно отвечал: «Там есть все! Это же Чукотка!»

Так что я был в растерянности. То упаковывал все подряд, то, напротив, игнорировал самое важное. И все же лекарств набрал столько, что они едва поместились в сумку. Теперь, если у меня действительно что-нибудь заболит, я не распознаю, чем лечиться. Все таблетки, коробочки и бутылочки перепутались, и нужна будет помощь опытного фармацевта, чтобы разобраться. Словом, лекарства пока лежат без пользы. Глотаю только активированный уголь — един-

ственные таблетки, которые не путаю с остальными. А вот валокордин, с помощью которого я обычно борюсь с бессонницей, — забыл.

В Билибино на шесть тысяч жителей — две аптеки. Частная и муниципальная. Я зашел в частную, расположенную на первом этаже двухэтажного здания. Внешне она мало отличается от других провинциальных аптек. Такая же витрина, та же стойка с окошечком для выдачи лекарств, те же стерильные запахи, вот только при входе раздается звон колокольчика. Он предупреждает аптекаря, что кто-то вошел. Здесь такие колокольчики подвешены к дверям многих магазинчиков.

В аптеке есть, кажется, все для поддержания здоровья, включая лекарства, которые я вез с собой за тридевять земель. Все дело в цене. «Как только дорожают билеты на материк, — объяснила аптекарша, — мы сразу ждем повышения цен. Зависимость полная, потому что борт — единственный способ доставки лекарств».

Аптекарьша — пожилая женщина — сказала, что все лекарства на днях дорожают. Но покупать их все равно будут, особенно витамины. Заметив у меня блокнот, она поинтересовалась, не связан ли мой приезд с предстоящими выборами. И на всякий случай стала рассказывать о трудной жизни. Будто я смогу что-то переделать. Сказала, что без лекарств на Чукотке не обойтись, поскольку питание скудно, пожаловалась на то, что она, как и многие старики, перебивается кое-как, питается в основном хлебом и кашей. Детей стараются кормить разнообразнее, но и им недостает витаминов. Нет настоящего молока, лишь сухое, от которого развивается диатез. Сама она «специалист с высшим образованием», теперь на пенсии, а на пенсию прожить невозможно, поэтому работает в аптеке с утра до вечера, а кроме аптеки, подрабатывает еще и в больнице, но там с апреля зарплату не выплачивают, хотя у медсестер она мизерная — 1200 рублей. Накопилось этой невыданной зарплаты уже тысяч двадцать. Год назад было то же самое. Выдавали полугодичную задолженность по частям, эти части незаметно тратились, и на то, чтобы поехать в отпуск, денег не осталось. Она также сказала, что перед выборами обещают зарплату погасить. Так сказал губернатор, который сейчас объезжает Чукотку со своим депутатом. Ее муж, хотя и работает, зарплату не получает уже три года. Говорит, так все живут, если это можно назвать жизнью...

После радости от встречи с Крайним Севером этот «поход» за валокордином меня расстроил. Мне казалось, что на Чукотке, где такие холода, власти наши должны бы постараться не оскорблять людей задержкой зарплаты или пенсии. С этим повсюду беда, но одно дело — центральные районы, другое — Чукотка. Здесь картошку и морковку не посадишь. А ведь еще нужны деньги для отпуска. Надо обязательно вывезти детей погреться и привезти с собой такого, чего на Чукотке не найти. Например, теплую одежду, которую я здесь, к своему удивлению, в продаже не видел.

Одежда — важнейший элемент жизни, и роль ее на Севере несоизмеримо выше, чем в остальной России. Это не Москва: в ботинки влез, куртку накинул, на ходу застегнулся... Здесь, пока тщательно не оденешься, из дому не выйдешь. Обычно я забываю надеть перчатки. Но в Билибино и захочешь — не забудешь. Мороз лечит память.

...Никогда не обращал внимания на то, как зимняя одежда может украсить женщину. В Москве зимы настоящей нет, поэтому зимнюю одежду никто не носит. Курточки, шапочки, ботиночки, пальтишки отношения к зиме не имеют и вида не придают. В Билибино нет той роскоши и утонченной эстетики, какую можно встретить в Тюмени, Екатеринбурге, Томске или Красноярске. Здесь доминирует практичность. Повседневная одежда должна быть качественной, надежной и теплой. При том, что хочется еще и хорошо выглядеть. Впрочем, женщины в Билибино так и выглядят. В каких только шубах я их не видел! Все из натурального меха. То же и с головными уборами. Соболь, чернобурка, белый песец, росомаха, норка, волк, собака, нерпа, рыжая лиса, ондатра. На ноги надевают хорошие зимние сапоги или торбаса (панрапьякыт) — национальную зимнюю обувь, похожую на унты, но более изящную и удобную.

Особенно забавно выглядят дети. В пушистых шубках, огромных шапках и торбасах они, кажется, не ходят, а перекатываются, словно колобки. Но если женщины и дети одеваются в меха благородные, то мужики местные обходятся одеждой попроще: шапки из собаки, волка или лисы, закрывающие почти все лицо (такую шапку называют «магаданкой»), а вместо дубленок и шуб — меховые куртки или простецкие полушубки.

Раньше зимнюю одежду шили в самом Билибино и в поселках района. Теперь везут с материка. Это дополнительные хлопоты, излишние расходы, к тому же деньги, которые могли бы остаться в местном бюджете, уплывают. Шьют здесь лишь торбаса. Но это не тундровые торбаса, а их гибрид с нашей зимней обувью. Шьют их не коренные жители, поэтому на настоящие чукотские торбаса эта обувь мало походит.

Конечно, в безусловных лидерах и новаторах зимней одежды — коренные народы Чукотки: чукчи, эскимосы, эвены... Они законодатели мод и стилей, форм и вообще всей эстетики. Ничего выдумывать уже не надо. Остается лишь заимствовать и стараться не делать хуже. Сочетание практики и удобства, выработанное и усовершенствованное столетиями и даже тысячелетиями, не подделит сомнению. Отсюда одежда альпинистов, полярных летчиков, путешественников — всех, кто устремляется навстречу холоду. Скорее всего никакой иной зимней одежды, кроме той, в которую веками одеваются северные народы, в действительности нет. Ни нагольные тулупы, ни сентиментальные валенки, ни близкие сердцу шапки-ушанки, ни прочее, с чем ассоциируется у нас зима, не уберегут от беспощадного холода тундры.

Основной материал для зимней одежды чукотских народов — оленья шкура. Из шкуры теленка оленя — пыжика — шьют шапки (малахай), а также детские комбинезоны (калгэкэр). Ребенок родился, его засовывают в этот комбинезон, и он в нем какое-то время живет.

...Я интересовался: куда же они писают и какают? Мне объяснили, что все это продельвается прямо туда. Если ребенок бежит по тундре, резвится с товарищами, затем неожиданно останавливается, словно о чем-то размышляя, значит, он просто справил нужду. Ему в комбинезон заботливая мамаша подкладывает тщательно отобранный высушенный мох (своеобразные чукотские памперсы), и, когда надо, ребенок самостоятельно расстегивает специальный клапан, палочкой счищает этот мох, затем клапан закрывает и бежит дальше...

Из шкур взрослого оленя (такие шкуры называются «неблуж») шьется верхняя и нижняя одежда — кухлянка (иръин), штаны (конагтэ), головные уборы (къэли), ритуально-обрядовая праздничная одежда, а также жилище чукчей и эскимосов — яранга. Разумеется, чтобы сшить одежду из оленьего меха, нужно быть незаурядным мастером. Но прежде шкуру надо выделывать, чтобы получился этот самый «неблуж». Вот как он делается:

«Высохшую шкуру замачивают до увлажнения мездры, которую снимают путем соскабливания скребком (энанвэнан). Для дальнейшей выделки шкуры используют олений кал (кораль), как дубильное средство. Кораль наносится на поверхность кожи — шкуры, которую складывают вдвое до полного высыхания и пропитки дубильными веществами (оленьего кала). После скоблят каменным скребком (выквыпойгын), одновременно с соскабливанием оленьего кала происходит первоначальное смягчение шкуры. Окончательное смягчение производится глажением пяткой с усилием.»

Все не просто. А мне казалось: заарканил оленя, снял с него шкуру, прошил нитками в двух-трех местах, нацепил на себя и пошел в тундру...

Существуют специальные «конструктивные» швы, которыми сшиваются части будущей меховой одежды. Я видел такие швы в местном музее. Технологически их исполнить довольно сложно, не говоря о физическом усилии и напряжении. Малейшая щель, неточность или непрочность повлечет гибель человека, причем близкого: мужа, отца, брата. Тундра не прощает небрежности.

Посмотрите, что значит на Севере простая нитка. Ее изготавливают из сухожилий оленя. Эти сухожилия (пыльгэтэн) надо распушить, чтобы получить основные составляющие (тимлюн) для будущих нитей. Потом из них закручиваются тонкие нити, и только затем, сплетая их по две-три, получают окончательную нить (рытрииръын).

Для пошива одежды используют не только олени, но и собачьи, и волчьи, и росомашьи шкуры, разумеется, предварительно их выделав. Росомаха незаменима тем, что ее мех не индевет и его используют для отделки шапок, чтобы от дыхания иней не собирался вокруг лица. А почему росомаха не индевет, когда остальные покрываются инеем, — никто не знает. Вот как устроено: всякая тварь хоть в чём-то незаменима!

Коренные жители прибрежных районов охотятся на морских зверей и, кроме оленей, шьют одежду из нерпы и лахтака, продолговатого морского животного, вроде тюленя. Его также называют морским зайцем, хотя ни лап, ни длинных ушей у него не заметил и вообще о существовании лахтака знал до сих пор не больше, чем он о моем.

Чем севернее — тем одежда сложнее. Какой невообразимый диапазон! Где-то на экваторе туземец прикрывает лишь интимную часть тела. Но здесь одежда не просто необходимость. Она непременное условие выживания. Пошив одежды — не прикладное ремесло, хотя праздничная и ритуальная тоже шьется, но высочайший технологический процесс, который можно сравнить с изготовлением скафандров для космонавтов или водолазов. Человек в тундре, будь это оленевод или охотник, должен быть защищен от холода, ветра и влаги.

Как же надо выделывать шкуры, затем их кроить и сшивать, чтобы охотник, стоя по пояс в ледяной воде, оставался сухим; чтобы оленевод в пятидесятиградусный мороз шел по тундре десятки километров и не замерз; чтобы каюр, сидя в нарте, сутками мчался по морозу — и не пропал!

Выносливость? Врожденная приспособленность? Крепкий организм? Да! Все это есть. Но сверх того — безупречно скроенная и сшитая женскими руками одежда, драгоценный плод тысячелетнего опыта борьбы за выживание там, где, кажется, жить невозможно. Человечество пользуется этим опытом, но можно ли назвать его благодарным?

А что такое яранга, о которой мы чего только не наслушались? Ведь и она сшита из оленьих шкур! И кто ответит: жилище чукчей — продолжение одежды, или их одежда — продолжение жилища? А может, это одно целое?

Вот что пишут о яранге в чукотских книжках.

«Яранга, во-первых, — это жилище кочевого народа; во-вторых, это защита и опора человека, живущего в суровых северных условиях; наконец, в-третьих, яранга — плод особых законов жизни кочевников: место проведения обрядов, праздников, повседневных ритуалов, характерных для жизни оленьих людей. Это является главной причиной того, что чукотскую ярангу не заменит никакое другое жилище, как бы с первого взгляда оно ни было удобно и практично. Любая замена все же остается чуждой по своей сути, так как не может выполнять всех функций, которые несет в себе яранга».

Яранга — это семейный очаг, к которому стремятся и о котором думают, заботятся, сочиняют песни, стихи и слагают легенды. А главное место в яранге — полог (ерон'ы). Это внутри яранги как бы еще одна яранга, поменьше. Полог — святая святых семьи. «Это место отдыха человека после трудового дня, и место общения в долгие холодные зимние вечера, место камлания шаманов, место любовных признаний, зачатия и рождения человека...»

Удастся ли мне увидеть ярангу? Для этого надо выезжать в тундру, к оленеводам. Теперь даже в национальных поселках в ярангах не живут.

Я с Вами прощаюсь и обязательно напишу еще. Вот только Вы получите мои письма не скоро, так как почта здесь медлительна.

1 декабря. Билибино

Дорогой Б. З.!

Пишу Вам с самой Чукотки, из Билибино. Отыщите его на карте и ужаснитесь, сколь это далеко.

Почему я оказался именно в Билибино? Узнаете из письма. И еще. Поскольку Вы искусствовед, то я могу смело писать о добыче золота. Вы далеки от этого, а значит, я не рискую быть обличенным в невежестве, ведь, кроме того, что в слове «добыча» ударение надо ставить на первый слог, я о золоте ничего не знаю. Зато мы можем оценить лирическую сторону золотодобычи. Лирики в

ней много, но, поскольку добытчики — народ особенный, они ее не всегда замечают. Хотя и среди них встречаются поэты.

Я знаю одного такого «поэта», быть может, самого крупного и авторитетного среди золотодобытчиков. Правда, он стихов не пишет. Зато говорит так, как говорил лишь Сократ. Я изредка прихожу к нему на работу и завожу разговор. Вскоре я замолкаю и только слушаю. Если в это время кто-нибудь заходит, он тихо придвигает стул и тоже слушает. Если еще десять человек придут или даже сотня, то и они, разместившись на стульях, столах и подоконниках, также внимают рассказчику, стараясь его не отвлекать, потому что прервать Вадима Ивановича — значит прервать спектакль.

Не менее, чем речь, любопытна пластика главного золотодобытчика, его движения и мимика. Невозможно, например, оторвать глаз от его могучих рук. Друзья жаловались, что не могут подобрать Вадиму Ивановичу ремешок для часов: все они оказывались короткими и никак не сходились. Представьте, Вадим Иванович держит все одинаково: телефонную трубку, ручку, ложку, вилку, лопату, кайло, рычаг экскаватора, и если бы делал операцию, то и скальпель держал бы точно так же — всей кистью, в обхват, сжимая хирургический инструмент в здоровенном кулаке. И не зарезал бы! А лицо Вадима Ивановича! Его взгляд, глаза, брови, уши...

Кто-то из русских философов сказал, что мы к старости выслуживаем свое лицо, как солдат — Георгия. В этом смысле лицо Вадима Ивановича выслужено не только им самим, но и всем уходящим веком. Здесь постарались вожди и генсеки, председатели и президенты, либералы и консерваторы, которые, меняя гимны, знамена и риторике, в сущности, оставались одинаковыми — все они мешали Вадиму Ивановичу и таким, как он, жить и трудиться. В итоге воспроизведен образ, в котором мужество, отвага и сила соединились с хитростью и природной, поистине дикой, осторожностью, явив идеальный синтез того, чем должен обладать человек в России, чтобы не пропасть. Если бы меня спросили: каким лицом должна быть представлена наша страна в двадцатом веке? — я не раздумывая предложил бы лицо Вадима Ивановича.

Патриарх золотодобычи удостоился многих восторженных эпитетов и характеристик, ему посвящены стихи выдающихся поэтов, о Вадиме Ивановиче слагают песни и поют их у костров, книги о нем написаны талантливыми прозаиками и публицистами, кинофильмы снимаются непрерывно, публикациям в газетах и журналах нет числа.

Увы, все эти книги, песни, стихи и кинофильмы бессильны передать не только образ Вадима Ивановича, но даже небольшой штрих с его действительного портрета. Оттого в стране не все знают о Вадиме Ивановиче. А если бы узнали, увидели, услышали — он бы давно стал президентом, сидел в Кремле за большим начальничьим столом и читал свежие газеты. Мы же — его друзья и приятели — сидели бы вокруг и слушали рассказы, в то время как страна уверенно выривалась бы из очередного кризиса.

Почему же ни один художник, сколь бы талантлив ни был, не может отразить в своих малых и больших произведениях истинный образ Вадима Ивановича? Почему всякий, кто берется запечатлеть его, терпит фиаско, и почему я никогда не отважусь на подобный шаг?

Да потому что никакая бумага, ни одна пленка (особенно звуковая) не стерпит речи Вадима Ивановича: бумага немедленно пожелтеет и превратится в труху, а пленка тотчас размагнитится. Ведь речь Вадима Ивановича разукрашена такими словами и выражениями, что физиками еще не изобретены материалы, стойкие к этим словам. А может, таких соединений и вовсе не существует, и физики здесь ни при чем.

Подсчитаны французские вкрапления в произведениях Пушкина — более двухсот тысяч! Но никогда никто не подсчитает специфические вкрапления в речь Вадима Ивановича, потому что ни один филолог не разберет, где эти вкрапления, а где, собственно, сама речь.

Парадоксально, но в Вадиме Ивановиче нет и намек на пошлость. Крепкие выражения так гармонируют с его внешним обликом и выглядят столь естественными, что без них нет Вадима Ивановича. Без них это уже не он, а другой человек. Женщины никогда не узнают настоящего Вадима Ивановича, потому что, как человек культурный, он при дамах не выражается.

Мне неизвестны корни, из которых вышли говор и словарь Вадима Ивановича, откуда произошли его мимика и жестикация. По-видимому, искать эти корни надо в самых суровых и забытых Богом местах, главным образом в магаданских и колымских. Но знаю точно, что нет такого золотого прииска, рудника или артели, на которых бы ученики и коллеги Вадима Ивановича не разговаривали бы его голосом и его словарем, не жестикулировали бы так же, как он, и мне рассказывали, что на приисках в Африке и Южной Америке туземцы, добывающие золото, ругаются теми же словами, с таким же выражением своих чернотлицых физиономий, какое бывает обычно у Вадима Ивановича.

«Ты знаешь,— признался он однажды,— когда я слышу, как кто-нибудь называет золото — «золотишком» и у него появляется блеск в глазах... я все сразу понимаю. Такой человек для меня больше не существует».

«У-у! Это настоящий зверюга»,— говорил один сибирский писатель, написавший о Вадиме Ивановиче книгу. «Как это?» — спросил я. «А вот так. Он такую школу прошел, что вобрал в себя все от медведя, волка и лисы... Иначе бы не выжил. Когда он идет по тайге, волки шарахаются!»

Как-то Вадим Иванович признался, что в молодости не ругался вовсе. Но с годами... «А как еще можно выразить свое отношение к какой-нибудь мрази? — спрашивал Вадим Иванович.— Сказать, что он сволочь, подонок или негодяй? Но это так мало для тех, кого я на своем веку повидал. Это почти что ничего не сказать... Это все равно что их похвалить...»

Так вот, я пошел к Вадиму Ивановичу, полагая, что на Чукотке у него есть друзья. Чукотка — не Рязань, куда взял да махнул, когда вздумается. С Севером шутить опасно, и без участия крепких людей не обойтись. Я обратился к Вадиму Ивановичу и рассказал ему о замысле книги.

Сидя за своим рабочим столом, перед стопкой свежих газет — Вадим Иванович исправно просматривает и кроет всех подряд,— он внимательно слушал меня минуты две или три, затем перебил, взял читанную только что газету и дал краткие характеристики руководителю государства и главе правительства, спикерам обеих палат Федерального собрания, руководителям силовых ведомств и некоторым ключевым министрам, а также руководителям парламентских фракций и самим фракциям. После этого он отложил газету и спросил, чего мне надо.

Я еще раз рассказал о своем замысле.

Вадим Иванович надел очки, полез в стол и долго рылся в ящиках, взывая к помощнику из приемной: «Саша ... ты не видел ... у меня ... тетрадку?..» Наконец Вадим Иванович извлек старенькую школьную тетрадку и стал ее листать...

В этой тетрадке с аккуратностью библиографа были выписаны имена более трехсот друзей, товарищей и приятелей, с которыми Вадим Иванович был связан судьбой. Список также включал фамилии и клички воров в законе тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, которых хорошо знал Вадим Иванович. Отхватывая пальцем сразу по несколько страниц, Вадим Иванович погружился в воспоминания. Передо мной промелькнули ныне забытые герои грез целого поколения: Иван Львов, Петр Дьяков («Дьяк»), Колька Турок, Вася Корж, Женька-Немец... В живых уже не осталось никого.

Вадим Иванович с грустной улыбкой отложил тетрадку: «Это были умные, интересные ребята, читающие, много думающие... Понимаешь? Это тебе не нынешние... В лагерях вели добычу золота и, конечно, воровали. Обычно в зоне крутилось килограмма два-три. Играли в карты, меняли на табак, на махорку, на спирт, на чифир... Вот и все! Но так, чтобы кто-то говорил: “Ах! Золотишко!” — таких не помню».

Наконец, он сказал, что у него в Билибино есть отличный парень, Женька, и он все устроит.

Не полагаясь на память Вадима Ивановича, я тут же попросил позвонить этому Женьке, на что Вадим Иванович выругался, но все же дал команду помощнику соединить с Билибино. После нескольких минут разговора с Женькой и попутного рассказа о летчике из Алдана по прозвищу Гастелло, с которым он как-то взлетел, но вдруг выяснилось, что закончился керосин, Вадим Иванович стал рассказывать обо мне: «Тут у меня сидит такой... Он хороший парень, хотя и... Так вот, он... хочет... написать книгу... про Чукотку... про этот... Север и про этих, как их... Ты ему помоги, Женья, а то он... Ладно?»

Этих слов было достаточно, чтобы на другом конце планеты отозвались, прислушались и помогли. По-настоящему! Не лишь бы. Вот что значит Вадим Иванович, вот что такое артель, состоящая из золотых людей. И когда я благодарил Вадима Ивановича, он лишь сказал: «Да перестань!.. Женька — отличный парень! Он все сделает. Ни перед кем не унижайся... Пошли всех на...»

Вот, дорогой Б. З., как затевалась моя экспедиция, и Вы как искусствовед сможете оценить эти приготовления.

Женька — это Евгений Леонидович, генеральный директор Билибинского ГОКа и главный золотодобытчик в этих местах. Ему еще нет пятидесяти, он лысоват, но лысину компенсирует борода, словно волосы с макушки сползли на подбородок. Он человек мягкий, веселый и, кажется, крайне непрактичный. Глядя на него, не сразу поверишь, что он руководит коллективом, к тому же на Севере.

Евгений Леонидович прибыл на Чукотку четверть века назад, после окончания института. Кем только не работал: рабочим, горным мастером в шахте, начальником карьера, главным инженером и директором прииска, председателем крупной старательской артели, наконец дослужился до генерального директора. Теперь он имеет квартиру в центре Москвы, где проживает в основном его супруга Людмила, а своей главной задачей и даже целью считает заботу о двух дочерях — Олесе и Веронике. Они родились и выросли в далеком чукотском поселке Алискерово, там же пошли в школу, но заканчивают учебу уже за границей. Олеся учится в Чикаго на макроэкономиста, а Вероника — в Ирландии и готовится продолжить образование в Оксфорде. Евгений Леонидович изо всех сил помогает дочерям, пренебрегая отпусками, чтобы сэкономить деньги. Если думаете, что руководитель ГОКа имеет их немерено, — заблуждаетесь. Его зарплата, конечно, астрономическая для большинства жителей страны, но смешная, если примерять ее к мировым стандартам и тем целям, которые поставили перед собой две чукотские девушки.

Евгений Леонидович принадлежит к тем, кто стремится делать не карьеру, а профессию. Люди подобного склада не толкаются локтями, не выклянчивают должности и не выслуживаются. Они с иронией смотрят на все, что относится к политике. Если же их все-таки втягивают в политические баталии, для них это мучение и пустая трата времени. На мои просьбы рассказать о себе и о добыче золота Евгений Леонидович неизменно отвечает: «На кой тебе это? Лучше отдыхай». Мой приезд на Чукотку зимой, под Новый год, в то время, когда всякий стремится отсюда уехать, воспринимается им как нечто чудачковатое. Нет, он мне искренне рад, но относится ко мне примерно с тем же чувством, с каким здоровый и вменяемый человек относится к блаженному. В конце рабочего дня, где-то после восьми, он звонит: «Хватит ерундой заниматься!» — предлагает вместо писанины идти в сауну и париться под строганину с водкой. Он убежден, что от этого больше толку, и у меня не хватает аргументов его опровергнуть.

Евгений Леонидович не только администратор, он ученый-практик. Директор ГОКа знает самые разные технологии добычи золота и готовится защитить докторскую диссертацию. В его кабинете масса специализированной литературы, и вся она добросовестно штудируется. Если случится на комбинате ситуация, из которой, кажется, нет выхода, Евгений Леонидович без слов подойдет, еще и еще раз посмотрит — и найдет.

Вот его дословный и неохотный рассказ о добыче золота в Билибино.

«Добыча (ударение на «о»).— Авт.) руды на руднике (ударение на «у»).— Авт.) Коральвеем производится подземным способом. Бурение шпуров производится ручными перфораторами ПР-63, с последующей отбойкой руды с применением взрывчатых материалов. Доставка руды осуществляется электровазми. После этого руда попадает в дробильное отделение, где она крошится, затем происходит процесс измельчения на мельницах. Затем измельченная руда через классификаторы поступает на концентрационные столы, где идет распределение потоков по удельным весам, методам гравитации. Так как удельный вес золота — девятнадцать, то оно осаждается золотой головкой. После концентрационных столов золото очищается методом магнитной сепарации. Тонкодисперсное золото извлекается на установках гидрометаллургии. Затем получен-

ный концентрат плавится и получается сплав Доре, то есть слиток с пробностью восемьсот пятьдесят, который в дальнейшем поступает на Приокский афинажный завод в городе Касимове».

Теперь как эту картинку понял я.

Несколько десятилетий назад выдающийся ученый Ю. А. Билибин предположил, что именно в этих местах должно быть много золота. Затем сюда пришли геологоразведчики во главе с Н. Маковским и действительно нашли золото. Началось строительство геолого-разведочной базы. Это значит, что вслед за геологами сюда прибыли горняки, строители, энергетики, авиаторы, автотранспортники, повара, бухгалтера, врачи... Затем прибыли их жены, а если появились жены, значит, появляются и дети. Стали вырастать один за другим поселки, и их справедливо называли именами первооткрывателей. Далее строились садики, школы, больницы... Поселки разрастались, а из одного вырос город, который стал районным центром, с райкомом партии, кинотеатром, райбольницей, милицией, магазинами, спортзалами, танцплощадками, музеями и ЖЭКа. Вместе с городом складывались и соединялись судьбы тысяч людей: свадьбы, рождение детей, разводы, юбилеи, радости и горести, надежды и утраты, — словом, жизнь развилась, разрослась, пустила корни, и уже остановить ее невозможно, а все потому, что существует золото, а не «золотишко»!

Легко сказать Евгению Леонидовичу пару-тройку сухих фраз, мало значащих для несведущего человека. А что за этими «доставками руды», «процессами дробления, измельчения и извлечения»? Кто поймет? Ведь не лопатой и кайлом добывают золото, а современным и дорогостоящим оборудованием. Как его доставить? Как установить? Как обучить работать на нем отечественных «циклопов» и как убедить их беречь эти агрегаты?

Многотонное оборудование и запасные части к нему, сложные механизмы, бесчисленные дробилки, сенокосилки и сноповязалки со шламowymi насосами, задвижками и прочим, — все это везут из центральной России по железной дороге до Усть-Кута, небольшого города, расположенного на реке Лене в Иркутской области. Там оборудование перегружают на пароход и через всю страну доставляют на Север, к морю Лаптевых. Миновав два моря — Лаптевых и Восточно-Сибирское, — груз плывет к устью реки Колымы в порт Зеленый Мыс. Там перегружают на баржи, которые, пройдя по Колыме и Малому Анюю, доставляют его, если позволяет вода, в поселок Анюйск. Наконец, из Анюйска оборудование по зимнику перевозят в Билибино автотранспортом. Тысячи километров пути — железнодорожного, водного, наземного; разгрузки, погрузки, вновь разгрузки; труд сотен, а может, и тысяч людей, и все надо проделывать быстро, потому что скоротечно северное лето.

Но ведь надо обеспечивать сохранность оборудования от расхищения, порчи, от попадания воды. А кроме оборудования, необходимо завезти топливо и чтобы танкер по пути не обворовали. А еще надо доставить взрывчатые материалы, продукты, и еще многое необходимо сюда привезти, и на все этапы надо посылать сопровождающих. Это же Россия! Здесь виноват не тот, кто украл, а тот, у кого украли. И, повторю, надо спешить. Не успеешь доставить груз водным транспортом — будешь доставлять воздушным, что в пять, в десять раз дороже. Никакого золота не захочешь. А не доставишь — сотни семей останутся без средств к существованию. К тому же весной от твоего оборудования ничего не останется...

Все выглядит прозаически, а взять и описать одну такую перевозку — получится детектив.

Не случайно службы, связанные с северными перевозками, отмечают конец навигации как завершение очередного жизненного этапа, кроме навигаторов, никому до конца не понятному. Доставка оборудования — самый хлопотный процесс.

Но вот оборудование установлено между сопками, на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), и рабочие приступили к работе... Опять-таки одно только слово — «установлено». А попробуй установи! То одно выходит из строя, то другое, а бывает, что появляется более совершенное оборудование и с его помощью можно добыть больше золота. Процесс технического обновления неостановим. Здесь, как и всюду, производство сочетается с совершенствованием технологии.

Итак, представьте огромную гору. Ее надо аккуратно взять, раздробить в пыль и извлечь золото. Для этого в гору врезаются шахтеры, прорубают горизонтальные тоннели, соединяют их вертикально горными выработками, рубят руду и загружают в вагонетки. Это, по словам Евгения Леонидовича, самый трудоемкий процесс. Затем раздробленную руду вагонетками доставляют на фабрику, где она поступает в дробильное отделение — большой цех, в котором, кажется, нет неподвижного предмета. Когда смотришь на огромные вращающиеся барабаны и слышишь хруст горной породы, еще недавно бывшей миллионотонным монолитом, кажется, что находишься внутри огромной мясорубки. Масштабы поражают, но не меньше восхищает и могущество человека. В дробильном отделении честолюбивый человек может находиться долго.

После дробления измельченная в порошок гора попадает на концентрационные столы, которые трясутся и скачут, вымывая золото. Способ, немногим отличающийся от того, как вымывали золото на Клондайке или в Сибири с помощью тарелок-лотков. Больно смотреть, как весь этот дорогостоящий концентрат, перемолка которого только что рождала пафос и вызывала гордость, сливается в ведро, ничем не отличающееся от мусорного. (Здесь честолюбцу находиться невыносимо.)

Когда ведро наполняется, его относят в соседнее помещение, и там происходит действие вовсе комичное. В небольшой комнате, которую особо охраняют и за которой все время следят, находятся три стола, на каждом из которых стоят небольшие агрегаты, напоминающие кофеварки. В эти «кофеварки» насыпается концентрат, с помощью черной магнитной жидкости золото очищается от лишней дряни и уже очищенное попадает обратно в ведро. Спустя какое-то время это ведро переносят в другое помещение, где очищенное золото переплавляется в слитки. Затем слитки еще тепленькими складывают в обыкновенный мешок и закрывают в сейф.

Это выглядит комически, потому что трудно представить, сколь масштабна золотодобыча у своего начала: реки, моря, пароходы, гигантские сопки, героизм шахтеров... И сколь ничтожна в конце: ведро, кофеварка и невзрачный желтоватый слиток. Это кажется противоестественным, как если бы река начиналась устьем и завершалась истоком. Но золотодобытчики на эти вещи внимания не обращают. Говорят, есть металлы еще более ценные — палладий, висмут, осмий. Там крошат и перемывают горы за десять граммов.

По словам директора ГОКа, в двухтысячном году рудник должен добыть полторы тонны золота. Не знаю, много это или мало. Заработок зависит от количества добытого золота. Сейчас при добыче одной тонны шахтеры получают от десяти до четырнадцати тысяч рублей. Когда добудут две, их заработок увеличится до двадцати тысяч в месяц. Шахтеры — наиболее высокооплачиваемые. Остальные получают в среднем по пять — семь тысяч, но уже в двухтысячном году надеются получать по десять — двенадцать. Евгений Леонидович говорит об этом уверенно. Ему верят и потому не увольняются. На рудник устроиться трудно. Существует строгий отбор кандидатов. Основное требование — профессионализм. Наибольшая нужда как раз в шахтерах. Проект создавался в то время, когда еще не было ручных мини-буров, значительно облегчающих работу в шахте. Поэтому работают по старинке — ручными перфораторами, а молодежь к тяжелой физической работе не предрасположена.

Всего на руднике и фабрике трудятся около пятисот человек. Третей из Библино, остальных возят по двадцать — сорок человек вахтовым методом из Магаданской и Свердловской областей, а также с Украины — из Кривого Рога. Привозят их на срок от трех месяцев до полугода. Живут шахтеры в общежитии, прямо на руднике. Там есть столовая и все прочее, что позволяет жить и работать, не отвлекаясь. Край суровый, работа тяжелая, деньги приличные, отношения соответственные. Основную часть зарплаты выдают перед отъездом, чтобы не пропили.

Коралвеевского месторождения хватит на пятнадцать лет. За это время рассчитывают добыть тридцать две тонны золота. Но предприятие существование не прекратит. В десяти — пятнадцати километрах еще одно месторождение — Озерное. Оборудование перевозить тоже не будут. Купят десяток самосвалов, скорее всего в Беларуси, и будут привозить руду.

Конечно же, меня интересовало: можно ли приехать, взять лопату, кирку, поковыряться, найти самородок, продать и уехать... в Париж?

Оказывается, нельзя. Евгений Леонидович говорит: поймают, арестуют, золото заберут, а самого посадят. Есть закон о недропользовании, и, прежде чем взять лопату, надо приобрести лицензию на добычу золота. Иначе это будет считаться «хищнической отработкой недр». Стоимость лицензии зависит от запасов месторождения. Если намереваетесь добывать золото частным образом — есть понятие: «вольный принос», — надо прийти в Комитет по природным ресурсам и подать заявку. Эту заявку Комитет выставит на конкурс, а информацию об участниках конкурса опубликует в газетах. В то же время производится расчет, чтобы установить плату за пользование недрами. Допустим, вы собираетесь копать на участке, где золота на 20—30 килограммов. Такая лицензия будет стоить две-три тысячи долларов. Определяют сроки отработки этого месторождения, условия лицензирования и платежи в бюджет.

Помимо прочего вас начинают проверять: серьезный ли вы человек, не больны ли психически, имеются ли механизмы или вы предпочитаете мыть лотком? Затем вас отправят в милицию, проверят на судимость и на благонадежность, и если вы пройдете криминальную экспертизу — можете брать лопату, лоток и идти за золотом.

В договоре сказано, что раз в десять дней вы обязаны сдавать намытое золото. Там же оговорена цена, по которой ГОК его у вас покупает. Если вы романтик-энтузиаст, ничего не понимающий, то едва ли что-нибудь заработаете. Еще и должны останетесь. Такие случаи бывали. А опытный золотодобытчик может заработать и сто тысяч за сезон и двести. Но частники, как правило, лицензии не покупают. Их приобретают всевозможные товарищества и акционерные общества.

А что, если я, получив лицензию, возьму лопату, копну и обнаружу самородок, килограммов на десять? Куда идти? Евгений Леонидович сказал, что такого самородка здесь еще не находили. Самый большой весил семь сот. И все-таки если я найду такой же, килограммов на восемь, то его у меня немедленно купят. За сколько? Директор ГОКа взял калькулятор: за семьдесят тысяч долларов США, но с разными вычетами — останется пятьдесят. Если же самородок представляет художественную ценность, напоминает чью-то голову, птицу или какого-то зверя — все зависит от воображения художественного совета при ГОХРАНЕ, — то такой самородок купит ГОХРАН.

Дорогой Б. З.! Как-то сообщали, что на одной из американских ферм объявилась пятнистая корова, левый бок которой имеет окраску, в точности повторяющую карту Соединенных Штатов. Не было отбоя от туристов и политических деятелей, а сама корова по всем статьям проходила уже не как скотина, а как произведение искусства с патриотическим уклоном, что ценилось особенно. Вот бы найти самородок, килограммов на восемь — десять, напоминающий левый бок той американской коровы! Сколько бы мне отвесил за него американский ГОХРАН!

Войдя в мечтательный кураж, я спросил у Евгения Леонидовича, что будет, если, придя на рудник, я увижу кусок золота и положу его в карман. Ничего, говорит, не будет. Просто мне дадут лет пять строгача, и все на этом закончится.

Золото воровали и воруют, но вот сажают не активно. И здесь у директора ГОКа серьезные претензии к правоохранительным органам: то у них нет бензина, то кадрами не укомплектованы, то такие кадры, что лучше бы их и вовсе не было... Кроме того, как промсезон, так у них начинаются отпуска. Сколько сотен тонн цветного металла вывезли из района, пока наконец не издали приказ о запрете вывоза! Не то что золотом, они и цветными металлами не занимаются. Ну а если крадут золото, то крадут крупнячок, самородочки... Потом вывозят на материк. В основном покупают кавказцы. В Магадане, Сусумане, в Ягодном скупщики орудуют прямо на предприятиях. Воруют наши, а скупают другие. На золоте существует своя, особенная мафия. Там и авиация, и автотранспорт: в зимнее время можно уехать на материк, прямо в Москву. Доехал по зимнику до Кольмской трассы, а там на Якутию. (С обязательным ударением на букву «и».)

Вот что касается добычи золота. Я не собирался на этой теме останавливаться, но... Какая же Чукотка без золота!

Похоже, я устал. И, быть может, мне удастся заснуть.

2 декабря. Билибино

Здравствуйте, дорогой Б. З.!

Четвертый день хожу по городу. Всматриваюсь, вслушиваюсь, запоминаю. Чукчей не видно. Одни русские да хохлы. Скříзь чую рідну мову, в основном женскую. Хлопців не меньше, но Север убрал из их голоса мелодраматичность и сентиментальность, в то время как женщины это сохранили. И русские, и украинки — цветущие, здоровые, румяные, плюс к тому разодетые в дорогие шубы и шапки. Ходят не торопясь, с достоинством, подняв голову. Мороз им нипочем. Минус сорок пять, а они ведут беседу посреди улицы! А вот чукчей до сего дня видел только на фотографиях в краеведческом музее. Правда, там работают две девушки — чукчанка и эвенка, — но они мне показались вполне городскими.

И вот, наконец, встретил настоящего чукчу. Он шел быстро, чуть вразвлочку, на голове малахай, на самом — кухлянка, на ногах почему-то не торбаса, а изношенные унты. Старые рукавицы, какие шьют для рабочих, и вовсе изорванные. Чукча первым поздоровался, а я машинально стал его о чем-то расспрашивать, но выяснил только имя — Сергей. Поскольку разговаривать на пятидесятиградусном морозе невозможно, я пригласил его к себе. Сергей согласился, и через несколько минут мы уже находились в моем жилище.

Он снял кухлянку, малахай, унты, и... вмиг пропала экзотика, а вместе с ней и привлекательность. Остался невысокий, шуплый, темноволосый и не уверенный в себе человек, возраст которого ни за что не определить. На нем был желтый, старый и явно не по размеру свитер, который едва ли грел. Под свитером надета темно-синяя шелковая рубашка. Чукча постоянно потирал руки: то ли от холода, то ли от того, что не знал, куда их деть.

Я предложил ему вымыть руки, затем пригласил на кухню и усадил за стол. Сергей выполнил все старательно и без слов. Я заварил чай и вытащил из холодильника все, что только у меня было. Тем временем мой гость грел руки, прислонив их к батарее.

Пока пили чай, я пытался его разговорить. Отвечал Сергей невнятно, и мне приходилось переспрашивать, от чего я быстро устал. К тому же он выпивал один стакан чая за другим и я едва успевал подливать ему новый. Сахар он не брал, и я вынужден был подсыпать ему в стакан и затем размешивать. За ним надо было все время ухаживать. Самостоятельно он только пил, а ел, лишь когда ему подавали. Даже яйца я для него чистил, потому что Сергей, как мне показалось, чистить их не умел.

Мне было трудно разобрать его речь, но из сказанного я понял, что моему гостю сорок четыре года и что он из Омолона. Удалось также выяснить, что Сергей работал оленеводом, но уже давно ушел из тундры и поселился в поселке, где проживает с женой и тремя дочерьми. Жена — Наташа — уборщица в местном клубе. Получает пятьсот рублей. Сам он работает кочегаром и получает еще меньше. Старшей дочери двенадцать лет, средней — девять, а младшей — восемь. Все учатся в школе. Сергей жаловался, что семью содержать не на что, бывает, когда просто нечего есть. Дети питаются в основном в школе. Продукты выдают раз в месяц, и они быстро заканчиваются: по килограмму перловки, риса и сахара. Хотели купить картошку, но, когда она появилась, закончились деньги. К тому же с них высчитывают плату за электроэнергию. Сергей сожалел, что не сможет привезти на Новый год подарки детям, так как нет денег. Хотя перед выборами их вроде бы обещали дать. Сергей не имеет возможности охотиться, потому что у него отобрали ружье: оставшись от отца, оно не было зарегистрировано. Питаться олениной тоже нельзя. Почему, я так и не понял. Видимо, оленей осталось мало. Основную массу то ли кто-то увел в тундру, то ли они сами ушли, то ли их загрыз волк, то ли еще что-то с ними случилось... Пытался поставить капкан на зайца, но тоже тщетно. Когда заяц попался, голодные собаки поедали его прежде охотника. Можно заработать на шкурах волка, но для этого опять-таки нужно ружье... Отвечая, Сергей постоянно поглаживал горячую батарею. Так же, обхватив ладонями стакан, он пил чай.

Сергей приехал в Билибино к врачу. Я не стал расспрашивать, в чем дело, так как очевидно: у него не в порядке зубы. Я сказал, что мои друзья не поверят

в то, что чукча голодает, живя рядом с тундрой, где множество зверья и дичи. Но он лишь улыбался: «Как это, не поверят?» Я спросил, почему же он так плохо и беспомощно живет. «Не знаю», — отвечает и вновь улыбается. Но когда я спросил, что делать, чтобы выйти из этого положения, Сергей тотчас ответил: «Начальство надо найти такое, чтобы все делало правильно и говорило, куда надо идти и что делать». Сами же они, по словам Сергея, «не знают, что и как надо делать, чтобы было хорошо». Понял я также, что в тундру постоянно приезжают какие-то коммерсанты, скупают мясо и пушнину и увозят. Спрашиваю: куда смотрит администрация? Но Сергей лишь пожимает плечами.

Зимой он ловит рыбу — в основном хариуса, — которую затем сушит. Говорит, надо уметь сушить, а то можно отравиться и умереть. Летом вместе с женой собирают бруснику, черную и красную смородину.

За тот час, что мы разговаривали, я страшно устал и желал поскорее остаться в одиночестве. Однако мой чукотский приятель покидать меня не собирался. Он не уходил не потому, что был бесцеремонным, и не потому, что ему нравилось пить чай и разговаривать, а потому, что никто не сказал ему, что пора уходить. И, как только я, сославшись на занятость, стал благодарить его за встречу, Сергей немедленно засобирался. Но если бы я вновь предложил ему вернуться и сесть за стол, он бы тотчас вернулся и пробыл бы у меня столько, сколько хочу я, хозяин, а не он, гость.

Надев экзотическую северную одежду и преобразившись, Сергей вышел из квартиры. Он с радостью и легкостью (я впервые заметил в его движениях свободу) стал спускаться по ступенькам, сказав на прощание, что обязательно зайдет еще — «поговорить».

Дорогой Б. З.! Я не пойму: кто же у меня был? Я видел перед собой беспомощного, полуграмотного человека, не способного ни к стройному изложению мысли, ни к более-менее ясному разговору. Только жалобы. Весь он был стеснен, зажат, и было очевидно, что ему не по себе. В то же время он не спешил покинуть чуждую обстановку.

...Жил человек, работал пастухом, был уважаем и в своем деле незаменим. Но потом по каким-то причинам покинул тундру и... пропал. И мы с Вами наверняка погибнем, если окажемся в тундре такими, какие есть. Чукчи же, наоборот, погибают, как только тундру оставят. Эту простую истину, наверное, нельзя понять, если не встретиться с таким чукчей, как мой гость Сергей.

Мои «гастрономические» приготовления оказались напрасными: супы в пакетиках здесь есть, чай тоже, равно как и сухое молоко (его тут завались), даже молотый кофе, который я затолкал в сумку, здесь продается. Можно было всего этого не брать. Разумеется, цены здесь намного выше московских, но лучше переплатить, чем таскать тяжеленные сумки. Конечно, хочется чего-нибудь сугубо чукотского. Но я здесь уже несколько дней, а ничего экзотического так и не видел.

Мне попала местная газета «Золотая Чукотка», в которой приводятся данные за июнь о так называемой «продуктовой корзине», включающей двадцать пять продуктов питания. В Анадыре эта «корзина» составляла 1529 рублей 38 копеек. По сравнению с январем стоимость выросла на 37,5 процента. А прожиточный минимум (с учетом промтоваров и коммунальных услуг) в среднем по Чукотке — 2776 рублей на человека.

Для сравнения: потребительская корзина в среднем по России стоила в июне около 600 рублей. В Магадане — 917 рублей, в Якутске — 851, в Ульяновске самая дешевая — 442 рубля. Чукотка по ценам — в лидерах, а Билибино — лидер на Чукотке! Мне поведали, что сейчас, в начале зимы, в Билибино стоимость «продуктовой корзины» на человека — четыре тысячи рублей. Так вроде бы сказал сам губернатор. Но я, глядя на цены, не рискнул бы остаться здесь на месяц с четырьмя, с пятью и даже с десятью тысячами.

Купил местную газету, на первой полосе которой любопытная рубрика: «Хорошие новости».

Сообщается о пятнадцатипроцентной прибавке к пенсиям каждому пенсионеру страны. В Билибино максимальная пенсия — 950 рублей 50 копеек; минимальная — 720 рублей 86 копеек. Добавьте к этому сто рублей с небольшим — получите первую хорошую новость.

Читаем далее. По указанию Президента РФ в стране установлен День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В честь праздника администрация района выделила из бюджета материальную помощь — по 200 рублей каждой из 134 многодетных семей, живущих во всех селах района и в самом Билибино. Это вторая хорошая новость, а рядом — третья. Ко Дню инвалидов (и такой праздник у нас установлен — 3 декабря) детям-инвалидам и взрослым-инвалидам I и II групп выделена материальная помощь в размере 100 рублей на человека.

И это еще не все хорошие новости. В октябре—ноябре многодетные матери и матери-одиночки Билибинского района получили гуманитарную помощь от Красного Креста и Красного Полумесяца в виде гигиенических наборов (мыло, шампунь, зубная паста, памперсы, прокладки и т. п.), всего — 455 наборов. Население района составляет чуть больше двенадцати тысяч. Если представить, что женщин половина, да вычсть детей и старушек... Благодаря «хорошим новостям» мы можем прикинуть, какой процент составляют в районе матери-одиночки и многодетные матери. Какой материал для будущих исследователей!

Наконец, последняя «хорошая новость». В 1999 году 147 неработающих пенсионеров и инвалидов, выезжающих в ЦРС (центральные районы страны), получили компенсации за сданное жилье на общую сумму 2 042 305 рублей. Это значит, что в среднем каждый получил по 13 тысяч 893 рубля и 23 копейки. Этой суммы должно хватить на авиабилеты: сначала до Певека, а затем до Москвы. А вот на что жить дальше — неизвестно. Запасов ни у кого нет. Все деньги или истрачены, или исчезли после 17 августа 1998 года.

Как жить в Билибино? Чем прокормить семью?

Вариантов немного. И среди них — охота и рыбалка. Те самые натуральные способы выживания, какими пользовались наши предки тысячи и миллионы лет назад.

Я разговаривал с одним водителем, который по выходным старается выезжать на охоту, чтобы прокормиться. Он притащил здоровенный кусок лосятины (сохатины), который я варил в огромной кастрюле несколько часов. Что в сравнении с этим бульоном полусинтетические супы в пакетиках! Так вот, Юра родом из Курской области. Приехал сюда на три года, а прожил тринадцать. Жена, двое детей, работа. Он не ропщет и в отличие от других на материк не рвется.

По словам Юры, сейчас охотятся в основном «на мясо»: это сохатый, олень и зайцы. Медведи зимой спят, хотя встречаются шатуны — одинокие, голодные и потому опасные. Охота на них строго запрещена. Лишь браконьеры убивают медведя из-за шкуры, а мясо едят только очень смелые (или голодные) люди: можно отравиться. Из птиц в это время охотятся на глухарей и куропаток.

Бывает, попадаются соболь, песец, лиса. Но охотиться ради пушнины невыгодно. Денег ни у кого нет, и, следовательно, некому ее продавать, в то время как сама охота — занятие дорогое. Ведь на охоту, как правило, выезжают на машине.

Охотятся с помощью ружей и карабинов, а мелочь ловят капканами и прочими приспособлениями. Но, как и в золотодобыче, прежде заключают договор с охотничьей инспекцией и берут лицензии.

Юра рассказал, что на куропаток старики охотятся едва ли не в черте города. Денег нет, однако голь на выдумки хитра. Например, берут бутылку из-под шампанского, заливают горячую воду, ставят в снег, он подтаивает, и получается ледяная лунка с сужающимся отверстием. В лунку-ловушку кладут несколько ягод. Куропатка туда попадает, а выбраться не может. Охотник приходит и забирает добычу. Ловят куропаток и сетью. Набрасывают на кусты, птицы запутываются, и ничего не стоит их взять. Существует множество самых разнообразных хитростей.

Вот как ловят горностая. Его важно сохранить не поврежденным из-за ценности меха. Ведро с водой выносят на мороз и, когда вода по краям замерзнет, пробивают небольшое отверстие во льду, выливают не успевшую замерзнуть воду и получают ледяной сосуд с дырочкой. Внутри кладут кусочек мяса и ставят в места обитания горностая. Тот по дурости своей туда залезает, а выбраться не может. В итоге зверек замерзает, а вероломный охотник, обнаружив добычу, разбивает сосуд и забирает жертву.

Юра рассказал, что сам горноста́й в отличие от человека не особенно задумывается над тем, как приспособиться к тяжелой жизни. Если становится невыносимо и нечем прокормить детенышей, горноста́й выбирает ветку с рогатиной, засовывает туда голову и лишает себя жизни. Поразительно! А у нас женщины жалуются, что мужики на спиртное последнее из семьи тащат.

Водится в этих местах и соболь, мех которого считается самым ценным. Вот только поймать соболя — дело более чем хлопотное. Юра когда-то пытался их разводить, читал литературу и почерпнул любопытные сведения. Самка, вынашивая детеныша, оказывается, может прерывать беременность. Даже не прерывать, а приостанавливать. Видит, что грядет неурожай, и понимает, что не прокормит будущее потомство. Тогда она решает: нечего плодить нищету, — и приостанавливает на некоторое время беременность. Затем, если ситуация улучшается, она оживляет внутри себя плод, донашивает его и затем рожает.

Если бы такими способностями обладали наши женщины, то они ходили бы всю жизнь с животами, ожидая улучшений...

Кроме охоты, здесь ловят рыбу, и к зиме у многих она припасена. Меня угощали строганиной из чира. Это намертво замороженная рыба с полметра длиной. Ее буквально строгают ножом и стружку поедают под водку. (Или, наоборот, водку пьют под стружку.) Золотодобытчики специально для этого пригласили меня в сауну. Признаюсь, я так и не понял вкусовых достоинств этой строганины. Зато был ошеломлен тем задором, с каким ее строгали, с каким удовольствием обмакивали в аджику и поглощали, причмокивая, посапывая и прихрустывая. Да еще с такой скоростью! Последнее затем, чтобы стружка не успела разморозиться. Я в это время пил пиво с голландским сыром под хихиканье и упреки, что напрасно приехал на Чукотку.

Видя, что я остался равнодушным к столь изысканной еде, меня решили угостить щекой сохатого, по утверждению моих чукотских друзей, самым изысканным деликатесом. На следующий день они сварили губы, щеки, ноздри, брови, подбородок и все прочее, что только имеется на лосиной морде, и принесли мне это варево в огромной кастрюле. Тут же была открыта бутылка водки. Затем они стали с аппетитом эти щеки поедать. Я тоже попробовал кусочек и в отличие от строганины почувствовал вкус. Какой? Как бы объяснить... Вот у Вас есть щеки. Теперь представьте, что их сварили...

3 декабря. Билибино

Дорогой Наиль!

Как и обещал, пишу тебе с Чукотки, из районного центра Билибино. Аклиматизировался, можно сказать, привык.

Все здесь спокойно, тихо, неторопливо. Нет сутолоки, беготни, вообще не наблюдаю резких движений и сам их избегаю.

Впечатлений много. Особенно от природы, которая не стесняется себя показать. Но есть и много грустного. В основном, когда сталкиваешься с нищетой и безнадегой. Мне казалось, что на краю света я отвлекусь от этой извечной российской темы... Куда там!

Вчера увидел, как в Дом культуры сходятся старушки-чукчанки. Прошел за ними. Оказалось, они устраивают нечто вроде посиделок. В одном из залов расставили столы, стулья, пьют чай с конфетами, разговаривают. И не только старушки. Здесь и средний возраст, и подростки, и почти грудные дети.

Все пришедшие — человек семьдесят — жители поселков района: Омолона, Анюйска, Илернея, Островного и Кепервеема. Формальный повод собраться — празднование 69-й годовщины Чукотского округа. Организовать подобное мероприятие трудно. В Билибино коренных жителей не много, а чтобы привезти их из далеких сел, никаких денег не хватит. Расстояния огромные. Пассажирский транспорт не курсирует. Только специальный. От Билибино до Островного, шесть-семь часов езды по зимнику, а до Омолона или Анюйска доберутся сут-

ками. Но ведь прибывших надо разместить, накормить, потом отправить обратно — словом, дело это неподъемное для хилых районных бюджетов. Жители поселков никак не могут добраться до районной больницы, а добравшись, остаются на два-три месяца, не имея средств вернуться домой. Поэтому в Доме культуры собрались те, кто по каким-то причинам оказался в эти дни в Билибино.

Идея посиделок проста. Коренным жителям, волей обстоятельств попавшим в город, пойти некуда. Вокруг них, конечно, не враги, но чужие... Куда ни глянь — всюду мы со своими порядками и законами, а к ним добавь наши ужимки, ухватки и прочее, что мы и сами терпим с трудом. Чукчи и эвены, а именно эти народности самые многочисленные в районе, пребывают на положении бедных родственников, хотя живут у себя дома. Конечно же, им хочется побыть вместе, поговорить на родном языке, спеть свои песни, потанцевать. Многие уже десятки лет, как покинули тундру и не виделись с родственниками, друзьями. Здесь, например, встретились сестры, которые расстались тридцать лет назад! Уже одно это — событие.

Среди участников вечера оказалась и моя новая знакомая-эвенка. Она работает смотрительницей в краеведческом музее. Надя пригласила меня за один из столов, и весь вечер я находился рядом с нею и ее подругой Лидой, воспитательницей из детского сада в Анюйске.

От них я узнал, что такие встречи проводятся по инициативе ЮНЕСКО, объявившего девяностые годы десятилетием малочисленных народов. Надо же! Девяностые на исходе, а я впервые об этом слышу. Впрочем, мы пока народ малочисленный, и не каждый у нас знает о существовании самого ЮНЕСКО.

Во всяком случае, необходимость подобных встреч назрела и без посторонней инициативы. Конкурсы, самодеятельные концерты, игры — все это в форме чаепития. Приглашали всех желающих. Ограничения были лишь в деньгах. Районная администрация выделила полторы тысячи. Если разделить на семьдесят и сопоставить с билибинскими ценами, получится сумма мизерная. Но и этому люди рады, а скромное угощение принимали с благодарностью. Главное в другом: коренные жители смогли побыть вместе.

Когда подобные встречи устраивают в национальных селах, денег выделяют еще меньше. Триста рублей на мероприятие. Хотя там собираются по сто и более жителей. Как обходятся? На эти деньги покупают муку и пекут пироги. С чаем разве не пир!

Мне казалось, что все собравшиеся, кроме моих собеседниц, чукчи. На самом деле, здесь были и эвены. Их не надо путать с эвенками, хотя мне они кажутся на одно лицо...

Ты, конечно, слышал анекдоты про чукчу. Откуда они пошли, не знаю, но, вероятно, анекдоты эти призваны высветить наш русский интеллект. Анекдоты достаточно безобидные, но для чукчей малоприятны. Впрочем, для русских чукча — не национальность, а обобщенный образ. Эвены, эскимосы, юкагиры, ненцы, нанайцы, якуты, коряки, ханты и манси — все для нас чукчи, равно как и народы, живущие гораздо южнее, вплоть до монголов и даже включая их. Здесь главное, чтобы в наличии были чум, яранга или юрта, узкие глаза да широкие скулы, — вот тебе и чукча. То же, что и «лицо кавказской национальности». Так что мы относим это понятие к народам Севера вообще, не имея в виду чукотских чукчей. Тем не менее анекдоты эти высвечивают не интеллект, а наше скудоумие и высокомерие, свойственные народу, только-только переставшему считаться первобытным.

Вот, кстати, анекдот:

«У самолета, летевшего над Чукоткой, отказали двигатели. К счастью, летчики сумели посадить машину прямо в тундре и пассажиры были вынуждены пробираться по сугробам к какому-нибудь жилью. Обессилевшие, замерзшие и голодные, они кричали: «Ау-у-у! Лю-ю-ди! Помогите!» На что выглянувший из-за редких кустов чукча заметил: «Как Москва — так «чукчи», а как тундра — так «люди»».

Но, кроме чукчей, на Чукотке живут еще эскимосы, коряки, юкагиры, чуванцы... Здесь, в Билибинском районе, в основном чукчи и эвены. Мне сказали, будто они принадлежат к разным расам. Вроде бы чукчи относятся к негроидной, а эвены к монголоидной. Не знаю: верить ли этому? Для меня они мало от-

личимы. Я считал, что все эти народы являются остатками Золотой орды и потомками Чингисхана. Мне казалось, что сразу же после Куликовской битвы они бежали на Восток и в конце концов прижились в этих недоступных местах, где мы их сумели достать лишь спустя несколько столетий. Я мало задумывался над тем, что наши («наши»!) северные территории были всегда заселены народами, со своей культурой, религией, богами и божками, со своими историями и традициями, что, покоряя Сибирь, в действительности Ермак покорял людей, которые жили там тысячи лет, не подозревая о нашем славном существовании.

Корни эвенов в тунгусских племенах, вышедших из Китая. Часть эвенов и поныне проживает в Китае и Монголии. Этот кочевой народ испокон веков пас оленей, передвигаясь на огромные расстояния и преодолевая любые препятствия. Так, их предки добрались до Ледовитого океана. Эвенские олени намного крупнее тех, что пасут чукчи. Шутка ли, на них эвены ездили верхом, в то время как олени чукчей немногим больше крупной собаки. При обмене за эвенского оленя чукчи давали двух своих. Не от того ли эвены считают себя более цивилизованными? А может, потому, что эвены христиане, причем православные?

С чукчами эвены чаще воевали, чем дружили. По словам Нади, виноваты эвены, которые были агрессивны и часто вытесняли чукчей. Оправдывались эвены тем, что их, в свою очередь, теснили якуты. На якутов тоже давило какое-то воинственное племя... Словом, во всем виноваты мы, русские, потому что прогнали с насиженных мест то племя, которое теснило якутов. Ну а с нами, как показывает история, можно все что угодно делать, даже завоевать. Вот только прогнать нас еще никому не удавалось...

Когда я обратил внимание на внешнюю схожесть чукчей и эвенов, мои собеседники удивились. По их мнению, эвены отличны не только от чукчей, но и между собой. Омолонский эвен отличен от анюйского, и оба — от илирнейского. «Мы, — говорит Лида, — идем по улице и можем сразу определить, откуда эвен родом».

А мы, русские, сможем отличить валдайца от скобаря или уральца от курянина? Я не отважусь. А ты отличишь татарина из Бугульмы от татарина из Мензелинска?

Я спросил: действительно ли эвены выше чукчей в культурном развитии? Мои собеседники только рассмеялись: никто не выше и не ниже. Оба народа — великие труженики и, чтобы выжить, всю жизнь занимаются оленеводством и охотой. У чукчей — яранга, у эвенов — чум или юрта; у чукчей одежда более строгая, приспособленная, практичная; у эвенов, особенно у женщин, она отличается художественным изыском: орнаментом из красных, черных и синих лоскутков, украшениями из разноцветного бисера, а также серебряными пластинками, бляшками, колокольчиками или монетами. Передники эвенок — главная достопримечательность. Женщины, бывает, расшивают их всю жизнь, и такой передник — предмет особого внимания коллекционеров. Стоимость иного передника может доходить до тысячи долларов и выше.

Лида рассказала об Анюйском совхозе, который преобразовали в фермерское хозяйство, никого о том не спросив. Оленеводы работали-работали, вдруг им сообщили, что отныне они трудятся в фермерском хозяйстве. Руководство оставили за собой, а ответственность за стадо переложили на оленеводов. Хотя знают, что поодиночке пастухам не выжить. Теперь, когда фермерские хозяйства развалились, олени исчезли, а оленеводы ушли из тундры, начальство спохватилось. Решили вновь всех согнать в совхоз. Только уже некого сгонять и нечего пасти, осталось не более тысячи оленей. Это ничто. А оставшиеся оленеводы по пять лет не видят ни денег, ни даже хлеба.

Сама Лида получает тысячу рублей в месяц и тем спасается. А многие живут лишь на пособие, которое, впрочем, уже год не выплачивают. Она говорит, что и рыбы в реках не стало. Вроде бы она поднялась в верховье и больше не спускается. Возможно, ее переловили, а может, отравили. На вопрос: как люди живут? — эвенка отвечает известной формулой: «Хочешь жить — умей вертеться». Маленькая, щупленькая, по-детски наивная, а эта поговорка скорее советская, чем русская.

Знает ли начальство о столь бедственном положении? Собеседницы убеждены, что все от него и исходит. Они стали рассказывать о каких-то средствах,

выделяемых государством на развитие оленеводства и на поддержание жизни в национальных селах, о том, что деньги эти кем-то разворовываются, что начальство за их счет обогащается и от этого у людей ностальгия по советским временам, когда в оленеводстве был порядок, а у населения достаток. Сейчас эвены и чукчи беззащитны и бессильны. Надя и Лида считают, что они вымирают: возросли заболевания туберкулезом, который уже вроде бы победили. И русские, которые не успели или не смогли выехать, тоже заболевают. В садиках здоровых детей почти нет.

Лида говорит, что дети приходят в садик и первое время не могут есть ничего, кроме хлеба. «Дали им как-то на праздник яички, а они спрашивают: «Что это за мячики?» Вот до чего доходит! Они просто не знают, как надо есть другую еду. Слава Богу, в садике налажено питание, в том числе и молочными продуктами. Разумеется, из сухого молока. Кроме того, есть сухие овощи. Старается, как может, сельская администрация».

Но почему же оленеводы не возмущаются, почему не постоят за себя? Девушки отвечают, что оленеводы — трудяги и не склонны к пустым разговорам.

По словам девушек, здесь, на Чукотке, нужны не только оленеводы, охотники и рыбаки. Нужны свои шофера, авиаторы, шахтеры, строители, врачи, учителя — словом, специалисты, владеющие всеми необходимыми профессиями, чтобы не возить их с материка за большие деньги. Чукча или эвен не станет тащить за собой контейнер и оглядываться на него, как на чемодан.

«Нам,— говорит Надя,— не нужны на материке дома или квартиры. Мы уезжать не собираемся. Здесь наш дом, наша родина, наши предки, наши семьи, и, даже если с голоду будем помирать, никуда не уедем. Значит, нам надо помочь обрести профессии. Оленевод уходит из тундры и куда идет? Кочегаром в лучшем случае. Потом спивается и гибнет. Они без тундры не знают, как жить».

Надежда рассказала, как некоторые коренные жители начинают заниматься огородами и даже смогли вырастить капусту. Невероятно, но наше государство и не на такое может подвигнуть. Не это ли имелось в виду, когда утверждали, что и «на Марсе будут яблони цвести»?

Действительно, мы заманили сюда врачей, учителей, шоферов, летчиков, шахтеров, а коренные жители как были, так и остались оленеводами, охотниками да рыбаками. Но из приезжих большинство Чукотку покинули. Оказалось, что в действительности эта земля, кроме северных народов, никому не нужна. Мы ведем себя здесь, как временщики, а от временщиков какая польза?

Но, бывает, и нередко, что эти временщики, прожив здесь многие годы и уехав на материк, пишут затем слезные письма. Надя рассказывает, что ее друзья-русские после Чукотки нигде не могут прижиться. У них есть и дома, и садовые участки, и машины, а жить — не могут. Пишут, что люди какие-то «не те».

Я здесь чувствую себя спокойно, безопасно. Честно говоря, устал от того, что человек человеку волк, что столица — город мертвых душ. Но для моих собеседниц Билибино в сравнении с Анюйском, что для меня Москва. В далеких поселках, оказывается, отношения между людьми еще лучше, еще чище.

Пока мы разговаривали, участники вечера пили чай, плясали и пели. Организаторы устроили викторину, наподобие «Поля чудес». Но главное, все — от стариков до самых маленьких — веселились. Они, включая летчика-подполковника, словно дети радовались тому, что я их фотографирую, послушно выстраивались для общего снимка и особенно хотели, чтобы я запечатлел детвору. А как прихорашивались старушки, каждая из которых — настоящий клад!

С такой бабушкой можно разговаривать бесконечно. Они прожили жизнь в тундре, рожали и воспитывали детей, пасли оленей вместе с отцами, мужьями и братьями, каждая из них — мастер по шитью и рукоделию, ас в приготовлении пищи, каждая — врач, учитель, носитель древних преданий, знаток обычаев, устоев, традиций. Женщина в тундре — особая тема...

Надя помогла договориться о встрече с одной пожилой чукчанкой. Говорят, она легендарная личность. Ей больше восьмидесяти, и почти всю жизнь прожила в тундре. К тому же у нее муж — русский. Она родила от него восьмерых детей!

Там же была и эвеночка, лет пятнадцати... С такой пройдешь по Москве — все будут оглядываться. Да и по Казани, которая щедра на экзотику, я бы с нею

прогулялся: от университета до Кремля. Белый Кремль на фоне синего неба всегда меня восхищал.

Обнимаю тебя и обязательно напишу еще.

Р. S. Продолжаю письмо и для этого даже вскрыл конверт. Представляешь, ко мне зашли Надя с Лидой и принесли небольшую турочку. Видимо, слушая их рассказы о жизни в тундре, я пожаловался на то, что мне, несчастному, не в чем варить кофе, а они не пропустили мимо ушей...

Поскольку Надя родом из Анюйска, я взял телефонный справочник абонентов района за 1983 год и попросил назвать, кого из них уже нет в Анюйске. Она без труда это сделала, так как знает в поселке каждого. Я отмечал, а она, глядя на список, ровным голосом говорила: «Этого нет... Этого нет... Этого нет...» Из ста четырнадцати абонентов, пользовавшихся телефоном шестнадцать лет назад, остались лишь двадцать семь! Почти ничего не осталось и от солидной инфраструктуры поселка, который до появления Билибино был районным центром, а сам район назывался Восточнотундровским.

4 декабря. Билибино

Привет, Веро!

Уже неделя, как я на Чукотке. В городе Билибино. Есть ли он на французских картах?

Пригляделся, освоился. Быт у меня вполне приличный, и ничего страшного, к чему меня готовили, здесь нет. Живу в двухкомнатной квартире, в которой все то же, что и дома. Имеется большущая кровать, раздвижной диван, но я сплю в спальном мешке: хоть в чем-то должно быть отличие от Москвы.

Здесь полярная ночь. Вместо обычного дня этикие сумерки, которые длятся не больше двух часов. Затем снова темнеет. Красоту этих сумерек ни передать, ни пересказать. Ее надо видеть. Постоянная ночь, быть может, кого-то угнетает, но только не меня. Солнце — искуситель. Его лучи мешают, отвлекают, куда-то зовут, грозят лишить разума, делают безвольным. Кроме того, при солнечном свете трудно писать. Для работы нужны ночь, сумерки, мрачная погода. В этом смысле лучше Севера нет ничего.

Считается, будто Пушкин любил осень и не жаловал весну. Я с этим не спорил, имея в виду его буквальные высказывания. Тем более что осень и сам люблю. Но со временем меня озадачила эта определенность: как это Пушкин мог не любить весну? Как можно не любить время, пробуждающее чувства, эмоции, умножающее восприимчивость и чувственность? Как остаться равнодушным к тем дням, часам и минутам, когда готова раскрыться душа и мы становимся беззащитными перед тем, что находится за гранью разума и рациональности?

В этот период все ищут друг друга и часто находят. Весна дарит счастье или если не счастье, то радость от новой встречи. Невольно, даже не замечая, мы движемся к ней, потому что и нас, еще ни о чем не подозревающих, тоже кто-то ищет. И если не осталось у нас надежды и мы простились с иллюзиями, очерствели и обессердечили, то кто-то, быть может, еще не пропал и, нечаянно явившись, вдруг спасет нас!

Но что значит для нас эта ожидаемая встреча? Что принесет с собой? Не новую ли любовь и не еще ли одну надежду на то, что все еще называют «человеческим счастьем»? Скорее всего новые страдания, душевное беспокойство с бессонными ночами и печальными, хмурыми днями...

Весна, весна, пора любви,
Как тяжело мне твое явление,
Какое томное волнение
В моей душе, в моей крови...
Как чуждо сердцу наслаждение...
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томление.

Отдайте мне метель и вьюгу
И зимний долгий мрак ночей.

Неправда, что Пушкин не любил весну. Он ее ждал и... боялся. Страхился своих чувств, новых страданий и нового горя — неизменного спутника счастья. И страх этот с годами только увеличивался, вместе с опасениями грядущей весны. Пушкин старался скрывать страх и этот безобидный набросок тщательно переработал, прежде чем включил в «Евгения Онегина». А последние две строки и вовсе убрал.

В этих дилеммах, кажется, лучше других разобрался Пруст.

«Пожалуй, можно сказать, что произведения, подобно воде в артезианском колодце, поднимаются тем выше, чем глубже в сердце проникает страдание. <...> И все-таки, раз уж кто-то так нескладно устроен (похоже, природа отвела эту роль мужчине), что не может любить, не страдая, и, чтобы познать истину, ему просто необходимо страдать,— жизнь такого человека в конце концов становится нестерпимой. Годы счастья — потерянные годы, для работы надо дожидаться страданий. Мысль о неизбежных страданиях неразрывно связана с мыслью о работе, и всякий раз мы не можем без страха думать о муках, которые придется вынести прежде, чем родится замысел нового произведения. А когда осознаешь, что страдание и есть лучшее, что предлагает нам жизнь, о смерти думаешь без ужаса, как об освобождении».

Был ли еще кто-то так «нескладно устроен», как наш Александр Сергеевич? И, зная о его страданиях, особенно в последние годы, представляя одиноким, мечущимся по заснеженному Петербургу или скитающимся по слякотным дорогам России, о смерти его думаешь как об избавлении.

Быть может, на Крайний Север бежали от несчастья и от новых страданий? Здесь меньше соблазнов и немного искушений, а те, что случаются, легче преодолеть. И сам Пушкин незадолго до гибели не замышлял ли отправиться в эти края? Не потому ли перечитывал книгу о Камчатке и писал заметки о ней? В Париж и Европу было нельзя, так он думал об Азии... Во всяком случае, географическое название Анадырь упоминается у Пушкина 26 раз!

...Но я отвлекся.

О своем плане найти первого младенца XXI века я никому не говорю. Не знаю, как это будет воспринято. Как только освоился, отправился в роддом. Он находится при районной больнице. Мои вопросы к акушерке настолько ее насторожили, что она третий день избегает встречи. После безуспешных попыток войти к ней в доверие я был вынужден искать понимание у главного врача — Ирины Александровны. С нее и надо было начинать, не нарушая субординацию, которая в подобных учреждениях соблюдается свято.

Главврачом Билибинского района быть хлопотно, но красиво. Мимо сугробов и сосенок она шла в роскошной шубе до пят, в богатой шапке, и только слышалось отовсюду: «Здрасьте!.. Здрасьте!..» По всему видно, что в районной больнице демократия в легкой форме, в зародыше и, надеюсь, не разовьется. Иначе здесь нельзя. Сама Ирина Александровна выглядит безупречно, одета строго и со вкусом, ее кабинет оформлен в соответствии с хозяйкой, на стенах несколько живописных картин с видами Чукотки, а в приемной сидит такая секретарша, что если главврач долго не принимает — грех роптать.

Ирина Александровна приняла меня, я открыл ей тайну приезда на Чукотку, и она мигом разобралась во всем, что мне нужно.

Выяснилось, что младенца здесь давно ждут. Все знают, что Чукотка первой встречает Новый год, а значит, есть шанс, что именно в этих краях родится первый человек грядущего века и тысячелетия. И хотя Билибино находится вдали от Берингова пролива, часовой разницы нет, и если здесь родится ребенок в первые минуты двухтысячного года — Билибино войдет в историю.

Ожидания эти закреплены не только эмоциями и амбициями, но и специальным приказом губернатора. А что такое приказ российского губернатора, европейцам не понять. Этот приказ не обязательно выполнять, но не чтить его, не трепетать, не вывешивать на стены и не руководствоваться им (поймешь ли значение этого слова?) — нельзя.

Я попросил Ирину Александровну показать этот исторический документ. Главный врач вызвала секретаря, и та спустя несколько минут принесла его копию, которую я вкладываю в конверт. Отнеси его в Лувр.

Между тем Ирина Александровна пригласила двух акушерок — опытную, с тридцатипятилетним стажем, Галину Алексеевну (которая избегала встречи со мной) и совсем молоденькую Светлану, а также врача-педиатра Юрия Корнеевича. Получив высокий статус, я мог расспрашивать врачей о чем угодно.

Вот что я выяснил.

Насчет первого младенца акушеры осведомлены и не удивятся, если он появится на свет при их участии. Сейчас в больнице три роженицы, которые могут родить под Новый год. Но сказать, что в ночь на первое января это действительно произойдет, врачи не возьмутся. Сроки, в которые ребенок может появиться на свет, — от 38 до 42 недель. Они знают о приказе губернатора, но и без этого в родильных отделениях фиксируется точное время рождения каждого ребенка. Если это случится в ноль часов тридцать семь минут — в журнале так и отметят.

Роды принимают акушер-гинеколог совместно с врачом-педиатром. Но еще задолго до этого педиатр и терапевт организуют охрану будущего ребенка. Они осматривают роженицу, изучают ее состояние — словом, доводят до родов. И после родов врачи еще долго ухаживают за матерью и ребенком.

Некоторые женщины работают в оленеводческих бригадах, живут в тундре, и, что там у них может произойти, никто не знает. Женщина обслуживает бригаду: готовит еду, кормит, шьет, убирает, рожает и воспитывает детей, ведет хозяйство, никуда из тундры не выезжает, и поэтому никто из врачей не может знать, беременная она или нет. Врачам лишь могут сообщить по радию, что где-то на берегах Анюя или Омолона родился ребенок. После этого врачи выезжают на вездеходе или вылетают на вертолете в тундру, забирают маму вместе с новорожденным, привозят в районную больницу и уже здесь осматривают и, если надо, лечат. Время появления на свет такого ребенка, конечно, никто фиксировать не станет, а о приказе губернатора в оленеводческих бригадах вряд ли осведомлены.

Итак, есть вероятность, что первый младенец третьего тысячелетия родится, а никто об этом не узнает. Мы узнаем лишь о том ребенке, которого с точностью зафиксируем. И чествовать будем его, в то время как настоящий первенец века будет спать в яранге, укутанный в пыжиковые шкуры, не подозревая, кто он на самом деле. Что-то в этом есть!

Мне казалось, чем глуше местность, тем вероятнее родиться незамеченным. Но все наоборот. Чем крупнее город, тем больше неучтенных детей. Здесь, в отличие от материка, врачи бегают за каждой беременной, буквально выцарапывая их из далеких поселков. За каждой посылают дорогостоящий вертолет, ради нее вылетают врачи, привозят ее в районную больницу, где благополучно доводят до родов. Это объясняется тем, что врачам строго наказано следить за численностью коренного населения. Существует приказ, давно изданный, но не отмененный, по которому беременную чукчанку или эвенку обязаны госпитализировать, обследовать и подлечить. Как выражается Юрий Корнеевич: «Коренная женщина должна идти в роды оздоровленной».

Как правило, женщины, работающие в тундре, не становятся на учет и от обследования отказываются. Не каждая соглашается оставить хозяйство и детей на длительное время. Тем более если муж — оленевод и почти всегда в отлучке. Кроме того, женщины нередко пьют, и бывали случаи, когда ребенка буквально спасали от матери. Всякое бывает...

Однажды сообщили по радию, что в тундре у роженицы начались судорожные припадки. Срочно организовали вертолет. Ирина Александровна и Светлана вылетели в Омолон — это как от Москвы до Нижнего Новгорода. Женщина была уже без сознания. Ее доставили в Билибино. Прооперировали. У нее не сокращалась матка, не сворачивалась кровь... Эту несчастную спасли, и, что совсем уж чудо, остался жив ребенок! Галина Алексеевна до сих пор удивляется, как не отслоилось «детское место».

И во Франции, и в России по-всякому зачинают и по-разному рожают, но плод вынашивают в одном и том же «детском месте»...

Это лишь один случай, когда спасли мать и ребенка, а таких случаев множество. Их подлечивают, выхаживают, сажают на вертолет и отправляют обратно в тундру. Обычно у таких рожениц нет ни одеяла, ни пеленок, нет ничего, во что можно завернуть ребенка. Все это им выдается за счет больницы или из того, что приносят жители Билибино.

Сейчас коренное население рождает больше, чем приезжие. Точнее, приезжие стали рождать меньше. Это происходит по разным причинам, из которых холод — не самая важная. Здесь, по словам Юрия Корнеевича, малый процент кислорода. Влияет также и северное сияние, безобидное на первый взгляд. Это электромагнитные бури, от которых всем становится плохо, вдобавок в это время не работает связь, плохо показывает телевизор и не ловятся радиоволны. Часто болит голова от перепадов давления и резкого колебания температур. Помимо этого сказывается плохое питание, отсутствие витаминов, фруктов и овощей.

Но меня в этой беседе все-таки больше интересовало: возможны ли в тундре роды, о которых вовремя не узнают врачи? Ведь тогда они не смогут установить точное время появления ребенка на свет. Судя по всему, такое возможно, и опытная акушерка это подтвердила.

Но затем врачи стали утверждать, что подобные роды сейчас практически исключены. В каждой бригаде имеется рация, по которой оленеводы даже из самых отдаленных кочевий могут связаться с районом, и, случись что, тем более если родится ребенок, уже через полчаса врачи об этом узнают и в тундру вылетит вертолет.

«А если нет топлива для вертолета?» — спрашиваю.

«Такого не бывает!» — отвечают дружно.

«А если непогода?»

Но и на это уверенно отвечают, что нелетной погоды для санавиации нет. Если жизнь человека в опасности — выполняется спецрейс «два-девять-один». Это значит, летчики подбираются самые опытные, способные вылетать в любую погоду.

Я поинтересовался: не случится ли подтасовка в связи с приказом губернатора? Не припишут ли акушеры первенство «своему» ребенку? Но мои собеседники утверждают, что подобное исключено.

Мы условились поддерживать связь, и, если в Билибино родится ребенок в течение первого часа после Нового года, они мне подробно обо всем расскажут по телефону. Вернуться сюда я вряд ли смогу.

Так обстоят мои дела, и о том, как они будут развиваться, — напишу.

*Администрация Чукотского автономного округа
Департамент здравоохранения автономного округа*

ПРИКАЗ

от 30 сент. 1999 г.

г. Анадырь

№ 133

*О рождении ребенка 2000 года
в Чукотском автономном округе.*

В соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16.02.99 № 35-РЗ «О мероприятиях начала третьего тысячелетия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам Чукотской окружной больницы (Уманов В. М.), Анадырской муниципальной поликлиники (Фомина Н. Г.) и районов:

1.1. Установить количество беременных женщин, состоящих на учете в женских консультациях и ожидающих ориентировочно рождение ребенка 1 января 2000 года.

1.2. При рождении доношенного ребенка установить точное время в часах, минутах, секундах на 1 января 2000 года и представить информацию в Департамент здравоохранения ЧАО и Администрацию округа немедленно (тел. дом. Маркив В. М. — 2-20-33; Петренко Э. П. — 2-45-93; тел. деж. Администрации — 2-43-34)...

Все мы начинаем с колыбели

Колыбель эвенов — по-эвенски «бэбэ» — предмет, имеющий длительную историю. Модель такой колыбели, найденной археологами на Амуре, — свидетельство того, что тунгусские племена, предки эвенов и эвенков, заселили бассейн Амура уже около 2000 лет назад.

Основа колыбели — два деревянных короба, выгнутых из досок и скрепленных под углом друг к другу. Деревянная конструкция покрыта чехлом из ровдуги — оленьей замши. В такой колыбели ребенку тепло и уютно в любую погоду, колыбель очень удобна при перекочевках на оленях.

Такая эвенская колыбель, изготовленная около 100 лет назад, хранится в фондах Магаданского краеведческого музея. Нет-нет да и удаётся увидеть такие же в оленеводческих бригадах или в поселке, но очень редко.

И вот в Анюйске, когда я был в гостях у Марии Филипповны Поповой, хозяйка показала мне настоящую эвенскую колыбель. К верхней части колыбели подвешена горизонтально палочка, отделанная узором из литого олова — точно так раньше эвены отделывали рукоятки ножей.

«Это игрушка для ребенка, — объяснили мне. — Такая есть у каждой колыбели-бэбэ...»

О традиционном воспитании детей у эвенов мы знаем еще очень мало...

*А. Бурькин. Советская Чукотка.
№№ 118—119. 29 мая, 1993 г.*

5 декабря. Билибино

Привет, Веро!

Надеясь на Божию помощь, я предусматриваю и варианты, так сказать «страховочные». На то, чтобы искать младенца в Магадане или на Камчатке, не хватит сил, времени и денег. Поэтому я стараюсь разузнать, могут ли сейчас произойти роды в тундре. Если могут, то я рожу ребенка в своем воображении.

Сегодня долго разговаривал с одним билибинским врачом. Мы познакомились в библиотеке, но затем случайно встретились на улице, и он пригласил меня в гости.

Валерий Михайлович живет один в трехкомнатной квартире, которая больше походит на мастерскую художника. Все стены увешаны картинами, в основном летними пейзажами Чукотки. Скорее всего именно его работы я видел в кабине главного врача. Развешены также чучела птиц и животных, по углам расставлены извилистые коряги, корни и пеньки, в которых можно опознать лешего, Бабу Ягу и шаманов. Много поделок из костей китового позвоночника, симметричность которых позволяет разгуляться воображению. Повсюду домашние растения и камни, которые за многие годы насобирал Валерий Михайлович.

Поскольку большую часть жизни Валерий Михайлович проработал врачом, я надеялся, что он расскажет о том, как рожают в тундре. В свои замыслы я его не посвящал, но он и без того начал рассказывать о здравоохранении.

На Чукотке, которая еще недавно входила в состав Магаданской области, была страшная ситуация с туберкулезом. Страдало в основном коренное население, образ жизни которого способствовал его распространению. В яранге живут нос к носу: заболел один — сразу заболевает вся семья. Туберкулез быстро распространяется, и лечить его трудно. В начале шестидесятых, когда Валерий Михайлович только приехал на Чукотку, заболеваемость была поголовная. Именно тогда возникла противотуберкулезная служба. Были созданы диспансеры и организованы медицинские отряды, которые ездили в тундру к оленеводам, проверяли их рентгеном и, если обнаруживали признаки болезни, вывозили в центральные усадьбы, в которых были развернуты медицинские пункты. (Усадьба — это нечто вроде метрополии, от которой работают кочующие по тундре оленеводы.) Затем больных доставляли в район, тщательно обследовали и лечили, а при необходимости отправляли в Магадан или даже в Москву.

Заболеваемость на Чукотке была в десятки, в сотни раз выше, чем в центральных районах. Врачи, в числе которых был и Валерий Михайлович, много лет

боролись с туберкулезом. Ездили по селам и бригадам, выявляли больных, лечили. Не было уголка, где бы не провели рентгенометр. За сорок лет Валерий Михайлович изъездил весь район. Было вложено столько сил и средств, что туберкулез заглушили, задавили, и решающую роль сыграли антитуберкулезные прививки детям. Среди них заболеваемость была огромной. Дети часто умирали.

За последние тридцать пять лет произошла смена поколений. Старики отошли в иной мир, большую часть больных вылечили, и в конце концов результаты на Чукотке оказались даже лучше, чем в остальной России. В 1997 году в районе не было выявлено ни одного больного: ни среди коренного населения, ни среди приезжих. В 1998 году туберкулезом заболел всего один человек. Но главное, за последние семь лет этой болезнью не отмечен ни один ребенок!

Об этом Валерий Михайлович говорил с особой гордостью, добавив, что по всему евроазиатскому континенту заболеваемость туберкулезом была меньшей только в Монако...

Все-таки удивительная у нас страна. Сколько хлопот, какие задействованы средства и ресурсы, сколько кадров (и каких!) было привлечено к лечению оленеводов и охотников в далекой Магаданской области, в недоступной чукотской тундре! Вместе с тем на то, чтобы уничтожить и подавлять, запрещать и высылать — в тот же Магаданский край, — работали тысячи и десятки тысяч граждан в погонах, классных специалистов в штатском, тратились огромные ресурсы, средства, деньги...

Я все ждал, когда Валерий Михайлович расскажет о рождаемости, а он стал вспоминать коллег. Упомянул Бориса Потаповича Бутенко из Чаунского района, отдавшего всю жизнь борьбе с туберкулезом; вспомнил Юрия Владимировича Булгакова, начальника медотряда в Билибинском районе, который затем работал главным врачом Чукотского района, потом главным окружным врачом в Анадыре; рассказал об Александре Григорьевиче Вольфсоне, работавшем в свое время в Омолоне. Вольфсон ездил по самым отдаленным уголкам тундры, в любую погоду, не щадил сил, выявляя туберкулез. Затем возглавлял лабораторию биологических проблем в Анадыре. Там же и умер... Много среди врачей настоящих подвижников, для которых не было ничего важнее здоровья людей.

А сколько было медработников среднего звена, о которых уже никто и не помнит! Они приезжали на Чукотку, отработывали несколько лет и уезжали. Валерий Михайлович уверен, что работали они не ради денег, званий или наград. И не потому честно трудились, что клятву Гиппократова давали, и не из-за того, что были религиозны и набожны. Работали, потому что были честными и совестливыми. Кто сегодня оценит их труд, измерит вклад, наконец кто вспомнит?

Валерий Михайлович поделился, что за всю свою жизнь не встречал работника более ответственного, добросовестного и бескорыстного, чем Мария Ивановна Кузишина. Никто лучше нее не знал, как лечить детей, и на всей Чукотке противотуберкулезную работу грамотнее, чем она, никто не вел. Даже профессора ей в этом уступят.

Мария Ивановна тридцать четыре года проработала на золотопромышленном участке Алискерово и за эти годы сделала несколько тысяч антитуберкулезных прививок. Сколько детей могли заболеть, но были спасены! Сейчас они уже взрослые, крепкие и сильные, разбрелись по стране, по миру... Вспоминают ли о Марии Ивановне? А какая польза стране! Сколько золота добыла она тем, что спасала золотодобытчиков от верной гибели! А ведь она — всего-навсего скромная медсестра, всю жизнь проработавшая в глухом и далеком, ныне закрытом и безжизненном поселке. И... до сих пор работает. Теперь в Билибино. Зарплата ее — неизвестно, чего больше: смешная или позорная? Третью прожиточного минимума! Так ведь и этот мизер не выплачивают вовремя. Мария Ивановна приходит в магазин лишь за хлебом, потому что на остальные продукты этот великий врач, спаситель и охранитель Севера может только смотреть через стекло витрины. Неужели, отдав людям жизнь, она не заработала на достойную старость?

...Мы справедливо чтим мертвых, тех, кто ценою собственной жизни спас, уберег, защитил... Возлагая цветы на могилы, мы стоим в безмолвии или произносим слова благодарности, обращенные к праху. Что же мы не чтим тех, кто, отдав нам жизнь, все еще остается среди нас? Неужели такой подвиг менее значителен и не достоин нашего преклонения и благодарности? Почему, прежде чем произнести «Совершилось!», нужно еще взойти на Голгофу?..

Валерий Михайлович говорит без злобы и без тени претензий. Лишь горький укор слышится в его тихом голосе.

Он вспоминает, что на каждом участке трудились и продолжают трудиться такие же скромные женщины. Закрыли поселок Встречный, а там много лет проработала великолепный работник Мадина Гаязова. В Анюйске — Марина Мыщик, в Мандриково — Любовь Алексеевна Колпикова. Сейчас они уходят. Кто на пенсию, кто — из жизни. Уходят молча, с поникшей головой. Проработав всю жизнь и отдав ее без остатка, сами остались ни с чем.

Валерий Михайлович называет мне, заезжему, незнакомому человеку, дорогие для себя имена. Но что я могу сделать, чем помочь?

Неужели и во Франции так? Есть ли, кроме нас, русских, еще такой народ, который оставил своих стариков один на один с бедой и упреком: «Это вы нас такими воспитали?»

Как только Валерий Михайлович заговорил о детях, я спросил: может ли в тундре родиться ребенок и об этом никто не узнает?

Он ответил, что непосредственного участия в родах не принимал, но, бывало, спал женщин от послеродового кровотечения и от последствий криминальных абортов, когда аборт делали не врачи, а какие-то доброхоты прямо в тундре. Были случаи, закончившиеся трагически. Сейчас женщин в тундре не так много, а те, что там живут, состоят на учете. Рожать их вывозят в район. Как минимум они могут родить в сельской больнице, но даже это редкость. По словам Валерия Михайловича, коренные женщины уже приучены рожать в родильных домах, и он не припомнит случая, чтобы чукчанка родила в тундре.

Я спрашивал: можно ли вообще здесь жить? Многие жалуются на климат, на нехватку кислорода, хотя мне здесь дышится легко. Говорят также о воздействии электромагнитных бурь, но у меня и намека нет на головную боль. Зимой и весной москвичи беспрестанно болеют гриппом, а я пребываю в Билибино уже вторую неделю и ни разу не чихнул. Нет ли надуманного в этих жалобах? Люди в стремлении уехать ищут оправдательные мотивы, и «климатический» не на последнем месте: то, что здесь холодно, — факт; что цены высокие — тоже, но опаснее всего «неподходящий климат». Тут уже ничего не поделаешь: надо уезжать.

Но Валерий Михайлович, прожив в этих краях жизнь, считает рассуждения о плохом климате бредом. Он убежден, что воздух здесь во много раз чище, чем в Москве, Санкт-Петербурге или даже в Ялте, где тысячи машин, миллионы газовых плит и сотни промышленных предприятий. Если на какую-то сотую долю процент кислорода в воздухе меньше, то организм приспосабливается, и мы этого не замечаем. Но здесь кислорода как раз в десятки раз больше, чем в центральных районах России, а Билибино вообще оазис воздуха. В окрестностях нет ни одной трубы, ни одной газовой плиты, совсем мало автотранспорта.

Я пожаловался на то, что постоянно хочу спать. Не объясняется ли это нехваткой кислорода? Но Валерий Михайлович ответил, что спать хочется от его избытка. От нехватки не заснешь. Атомная станция избавляет билибинцев от угольной копоти, свойственной всякому северному поселку. Нередко сюда приезжают с астмой и бронхитом, но, пожив на Чукотке, излечиваются и затем дышат легко. Здесь также нет аллергических растений, от которых многие мучаются.

Валерий Михайлович привел в пример якутов, которые наряду с абхазцами считаются долгожителями. Но если в Абхазии воздух, солнце, горы, чистая вода, то что же в Якутии? Полюс холода! А якуты — долгожители. Это значит, что холод не является помехой для жизни.

Напротив, нашему организму холод полезен, мы закаляемся, всегда пребываем в тонусе. В центральных районах порой не определишь: зима ли на дворе? В троллейбусах, трамваях и метро — жарко. Вышел на воздух — сырость. Готово! Человек заболел. А здесь, на Чукотке, сухой мороз, который выполняет роль стерилизатора. Палочки и микробы погибают. То же происходит и летом, когда круглые сутки светит солнце, дезинфицируя почву и воздух. Если инфекцию не завозить извне — на Чукотке вообще болезней не будет.

Но тогда почему коренные жители Чукотки живут недолго в сравнении с якутами? Валерий Михайлович считает, что все дело в питании. У якутов в рационе полный набор аминокислот, белков и всего прочего. Они переняли кухню у русских, у казахов, у бурятов. Из мяса идет в пищу олень, сохатый, свинина, говядина и конина, которую якуты ели всегда. Если дичь, то глухари, куропатки,

утки, куры, которых они держат в домашних хозяйствах. А сколько видов рыбы у них водится! Хатыс (сибирский осетр), чир, омуль, муксун, нельма, хариус, таймень, пелядь... А что только они не делают из молока! Это когда-то якуты пили лишь кумыс. Теперь у них и творог, и масло, и сметана, и разные сыры. К тому же они научились готовить варенье из ягод, которых великое множество. Якуты приспособились даже выращивать капусту, картошку и морковь. Так что у них полный набор витаминов.

А чукча или эвен едят лишь оленину и хлеб. Изредка рыбу. Больше ничего у них в рационе нет. Оленина — хорошее мясо, легко усвояемое, диетическое и вкусное, но оно бедное. И, когда употребляешь только его, организм испытывает витаминное голодание. Ведь сам олень питается лишь ягелем. Природа ограничила его в рационе.

Раньше на Чукотку чего только не завозили! Потом привоз ограничился алкоголем и табаком. А ведь труд оленевода — изнурительный, каторжный. Это круглогодичное, круглосуточное дежурство возле стада. Оленеводы иной раз и не спят. За сутки лишь чаю попьют — и то хорошо. Они и мерзнут, и промокают, а однообразное питание не восстанавливает организм. Оттого и стареют чукчи рано. Русские в деревнях тоже живут недолго. Особенно мужчины.

Валерий Михайлович к Чукотке прирос и в другом месте себя не представляет. Его картины, поделки, камни — часть тундры, в которой он живет, которую любит и с которой не расстанется даже в квартире. Кроме прочего, он ведет кружок детского рисунка и придает этой деятельности значение не меньшее, чем основной профессии. Его жизнь трудна, но не бесплодна. Он не страдает психологией временщика, этого опасного заболевания. Опасного, потому что временщик грезит о будущей жизни, относясь к текущей как к прологу. Но время бежит, и вскоре оказывается, что этот растянувшийся пролог и был настоящей жизнью, а ожидаемая «настоящая» — всего лишь эпилогом, часто бесплодным, никчемным и незавидным.

Валерий Михайлович, многие его друзья и коллеги здесь действительно жили. Они не заглядывались на календари и не сидели на чемоданах, а самозабвенно трудились. И продолжают трудиться. Оттого в них нет чувства горького и бесплодного существования. Их жизнь продолжается, и это лучшее доказательство того, что на Чукотке она возможна. Не борьба за выживание, а сама жизнь: полноценная, насыщенная, интересная, переполненная чувствами и порывами, какую и в Париже не всякий устроит...

На этом заканчиваю. На днях должен встретиться с пожилой чукчанкой. Вроде бы договорились. Вот кто мне обо всем расскажет!

6 декабря. Билибино

Наиль, привет!

Ночью никак не усну, поэтому пишу письма. Засыпаю под вечер, в полночь просыпаюсь и до утра бодрствую. Снотворное не помогает...

Не знаю, как на остальной Чукотке, но в Билибино самые употребляемые слова: «борт» и «материк». Оба слова связаны с мечтой об отъезде и символизируют связь с цивилизацией. Здесь не скажут: «самолет». Будто такого слова не существует. Все, от шофера до библиотекаря, говорят: «борт». Слово это заботит каждого, так как бортом доставляются продукты, промтовары, почта, и самих билибинцев тоже доставляют в основном борты. Можно зайти в магазин и, не обнаружив нужный товар, узнать от продавца, когда и каким бортом этот товар прибудет.

Жители Билибино внесли в свой язык некоторые военные слова оттого, что в какой-то степени ощущают себя живущими на взлетно-посадочной полосе. Так, технические работники космодрома владеют лексикой космонавтов, хотя сами в космос не летают. Употребление слова «борт» — пока единственное, что меня здесь раздражает. Его невыносимо слышать из уст библиотечарей и учителей.

Вместе с тем язык здесь достаточно богат, разнообразен и лишен канцелярита, которым разговаривают в столицах и особенно на телевидении, где через слово произносят «как бы», через два — «в принципе», через три — «так сказать» или «скажем так». Билибинцы не разговаривают пустотами, заменяющими язык, и не самоутверждаются с помощью наукообразных оборотов, вроде «с одной стороны... с другой стороны...», «по большому счету...» и прочего, от чего пухнет голова.

Разговорная речь здесь богата, потому что разноплеменно население. Тут и украинцы, и белорусы, и татары, и другие национальности, да и сами русские из разных мест. Есть сибиряки, уральцы, малороссы, питерцы, москвичи... Все они привносят в местный лексикон колорит, словечки, понятия, выражения. Так что можно говорить об универсализме и взаимообогащении русского чукотского языка. Добавим к нему слова, заимствованные у коренных народов, получим подвижный, развивающийся язык, которому омертвление не грозит. Поэтому слово «борт», заимствованное у авиаторов, отнесем на счет этого развития.

Но если «борт» — слово, то «материк» — это понятие.

Я выяснял, что означает «материк» и откуда он начинается. Но никто ничего определенного ответить не смог. Для одних это то конкретное место, откуда они прибыли и куда собираются вернуться, и этим местом может быть любая точка на карте, за исключением Чукотки; для других «материк» — это нечто абстрактное, не связанное с чем-то определенным; третьи называют «материком» лишь Москву, а кто-то считает, что «материк» начинается уже с Магадана; есть такие, для которых «материк» — это всего лишь место отдыха. Похоже, что «материк» — это и Брянск, и Кемерово, и Ялта, и Москва, и Казань...

Если с местонахождением «материка» разобраться трудно, то в смысловом отношении все проще. «Материк» — это мечта.

Можно ли представить, чтобы жизнь, та самая, которая даруется Богом, была наполнена лишь одним — ожиданием возврата, причем не из плена, а из добровольного заточения?

Люди приезжали на Север в расцвете сил, в надежде и уверенности, что за несколько лет смогут заработать достаточно, чтобы устроить жизнь. Приезжали из-за своей никчемности, которая бывает хуже беды, или бежали от такой беды, которая хуже никчемности; забирались сюда в поисках романтики и приключений, кого-то забрасывала судьба или позвали родственники, друзья, знакомые, убедили, что здесь есть, где себя приложить и в чем проявиться, что есть шанс себя испытать и пожить по-настоящему, по-мужски; есть и такие, кто бросился сюда вслед за любимой... И вот, приехав на два-три года, оставались на десять лет, на пятнадцать, на двадцать... Приезжали, устраивали жизнь, влюблялись, женились, заводили детей, потом их растили, учили, старались выпроводить на материк, сами оставались еще на годик-другой, а получалось — на десять, на пятнадцать, на двадцать лет... Словно неразумное насекомое, попавшее в золотистую смолу и безнадежно там застывшее, человек застревал на Севере. Здесь и карьера, и быт, и привычка, и друзья, наконец возраст, когда уже не попляшешь, не прыгаешь, а на то, чтобы начать сначала, не осталось ни задора, ни прыти...

Но мечта о возврате жила. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть... Но исчезает страна, рушится быт, и ему на смену приходит безбытность. Умом человек все понимает, но сердце отказывается смириться: материка, куда стремился, о котором мечтал, больше не существует. Признать это — страшно. Значит, согласиться с тем, что жизнь прошла... в ожидании жизни. Прибывший с Севера вдруг обнаружил, что его материк подобно легендарной Атлантиде ушел на дно, но не территорией своей (все как стояло, так и стоит), а человеческими душами и человеческим отношением. Россия «старанием» безжалостной власти и безучастием измученного народа ушла на дно и в одночасье едва ли поднимется.

Разочарованный и уставший, человек возвращается на Север и укрывается здесь. Удивительно, но в краю вечной мерзлоты сохранились и сердца, и души. Оказалось, это важнее материальных благ, важнее всего на свете, и так скажет всякий, потому что обездоленный, без денег и лекарств, без достойной одежды и хорошей еды, без надежды на будущее русский человек сильнее всего страдает от очерствения душ, больше всего мучится, когда рядом нет дружеского плеча и некому верить. Он устал от страха и безнадеги, от клеветы и насилия, от опухших и обнаглевших физиономий с бесчувственными глазами, от проворовавшего начальства и от себя такого — тоже устал, от беспомощности своей и никчемности. И некуда уйти от этого, и не с чем, и уже, кажется, он смирился со своей участью и безропотно отдает себя в руки Провидения. Но и Провидение к нему неблагосклонно...

Мы всегда бежали от напастей куда глаза глядят, и больше всего — на Восток, на Север, на самый Крайний Север. И добежали туда, откуда бежать некуда. И, вместо того чтобы встать насмерть перед трудностями, перед бедой и победить, русский человек продолжает грезить о том, чтобы бежать... обратно! Туда, откуда бежали предки. Мы, а не чукчи — настоящие кочевники!

В этом грустном и безнадежном вековом хороводе не участвуют только дети. И каждый, имеющий детей, старался отвратить их от этого печального танца. Увы, с годами они включались в него, и мы были не в силах их уберечь.

Но вот подрастает новое поколение. Первое свободное поколение за тысячулетнюю историю России! Быть может, оно не пойдет за нами и сотворит то самое чудо, которое не удавалось в России никому, и мы, одряхлевшие, циничные и потрепанные, еще успеем немного пожить рядом с ним, любуясь, радуясь и по-доброму завидуя — от имени всех тех, кто когда-либо жил этими надеждами...

Я приглядываюсь к чукотским детям. Их вид притягателен. Они, словно плюшевые мячики: в огромных меховых шапках, торбасах и шубках, розовощекие и улыбающиеся. Они родились и выросли на Чукотке. Здесь их родина. В то же время родители постоянно ведут разговор о том, что надо уезжать, что здесь жить невозможно. Я разговаривал со старшеклассниками. Они в растерянности: им внушено от рождения, что учиться надо только для того, чтобы уехать. Но, повзрослев, они понимают, что обетованного материка на самом деле нет. И выросли они в совершенно иных условиях, чем те, в которые их стремятся отослать. Кто бы посоветовал им — уехать, отучиться и обязательно вернуться. Чтобы жить именно здесь. Не потому, что на Чукотке хорошо, а потому, что там, на материке, им не будет лучше.

Дети Севера — и коренные, и материковые — предрасположены к творчеству. У них своеобразное видение мира. Здесь большую часть времени белый снег, синий воздух, серые деревья, голубые сопки... Ребенок видит, как меняется освещение — то розовое, то бледно-голубое, то сиреневое. Подобных, на глазах меняющихся красок больше нигде не встретишь. И если взрослый удивлен и даже ошарашен, то ребенок, выросший здесь, воспринимает чукотские пейзажи как нечто обычное. Он не фетишизирует увиденное, но сосредоточивается на сущности.

Творчество художника, попавшего на Чукотку, восторженно и гипертрофированно. Даже если способности не были до сих пор обнаружены, от увиденного они пробуждаются. Художник ли (что чаще), поэт (что реже) или музыкант (что совсем редко) просятся от желания запечатлеть увиденное или услышанное и непременно поделиться с другими. Оттого нередко кисть или перо берут учитель и врач, геолог и летчик.

Новые, ранее неведомые ощущения выводят на пленэр людей самых разных, усаживают за письменный стол, кажется, неимоверно далеких от труда литератора... Вот геолог прошел сотни километров по тундре, преодолевая препятствия, терпя лишения и встречая необычных людей. Опиши свой путь — и готова книга, которая будет читаться повсюду, и чем дальше от этих мест, тем с большим интересом. Вот врач передает на холсте удивившую его тундру. И это интересно, и это необычно, заманчиво, и от того картины врача-художника можно встретить и в кабинете высокого начальника, и в краеведческом музее.

Оценивать достоинства или искать недостатки этих работ не стоит. Искусство мирового значения на Чукотке — только изделия из кости и шитье. Им владеют лишь коренные жители, и, я надеюсь, увижу его.

Другое дело — дети.

Их работы лишены декоративности, а смысл творчества выражается не в том, чтобы восхитить, ошарашить и передать свои восторги другим. Дети рисуют и стараются передать не то, что видят перед собой, а то, что хотели бы увидеть. Вот почему внимательное отношение к творчеству детей — обязательно для всякого, кто хочет заглянуть в будущее. Детская чувствительность и восприимчивость, облеченные в рисунок, музыкальный этюд или в стихотворение, могут многое объяснить и на многие вопросы дать ответ. Дети — лучшие футурологи, и потому представляет большую ценность выставка рисунков, устроенная в местном краеведческом музее.

Тема выставки — «Я шагаю в будущее». В своих рисунках билибинские дети мечтают и в мечтах не отказывают себе ни в чем.

...Летним солнечным днем стоит шестнадцатилетняя Таня Гаврилюк на пригорке. И что видит? Среди густой зелени, цветов, кустов и деревьев раскинулся огромный город, настоящий мегаполис, с зеркальными небоскребами, чем-то похожий на центр Хьюстона или Далласа, только гораздо светлее и величественнее. Над небоскребами зависли летающие тарелки, готовые доставить жите-

лей в любую точку планеты. А в самом городе десятки тысяч людей заняты самым разнообразным трудом или, как Таня, творчеством. Этот огромный светлый город — ее родное Билибино, будущее которого иным и не представляется.

А Оксана Воробьева рисует билибинское такси: небольшие летательные аппараты, сотворенные из прозрачного материала. Легко управляемые и бесшумные, эти такси летают над утопающим в зелени городом и развозят жителей. Но не по рудникам и котельным, а по театрам и ресторанам, консерваториям и художественным салонам, парикмахерским и роскошным магазинам, которых в Билибино будет не счесть.

Ира Хуснулина видит свой город похожим на крупную европейскую столицу. На ее картине, в том месте, где сейчас жилой массив «Арктика», высится огромное здание с башней, наподобие Биг-Бена. А по реке плывет прогулочный катер: это туристы приехали полюбоваться знаменитым чукотским городом. Они запрокинули головы и не перестают удивляться этому заполярному чуду, живо напоминавшему им Лондон. Но Ирине нет до туристов никакого дела. Она с распушившимися золотистыми волосами, в модных оранжевых брюках и коротенькой блузке (так что виден пупок) катается на велосипеде по набережной, подгоняемая радостным лаем собак. Впрочем, быть может, это и не собаки, а кошки.

Лена Буркова, в которой пробуждается театральный художник, видит город, словно находящийся на огромной сцене. Дело происходит зимой, под Новый год. На улице мороз, но это не мешает дирижаблям, ракетам и летающим тарелкам (видимо, это будет самый распространенный вид транспорта). На авансцене великолепно убранная новогодняя елка, а вокруг уже собираются школьники. Вижу Снегурочку в короткой шубке, и ей вслед смотрит юноша, зачем-то сунув руки в карманы. А на заднике, на самом видном месте, в центре воображаемого города, — огромное табло, которое высвечивает: «Билибино — золотое сердце России!» Для одиннадцатилетней девочки сердце России непредставимо в ином месте. Разве временщик способен проявить такую сердечную привязанность, и неужели нет будущего у города, о котором так мечтают?

По замыслу детей, здесь будет и великолепный цирк, и суперсовременное кафе с официантами-роботами, и Луна-парк с аттракционами, о которых американские дети и не мечтают, будут и зимние сады с прозрачными хрустальными крышами, и зоопарки с экзотическими тропическими животными, и чего только здесь не будет! Дети, родившиеся в Билибино, видят будущее своего города и живо находят себя в нем. Это добрые рисунки, в них много светлых, теплых красок, и почти на всех — Солнце! Почти на каждой — леса, парки, скверы, луга и подсолнухи. Некоторые рисунки напоминают пейзажи Прованса с фиолетовыми грядками лаванды и полями подсолнухов. Нет ни одного рисунка безрадостного или холодного. Даже зиму дети чукотские рисуют тепло.

За окном краеведческого музея — сумерки. Билибино залито пятидесятиградусным голубым туманом. А на рисунках детей — тепло и светит солнце... Я вижу в этих рисунках воплощенную мечту. И не столько мечту детей, сколько их родителей, и родителей их родителей, которые мечтали, чтобы дети их так рисовали. А нынешние дети мечтают сами жить в большом и прекрасном городе, и их мечта, воплощенная пока только в рисунках, находится не на пресловутом материке, а здесь, на Чукотке, на Крайнем Севере. И на всех картинах — веселье и радостные жители. Люди и солнце дают шанс и надежду — значит, здесь есть будущее. И можно смело строить планы и претворять в жизнь, потому что видению детей можно доверять.

(Продолжение следует.)



Борис ХАЗАНОВ

Критик. Критика. Литература

1

Герр Райх-Раницкий, могли бы вы набросать портрет, так сказать, идеального критика?

Человек, которому задали этот вопрос, только что отпраздновал свое 80-летие. В истории немецкой литературы, пожалуй, не было критика, который удостоился бы такого шумного юбилея. Ни Альфред Керр, ни Курт Тухольский, ни Альфред Польгар не были столь знамениты; даже прижизненная слава и влияние Генриха Гейне и Людвиг Бёрне как критиков едва ли идет в сравнение с известностью Райха-Раницкого. То же можно сказать и о классиках французской и английской литературной критики, таких, как Сент-Бёв или Мэтью Арнолд. Разве что датчанин Георг Брандес, один из самых читаемых авторов начала XX века, мог бы соперничать с ним. В Германии Райха-Раницкого величают римским папой литературной критики. Его автобиография, книга толщиной в 550 страниц, раскуплена в количестве, оставившем позади тиражи рыночных бестселлеров. Нельзя сказать, что человек этот пользуется всенародной любовью. Но его знают все или почти все.

Можно указать на обстоятельства, которые способствовали этому успеху. Марсель Райх-Раницкий вел много лет подряд литературный отдел в двух влиятельных газетах: в гамбургском еженедельнике «Die Zeit», газете немецкой интеллигенции, и в крупнейшей либерально-консервативной газете «Frankfurter Allgemeine». Р.-Р. был виднейшей фигурой и непременным участником собраний «Группы 47», неформального объединения писателей, критиков и издателей, роль которого в послевоенной западнонемецкой литературе общеизвестна. Телевизионная программа «Литературный квартал», которую ведет Р.-Р., — споры о новых книгах — за истекшее десятилетие приобрела неслыханную для подобных тем и предметов популярность. Публичные дискуссии транслируются из разных городов, оппоненты не сообщают друг другу заранее свое мнение. Сам ведущий и главный участник передачи выглядит весьма выгодно: это живой, страстный, жестикулирующий человек с хорошо подвешенным языком, остроумный и категоричный. Обсуждение новинок книжного рынка превращается в своеобразное шоу. Литературный боец сделался телевизионной звездой. Наконец, некоторые эпизоды биографии Р.-Р. — юность в варшавском гетто, побег из гетто, благодаря чему он спасся от депортации в лагерь уничтожения, полулегальное переселение из послевоенной Польши в Западную Германию, — привлекли к нему особое внимание.

Как критик Р.-Р. неподкупен; для него равно не существует добрых приятелей и священных коров; он сокрушил немало ложных репутаций и с удовольствием повторяет фразу Вальтера Беньямина: «Кто не умеет уничтожать, пусть не занимается литературной критикой». Но ему же обязаны многим таланты, на которых он впервые обратил внимание, которым протянул руку.

И, наконец, главное: Р.-Р. прекрасно пишет. Он пишет легко и непринужденно, его стиль элегантен, свободен от вычур, современен без вульгарности, сжат, энергичен. Он умеет избежать и ученой зауми, и пошловатого просторечия. Его суждения о книгах и авторах всегда определены и даже не чужды сознательных преувеличений, не лишены некоторого провокативного привкуса. Подчас он склонен чересчур нажимать на педаль. Сказывается долгая работа в газете: критик не утомляет публику избыточной эрудицией и выражает свои мысли «доходчиво», стремясь быть понятным не слишком искушенному читателю. Если бы автора этих заметок спросили,

нравится ли ему этот критик, я ответил бы, что читаю его с удовольствием. Меня лишь смущают его общедоступность и авторитарный тон.

Но продолжим цитату из интервью М. Райха-Раницкого историку и публицисту Йоахиму Кайзеру.

От критика, по-моему, следует ожидать того, чего нельзя требовать от обычного читателя. От критика ждут основательного знания отечественной, то есть немецкой, литературы, знания главнейших иностранных литератур, прежде всего французской, английской, американской, русской. Критик обязан знать по крайней мере два-три иностранных языка. Он должен относительно хорошо ориентироваться в философии, в психологии, пожалуй, и в социологии. Безусловно, он должен быть хорошим знатоком истории музыки...

«Стоп! Вы описываете какого-то немислимого универсала. Каковы особые качества критика?»

Видите ли, самое трудное, как бы вам сказать... Это умение забыть все, чему ты научен, когда перед тобой новое и значительное произведение искусства. Когда появляется новый талант, тем более — гений. Тут критик должен отбросить все теориш... Не надо забывать одного: мы, критики, — это эхо. Романы пишутся, пьесы ставятся, стихи слагаются, а мы всего лишь высказываемся по поводу этих уже существующих произведений. Конечно, поэтика Аристотеля — гениальное построение. Но трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида были созданы до появления этой поэтики.

«У вас за плечами драматическая жизнь. Позвольте спросить: кем вы, собственно, себя чувствуете? Где ваш дом и есть ли у вас дом?»

Вопрос, по-видимому, надо понимать так: кто я такой? Немец, еврей, поляк? Начнем с конца: поляком я, безусловно, не являюсь... Конечно, мне многое близко в польской литературе и прежде всего то лучшее, что она дала, — польская поэзия. Я долго жил в Польше. И все же я не поляк. Еврей? Мне трудно ответить на этот вопрос однозначно. О религиозных связях речи нет, религия ничего не значила в моей жизни... Но я, конечно же, еврей... многое связывает меня с евреями, писавшими по-немецки во всю великую эпоху от века Просвещения до нашего времени, от Моисея Мендельсона до Франца Кафки. А теперь о главном вашем вопросе: может быть, я все-таки немец? Я гражданин Федеративной Республики, следовательно, немец, хотя бы в том смысле, который вкладывает в это слово конституция, и я никогда не жалел о том, что в 1958 году поселился в этой стране. Немец? Гейне прекрасно выразился, сказав однажды, что евреи в рассеянии сделали Библию своей портативной родиной. Так и я в конечном счете человек, у которого есть и родная земля, и отечество. Портативная родина, которая всегда со мной. Это немецкая литература и немецкая музыка.

2

Писатели редко питают к критикам теплые чувства. У всех на памяти слова Чехова о писателе, рабочей лошади, которая трудится, пашет землю. А критики — это оводы, которые ее кусают. И, в самом деле, статьи Михайловского, Скабичевского, Протопопова и т. д. о Чехове не назовешь блестящей страницей русской литературной критики; никто из современников, по-видимому, не понимал, с кем он имеет дело, никому или почти никому не приходило в голову, что речь идет о гениальной прозе и драматургии. Удивительным образом эта традиция непонимания жива до сих пор: должно быть, все помнят абсурдный отзыв о повести «Архиерей», которым угостил недавно своих читателей самый известный современный писатель, выступающий также в роли литературного критика. Попадись этот отзыв на глаза Чехову, он бы, наверное, рассмеялся.

Писатели испытывают к критикам амбивалентные чувства. Если критик вас похвалил, вы остаетесь недовольны тем, что он похвалил вас не так и не за то, что, по вашему мнению, заслуживает особой похвалы. Если он разнес ваше творение, вы чувствуете в нем личного врага. Казалось бы, самое лучшее — это чтобы он вовсе оставил вас в покое. Так нет же: если он обходит ваше имя молчанием, вы оскорблены вдвойне. Вы видите в этом знак пренебрежения к вашей работе и упрекает критика в кумовстве: он-де пишет только о своих собутыльниках и раздает лавры друзьям.

Чего вообще нужно ждать — или требовать — от литературного критика? Теодор Фонтане, который был не только романистом, но и критиком, и репортером, и рецензентом, сказал: «Мы здесь не для того, чтобы при всем народе раздавать *billets doux* (любовные записочки), а для того, чтобы говорить правду — или хотя бы то,

что мы полагаем правдой. Ибо мы не настолько самонадеянны, чтобы считать себя высшей и непогрешимой инстанцией... нет, кто читает внимательно наши статьи, будет то и дело наткаться на выражения вроде: «мне кажется», или «у меня впечатление, что...», или даже «предоставляю на ваше усмотрение». Это не язык всезнайки. Да и ремесло наше таково, что угодить всем и каждому невозможно».

Конечно, критик в первую голову — педагог. Не столько по отношению к пишущим — и даже совсем не для пишущих, — сколько по отношению к читающим или тем, кого он надеется приобщить к регулярному чтению. Критик — это тот, кто учит любить искусство, видеть в нем нечто большее, чем развлечение, учит хорошему вкусу. В современном массовом обществе, где доля литературно образованных людей неуклонно снижается, так что можно предположить, что через тридцать или сорок лет число любителей художественной словесности сравняется с числом филателистов или коллекционеров спичечных коробок, — в этом обществе критик просто напоминает публике о существовании литературы.

Но критик — следуя этимологии греческого слова — называется критиком оттого, что он не только информирует, но и произносит суд. Критик может выступать в разных амплуа: литературовед, герменевт, комментатор, законодатель мод; одно для него невозможно: он не в состоянии взять на себя роль читателя — ни «рядового», ни «идеального». Почему это так, объяснил когда-то Ролан Барт. Потому что критик не ограничивается потреблением, то есть чтением (мы исходим из предположения, что критик все-таки читает, а не просматривает книжки, поступающие на отзыв). Критик сам *пишет*, а это значит, что он вступает в особые, чуждые нормальным читателям отношения с разбираемой книгой.

Само собой критика может попасть в смешное положение, оказаться комичной, как это не раз случалось с адептами литературных сект и глашатаями эфемерных «измов», как в наши дни это произошло в случае с московскими концептуалистами — Д. А. Приговым, Вл. Сорокиным и т. д., при которых ученые критики и комментаторы состоят в должности придворных ткачей, ткущих на пустых станках новое платье для голых королей.

Старинное и, в сущности, определившее литературно-критическую мысль в России разделение критики на два рода, социальную (социологическую) и эстетическую, по-видимому, актуально доныне, хоть и предстает в новом обличье. Мы можем говорить о критике *интерпретирующей* и критике в собственном смысле, то есть критике литературного произведения *как такового*. Второй род критики признанием не пользуется. Вы читаете в столичном толстом журнале обзор современной литературы, статью о писателе или разбор книги и замечаете, что критика занимают два вопроса: 1) о чем это и 2) как это соотносится с сегодняшней ситуацией в стране. Книга рассматривается как симптом чего-то. Анализ сводится к оценке героев, их характеров, их поступков. Стилистика, поэтика, философия литературного творчества критика не интересуют, у него нет собственных взглядов на эти предметы; возможно, он вовсе не подозревает об их существовании. В искусстве его интересует message: высказывание, замаскированное под литературу, но не сама литература. Словом, это все тот же метод, который превращает художественное произведение в «предмет для использования», делает книгу «трофеем армии истолкователей», как выразилась С. Зонтаг в знаменитой, все еще знаменитой, хоть и сорокалетней давности, статье «Против интерпретации».

Можно сослаться на один пример, тем более демонстративный, что речь идет о самом читаемом русском классике. Поток литературно-критических и критико-биографических статей и книг о Достоевском не иссякает. Целые трактаты посвящены истолкованию мотивов поведения Раскольникова. Князь Мышкин, Настасья Филипповна, Ставрогин, Митя Карамазов, Грушенька и *tutti quanti* перекочевали из романов в статьи, чтобы стать в свою очередь их героями. Критик-толкователь отодвигает в сторону романиста, чтобы сказать то, что, по его мнению, недостаточно ясно сказано в романе. И, разумеется, мало кто обходит без пережевывания старой жвачки, без навязших в зубах напоминаний о том, что Достоевский (называемый по-приятельски не иначе, как «Федор Михайлович», словно чай вместе пили) — провозвестник единоспасающей веры, пророк трагического будущего России и т. п.

Примерно десять лет назад в Париже вышла книга Милана Кундеры «Преданные завещания», первая, написанная им по-французски (недавно появился и русский перевод). Книга эта — о романах, о достоинстве романа; между прочим, и о расхожих интерпретациях известных книг. Я помню, что он особенно резко возражает против религиозного (иудаистского, в духе Брода) толкования романов Франца Кафки. Похожие мысли можно найти в упомянутом выше эссе С. Зонтаг: она говорит об

«интерпретаторских испарениях вокруг искусства», отравляющих наше восприятие, и тоже упоминает о Кафке.

«Творчество Кафки стало трофеем по меньшей мере трех армий интерпретаторов. Те, кто прочитывает Кафку как социальную аллегория, видят у него анализ фрустраций и безумия современной бюрократии и ее перерастания в тоталитарное государство. Те, кто читает Кафку как психоаналитическую аллегория, находят у него безоглядно обнаженный страх перед отцом, страх кастрации, чувство собственного бессилия, порабощенность снами. Те, кто читает Кафку как религиозную аллегория, объясняют, что К. в «Замке» домогается доступа в рай, что Йозеф К. в «Процессе» судим неумолимым и непостижимым Божьим судом» (перевод В. Гольшера).

Избавиться от мании интерпретирования нелегко. Незаметно для самого себя интерпретатор перекрашивает писателя в проповедника и превращает литературу в повод для чего-то другого. Отсюда один шаг до худшего сорта критики — идеологической.

3

От нейтральных соображений о критике мы перешли, таким образом, к *критике критики*. Хочется все-таки уяснить себе, чего мы хотим от критика. Ибо если критика не существует без писателей (хотя как сказать!), то и писатель чувствует себя, вопреки всему, сиротой без критика; писатель мечтает о критике, как мечтают о женщине, которая тебя «поймет». И в конце концов разве критик и писатель не созданы друг для друга? Зачем нам читатель?

Хочется любви. Не любви к нашему брату — какое там! Хочется, странно сказать, чтоб критик любил литературу. Лихтенберг, прославленный автор афоризмов, живший во второй половине XVIII века, изрек: «Любовь литературного критика к литературе подобна любви к детям у похитителя детей». Нет, пусть он любит ее, как любят природу и отечество, но отечество более просторное; хочется, чтобы критик любил и знал не одну только русскую литературу. Никто не может объять необъятное, но у читателей критической статьи должно возникнуть убеждение: этот человек читал все. Иначе мы получим то, что с детской непосредственностью демонстрируют девять десятых литературно-критических статей в ведущих толстых журналах: автор то и дело изобретает велосипед. Он с апломбом рассуждает о том, что в лучшем случае подразумевается само собой. Ему невдомек, что об этом уже сказано, и сказано много лучше.

Его духовный горизонт, словно горизонт человека на Луне, — рукой подать. Его суждения наивны. Мысль о том, что русская литература была и остается партнером западных литератур и от этого сожительства никуда не денешься, что простое сопоставление сходных литературных явлений избавило бы критика от банальностей, сообщило бы его суждениям новое измерение, сделало бы его оптику стереоскопической, — мысль эта остается для него абстракцией. Ему кажется, что русские классики сказали *всё*; отечественная литература в его представлении есть нечто самодовлеющее.

Далее, хочется — не зря мы цитировали старика Райха-Раницкого, — чтобы критик умел взглянуть на явления литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Прежде всего не чуждого музыке. Очевидно, что ориентация в мире музыки важна для собственно литературной критики, то есть для анализа литературы как таковой, и не имеет никакого значения для критики социологической и интерпретаторской. Вообще о музыке стоит сказать отдельно, потому что в нашем отечестве это род улицы с односторонним движением. В то время как русские композиторы соревновались в использовании сюжетов и мотивов отечественной литературы, дали вторую жизнь русской поэзии, в сознании писателей, а следом за ними в сознании критиков серьезная музыка часто как бы вовсе не существует. Это «не наша сотня». И если вы скажете, что, например, чувство композиции, понимание того, как устроен роман, невозможны без знания о том, как устроена симфония — музыкальный аналог европейского романа, — в ответ пожмут плечами. На вас посмотрят как на чужака, если вы осмелитесь заявить, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека, то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы, и что нельзя прикоснуться к истокам литературного творчества, невозможно заглянуть в темную глубину, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, без знакомства с историей итальянской, немецкой, французской, русской музыки.

И еще одно: хочется, чтобы критик сам умел писать. Если не отменным слогом, то хотя бы приличным русским языком. Я понимаю, что это не просто: нужно знать грамматику, владеть основами синтаксиса, иметь представление о знаках препина-

ния и так далее; увы, это далеко не общий удел. Плохой язык — нечто вроде незастигнутых штанов или скверного запаха изо рта. Странное дело: вы читаете этих остряков-комментаторов, которые так лихо чешут на жаргоне пивных и подворотен — талантливые ребята, — и от вашего демократизма, вашей терпимости, вашего желания шагать в ногу с веком и сегодняшним днем не остается и тени, вас не покидает чувство, что вы попросту оказались в дурном обществе. И закрадывается мысль: это они не нарочно. Просто они по-другому не умеют.

4

В отличие от писателя, который *не знает*, для чего он пишет, критик — знает. Или должен, как мне кажется, знать. Журнальная критика не «обслуживает» литературу. Во всяком случае, обслуживает ее не более, чем литература обслуживает критику. Без критики художественная литература как некая целостность не существует, остается рассеянное племя пишущих. Я полагаю, что не будет риторическим преувеличением сказать, что литературная критика есть сознание литературы, вынесенное за пределы ее собственного организма.

Критика не реформирует литературу, но она ее формирует. Если она при этом воспитывает и читателя, честь ей и хвала, но ее миссия выходит далеко за пределы общественной, эстетической или какой-либо иной дидактики. Это относится и к тем, кого критика удостаивает своим вниманием, к самим писателям. Смешно учить писателей писать. Но можно поговорить о том, как *не надо* писать. В лице писателя критика имеет дело с субъектом одновременно заносчивым и крайне не уверенным в себе; критика ободряет пишущего, критика ставит его на место. Критика убеждает писателя, что то, чем он занимается, — не блажь и не хобби, а нечто важное, может быть, самое важное на свете; что, *вопреки всему*, в пику гнусному времени и нарастающему, как океанский вал, варварству, литература все еще кому-то нужна. Поэтому критика имеет терапевтическое значение. Что бы ни говорилось сегодня о Белинском, которого Блок называл «белым генералом» русской литературы, что не мешает ему оставаться поистине великим критиком, отрицать его формирующее воздействие на всю послепушкинскую литературу XIX века было бы очевидной глупостью. Каким бы скромным ни выглядело литературно-критическое творчество Ходасевича рядом с его могучей поэзией, оно драгоценно, ибо оно лепит на наших глазах совокупный образ русской литературы десятых—двадцатых годов минувшего века.

Только с помощью критиков вы начинаете понимать, что стали участником (или свидетелем, или изгоем) литературного процесса, хотя бы вам и казалось, что в своем неисцелимом одиночестве, одиночестве писателя, вы сидите за вашим столом, как на скале посреди пустынного моря. Актуальный литературный процесс не есть вполне объективное явление, этот конструкт создается не сам собой. Литературный процесс артикулирует, или, что то же самое, создает — литературная критика. Парадокс в том, что, однажды изобретенный, он становится объективным фактом.

Наконец, в эпоху, когда рефлексия о прозе составляет интегральную часть самой прозы, столь же привычную, как в минувшем веке описания природы, когда автокомментарий превращается во внутренний метаязык литературы, критика становится ее внешним метаязыком, третьим полушарием ее мозга. Это, впрочем, особая и специальная тема.

Критик может ошибаться. Литературная критика непогрешима.



Псевдонимы и псевдонимки

Один екатеринбургский писатель, на редкость лакомый до аксессуаров литературного успеха, любит читать свои произведения вслух маленькими кусочками. Для него это очень важная процедура: перед тем как зачесть из тетрадки несколько написанных накануне предложений, он излагает суть отрывка, как он предуведомляет слушателей, «своими словами». Оговорка не случайна. Писатель догадывается, что слова, добытые буквально трением авторучки и локтя о суконную от его усердия бумажную страницу, уже *не совсем свои*. Соответственно он стремится зафиксировать право на текст, получившийся у него в результате титанической борьбы с неподатливой письменностью. Может быть, именно этот прозаик, которого написанная фраза всегда заворачивает вбок, лучше других ощущает присутствие в процессе некоего посредника, в его случае — тугого переводчика с мысленного на литературный. Полагаю, если бы писатель взял псевдоним и тем легализовал посредника, превратив его в активного союзника, тексты у него пошли бы легче, ему не пришлось бы часами висеть над выбором между «стрижено» и «брито» и расчесывать до крови всякий мало-мальски образный пассаж. Однако он никогда не возьмет псевдонима, потому что никогда не разделит собственную личность на пишущую и непишущую ипостаси. Он лучше истерзает еще десяток тетрадей, но уж зато и завтракать, и закуривать, и стоять на трамвайной остановке будет как писатель, а не кто-нибудь еще. Такие вот дела.

Очень может быть, что за язвительность по отношению к неплохому в общем-то литератору, угнетенному работой над всеми словами вплоть до предлогов и союзов, я буду гореть в аду. Однако частный случай словобоязни показывает, что личность живущего не вполне совпадает с личностью пишущего. Попытка добиться полной идентичности — из желанья славы и похвал, как у нашего литератора, либо по каким-то другим причинам — приводит к торможению текста вплоть до полной его остановки. Сороконожка, задумавшись, как именно она бежит, превращается в навсегда заевшую «молнию»: ни туда, ни сюда.

Псевдонимы писатели берут, исходя из приземленной практической необходимости. Например, собственная фамилия неблагозвучна либо уже «занята» каким-нибудь классиком, с которым у нового автора родственные отношения отсутствуют. Либо писатель слишком плодит и разножанров, чтобы грузить одну фамилию всей создаваемой продукцией. Либо он желает укрыться за вымышленным именем, чтобы получить возможно большую свободу высказывания (в пределе из этого развивается жанр псевдонимки, о котором ниже). Как правило, любой Иванов, подписывающий тексты фамилиями «Петров» или «Сидоров», изначально не планирует для своих виртуальных двойников никакого особого развития. Через некоторое время он убеждается, что «второе» «я» ест из его чашки и при этом претендует на собственную жизнь.

Псевдоним развивается по законам, похожим и непохожим на те, по которым возникает из небытия «обычный» прозаический герой. Если последний получается из слияния автора с одним или несколькими прототипами, то в генезисе псевдонима роль прототипа отводится читателю. Наступает момент, когда Иванов замечает, что в тексте, подписанном «Сидоров», у него меняется интонация. Писать становится легче: подставной Сидоров свободнее автора говорит на языке своей аудитории. Образ, поначалу смутный, приобретает конкретные черты, вынесенные, быть может, из встречи с читателями в какой-нибудь скромной библиотеке. Если типизация в литературе — прием неактуальный, то здесь он работает вполне эффективно: Сидоров и есть типичный представитель того читательского слоя, к которому адресуется Иванов. Часто бывает и так, что прототипом псевдониму служит *другой* писатель,

принадлежащий, например, к престижной творческой тусовке, где Иванов не признан за своего. Но, стало быть, и желаемые читатели у Иванова там же. Короче говоря, не успевает автор оглянуться, как его дубликат уже не только пишет тексты, но и ходит на презентации, распивает спиртные напитки, выдвигает кого-то на литературные премии, где-то скандалит, работает в избирательном штабе кандидата, за которого сам Иванов никак не намерен голосовать. Жизнь подбрасывает массу римейков истории гоголевского Носа; поведение псевдонима — где-то в этом ряду.

Литературный герой есть созданный писателем феномен, однако без него, самостоятельно, писатель не видит многих вещей, доступных лишь восприятию персонажа. Точно так же и псевдоним вырабатывает литературу, которую автор сам по себе, быть может, и не напишет. Тому свидетельство — классическая история Черубины де Габриак. Права ли была редакция «Аполлона», не принявшая поэтических опытов скромной Елизаветы Дмитриевой, но охотно напечатавшая стихи, пришедшие под траурными сургучами от загадочной иностранки? Полагаю, тут не может быть и речи о редакторском конфузе. То, что пришло под псевдонимом, обладало неким новым качеством, а именно — свободой от реального «я». Александр Секацкий, хорошо написавший о вирусе авторствования («Я к вам пишу», «Октябрь», девятый номер за прошлый год), отмечал в числе причин авторского невроза комплекс самозванства. Секацкий прав, что всякий неопит, претендующий на эксклюзивный вклад в литературу, вынужден отвечать на вопрос: «Почему я?» В этом смысле Елизавета Дмитриева была подсудна, а Черубина де Габриак — нет. Черубина, с легкой руки Максимилиана Волошина, изначально создавалась как субъект и объект поэтического высказывания: она была поэтесса не из жизни, но из текста. Тот, кто лучше меня знает Серебряный век, наверное, лучше сумеет объяснить, отчего вокруг имени Черубины де Габриак соткалась такая магнетическая дымка (думаю, что дело здесь и в некоторых ключевых словах, к которым пишущие в то время относились будто к драгоценностям). Однако невооруженным глазом видно, что всякий участник этой насквозь литературной истории, искренне пытавшийся приподнять завесу тайны, на самом деле добавлял к существующим драпировкам еще один изысканный покров.

Образ Черубины, включая мнимые болезни и монастырские мотивы, был, при всей своей элитарности, чреват элементами сегодняшнего масскульта — отсюда его необоримая витальность. Видимо, эта элегантная мистификация имеет периферию, куда буквально просится детективная фабула; не исключено, что в числе неизбежных последователей Бориса Акунина окажется писательница, которая сумеет использовать столь выигрышный материал. Для нас, однако, важно, что псевдоним, взятый начинающей поэтессой, не только сработал, как сейчас говорят, на имидж, но и повысил поэтическую энергетику Елизаветы Дмитриевой. Это явление, как его ни объясняй, все равно остается загадкой. Псевдоним на самом деле — вовсе не формальность и не пустой файл, но живая структура. Если говорить об отношении искусства к действительности, то псевдоним — пример пограничного состояния. Одной ногой это существо стоит в реальности — потому что автор реален и находится со своим дубликатом во вполне конкретных юридических отношениях. Другой же частью — и не сказать, чтоб симметрично — псевдоним погружен в литературный вымысел, где аккумулирует личную мифологию пишущего. Как показывает случай Черубины и многие другие случаи, личная мифология — не такая безопасная вещь, и за не свои слова приходится платить. Почему тайна Черубины сделалась для Елизаветы Дмитриевой столь томительна? Почему она в конце концов предпочла печатать побледневшее *свое*? Если бы я писала роман по биографии Черубины-Дмитриевой, я бы дала героине шанс доказать, что де Габриак как раз и есть ее подлинная фамилия (подделка документов, отъезд на пару лет в Америку — ничего особо сложного). Тогда за ней действительно ухаживали бы люди с сорока тысячами годового дохода (как хотел, но не мог редактор «Аполлона» Сергей Маковский). Правда, автор романа — самый жестокий процентщик: сразу в голове возникает несколько вариантов расплаты за уничтоженный подлинник, имевший право на собственную биографию.

Псевдоним соединяется с автором неодинаковыми способами и с неодинаковой степенью близости. Часто он играет роль приспособления, повышающего напряжение творческих токов, но может сработать и ровно наоборот: резко понизить возможности литератора, положившего при помощи псевдонима излишне конкретизировать цель своего высказывания. Подставной персонаж, которому автор делегирует свои литературные полномочия, не только создается из писательского ребра, но и оказывает на личность первого порядка обратное воздействие. Конфигурации «нама — рупа» («имя — форма») обогащают литературный пейзаж элементами сюрреализма: трансформация вещества нередко напоминает здесь варку макаром.

Эдуард Савенко — совсем не то же самое, что Эдуард Лимонов. Голос амбициозного паренка с окраины Харькова, которого занесло сперва в Москву, а потом и

вовсе в США, еще звучит в стихах божемного поэта-смогиста (было такое «Самое молодое общество гениев») и отчасти в «Эдичке». После, вытесненный в подсознание, Эдуард Савенко засыпает в тексты Лимонова своих заместителей — таких лоховатых и неудачливых персонажей. Есть и книга «Подросток Савенко», однако она стоит в тени «Прекрасной эпохи» и большого интереса, на мой взгляд, не представляет. Таким образом, в случае с Лимоновым произошло полное замещение первоначальной персоны выдуманном персонажем. Для чего это было нужно, вернее, чему способствовало? Тому, что персонаж, во-первых, взялся делать биографию, для Савенко неорганичную, а во-вторых, принялся немедленно проматывать нажитое, все без остатка пуская под перо.

В книге «Анатомия Героя» (впрочем, как и почти во всех других своих произведениях) Эдуард Лимонов утверждает, что его судьба вписывается в мифологическую тему «Герой и его дорога испытаний»: «Цикл героя представляет неизменяющуюся парадигму «идеального» поведения для человеческого самца». Последняя вещь Лимонова, «Книга мертвых», где как раз присутствуют воспоминания о смогистах, содержит, например, такой пассаж: «Тут я задумался, а почему я о них пишу? Я, который превосходит всю эту далекую прошлую публику, всю вместе взятую, и по известности, и по таланту, и по человеческой энергии. Я успел пожить после этого в нескольких мирах...» Ну и так далее. Когда общаешься, например, с альпинистом, заслуженным мастером спорта, прошедшим во главе экспедиции считавшуюся неприступной западную стену Макалу, или с офицером, имеющим шесть пулевых ранений из Афгана и Чечни, или с чрезвычайно информированным шеститиком, у которого собственный кабинет в Совете Федерации и реальное влияние на ряд макропроцессов, — тогда понимаешь, что биография Лимонова на самом деле не содержит ничего особенно крутого. Ну провез нелегальный пистолет из Книнской Краины в Белград... Надо полагать, мало кто передвигался по коридорам той войны без припрятанных стволов.

Дело, однако, не в факте, а в отношении к нему, в его интерпретации. В данном случае мы имеем дело не с реальным, а с литературным пистолетом. Сделавшись раз и навсегда персонажем непрерывного метатекста, Эдуард Лимонов утратил способность оценивать себя адекватно и теперь измеряет величину вещей близостью к собственному «я». Биография Лимонова, где из одного события — из одного кусочка жизненного «мяса» — изготавливается сначала первое (роман), затем второе (глава другого романа или, к примеру, рассказ), уже настолько выварена в водах литературы, что читать его книги подряд не осталось никакой возможности. Еще уместно сравнение с Тришкиным кафтаном: «Книга мертвых» процентов так на пятнадцать состоит из прямого самоцитирования, предыдущие тексты, пошедшие на заплатки и надставки, зияют дырами и обнаруживают свою нецельную природу (потому что из текста, где все части необходимы друг для друга, не надерешь лоскутов). Будучи неспособен брать сюжеты и героев из воображения, Лимонов, прежде чем что-то написать, должен иметь макет будущего текста из натурального материала и в натуральную величину. Столь затратный способ получения литературы одновременно весьма экономичен: здесь даже отходы событий подлежат утилизации. Парадокс, но на самом деле все очень просто. Перед нами советско-инженерский способ жизни: нажил — потратил, и никаких Мнемозин. Впечатления не откладываются «про запас», не обогащаются в глубинах подсознания: Лимонов *не видит* время, подобно тому как люди, не имеющие касательства к живописи, не видят воздуха. Оттого Москва конца шестидесятых, американские семидесятые — для Лимонова будто вчера. Лишаясь (на мой взгляд) каких-то существенных мифопоэтических качеств, такая литература одновременно обладает свежестью и резкостью документального отпечатка, чем дразнит человеческое любопытство. А если еще читатель совпадает с человеком-персонажем Лимоновым в установке на личную экспансию, в генетической склонности к эстетике милитаризма и в желании послать импортную политкорректность по известным русским адресам, — тогда ему в лимоновских текстах будет очень даже хорошо.

Люди более спокойные и скептические обнаружат у Лимонова немало забавного. Скажем, «Книга мертвых»: идея ее, что и говорить, любопытна. Утверждая, что быть мертвым — дело естественное, Лимонов демонстративно отказывается следовать правилу: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». В книге он намеревался представить набор своих покойников — тех, кто встретился писателю в его метатексте и на данный момент отошел к праотцам. «Каждый человек имеет тех мертвых, каких он заслуживает», — вынесено на обложку данного издания. Но тут Лимонова подводит его всегдашний комплекс Элочки Шукиной. Сила людоедки Элочки состояла в том, что она по жизни соперничала с американской миллионершей Вандербилдхой и потому умела правильно носить мексиканского тушкана. Так и Лимонов: встречаясь с кем-нибудь из «основных» современной культуры, он всякий раз задает себе вопрос — а равен я ему или не равен? И по большей части отвечает себе поло-

жительно. Среди «лимоновских» мертвых присутствуют, например, Иосиф Бродский, Трумэн Капоте, Энди Уорхолл. Каким образом Лимонов их «заслужил», понятно из текста книги. Человек встречает пару раз Лимонова на каком-нибудь party и знает не знает, что непонятный русский его «сосчитал».

Обличая профессиональных литературных мемуаристов, приватизировавших Бродского, Лимонов делает ровно то же самое. Впрочем, за собой писатель не замечает накладок. Мне это качество, сказать по правде, даже симпатично: слишком много вокруг осторожных людей, что бояться своих ошибок до такой степени, что начинают бояться самих себя. На этом вялом фоне пассионарный Лимонов выглядит честным наглецом, делающим все плохое, на что он реально способен, и получающим по полной программе свои гнилые помидоры от таких, как я, посторонних критиков. Вот только жаль, что интересная идея «Книги мертвых» оказалась не сутью, а наклейкой. Точно так же, как Лимонов не видит временную среду и из-за этого не может строить глубоких перспектив, так же он *не видит* смерть: чтобы сделать обратный ответ гибели человека на его судьбу или даже эпизод судьбы, требуется, видимо, более тонкий художник, чем тот, что в данном случае взялся за перо. Текст Лимонова, как всегда, состоит из ритуальных самцовых биений кулаками в грудь и прочих самозводов, среди которых вдруг проскакивают довластовской остроты характеристики и совершенно трезвые оценки разных мифологизированных ситуаций, которых осторожные люди предпочитают не касаться.

Что до политики, то читатель, желающий понять, чего же хотят для России национал-большевики, не найдет в Лимонове внятного собеседника. Видимо, вождь радикальной молодежи вполне подпадает под ту категорию политических фигур, которых парижский чех Милан Кундера назвал «плясунами»: «Плясун отличается от заурядного политика тем, что он жаждет не власти, а славы; он не стремится навязать миру то или иное социальное устройство (оно беспокоит его куда меньше, чем собственный провал), он жаждет властвовать над сценой, где мог бы вовсе развернуться его творческая личность». Читая роман Кундеры «Неспешность», откуда приведена цитата, понимаешь, что «плясуны» — явление международное, что вполне согласуется с жизненным путем Эдуарда Лимонова. Более того: «плясуны» есть явление не чисто политическое, но универсальное. В литературе их теперь полно: стало уже скучно говорить о том, что пи-ар заменяет текст, и, видимо, пора оставить в покое всю эту новую литературную эстраду, где звезды зажигаются потому, что это кому-нибудь нужно. Здесь лишь стоит отметить, что Лимонов, при всех его специфических особенностях, гораздо в большей степени писатель, нежели Болмат либо Кладо.

Псевдоним, превративший в начале жизни одного человека в совершенно другого, способствовал тому, что этот другой навсегда погрузился в полуреальную среду, из которой не вышло ничего, кроме нескольких эпатажных и по-своему любопытных книг. Что уже немало. Мог бы существовать харьковский писатель Эдуард Савенко, автор бытовых романов, провинциальный литературный инвалид, который ностальгировал бы сейчас по СССР и злobilся бы на харьковских успешных фантастов. Получился Эдуард Лимонов, международный авантюрист приватного масштаба, вечный соискатель славы и рекламы, сомнительный супермен и превосходный описатель пестрых типажей. Первый мог быть более органичен; второй, очевидно искусственный, сумел осуществить несколько заметных провокаций и под это дело навязать себя актуальной литературе. Двойники Лимонов и Савенко разыграли перед нами старый сюжет про Принца и Нищего, причем Нищий сразу пребывал на втором этапе истории, то есть знал про себя, что он переодетый Принц. Здесь портретное сходство марк-твеновских персонажей хорошо ложится на информационную ситуацию, в которой, к примеру, действует человек, очень похожий на генерального прокурора; почему бы кому-то не стать очень похожим на великого писателя?

Еще один пример литературы «под псевдонимом» (та же языковая конструкция, что «под наркотозом» или «под кайфом») — детективы Александры Марининой, все еще популярные, хотя по качеству уже заметно отстающие от того, что делают Полина Дашкова, Елена Арсеньева и Анна Малышева. Здесь не произошло замены одной персоны на другую. Просто милиционер Марина Алексеева как бы вышла замуж и теперь живет под новой фамилией. Примечательно, что когда она совместно с Александром Горкиным писала свой первый детектив «Шестикрылый серафим», то общий псевдоним, составленный из имен соавторов, оказался женского рода. Традиционно в подобных случаях предпочитается мужское «я»; было ли то отражением большего творческого вклада Марины Алексеевой или неким предчувствием будущего взлета «русской Агаты Кристи» — неизвестно, да и не так уж существенно. Важно, что псевдоним возник в результате союза пишущего и пишущей; видимо, это наложило отпечаток на характер персонажа по фамилии Маринина, что вот уже добрый десяток лет сохраняет верность себе и в основном, и в мелочах.

Изначально модель «гениальной сыщицы» была и грамотная, и жизнеспособная: Анастасия Каменская могла выдержать и выдержала нагрузку большого сериала. Тем не менее последние вещи Марининой показывают, что персонаж устал. Усталость романов Марининой сказывается, помимо прочего, и в том, что им уже не хватает «дамскости». Нет того стержневого шика, что украшает книги вновь прибывших конкуренток. В дамском криминальном романе читательница ожидает найти не только детективную загадку, но и что-нибудь про марки модных дизайнеров, про новые парфюмы, про женское соперничество, про любовь, наконец. Это отчасти вроде бы есть, но очень стерто. В романах Марининой я не нахожу каких-то знаковых мелочей, без которых невозможен жанр. Подобно тому, как благополучная замужняя женщина на десятом году брака перестает интересоваться модными коллекциями и забывает, что такое флирт, так и Маринина утрачивает кураж, без которого книги сколь угодно раскрученной детективщицы перестают «цеплять» молодую и гормонально активную часть аудитории. От этого не спасает даже телесериал, получивший к тому же вялым и скучным.

Дольше многих других присутствуя на книжном рынке, Александра Маринина не может не замечать, что коллеги, пришедшие позже, уже «затравили» читающей публике не по одному серийному герою. Тот же Борис Акунин очень вовремя сменил Эраста Фандорина на Николаса Фандорина, и роман «Алтын Толобас» смело назову удавшимся хитом. Отчего же Маринина не делает то же самое? Ведь, казалось бы, вот он, успех: стоит только объявить о вызревании нового проекта, как сразу акции писательницы подскочат на множество пунктов, ожидания накалятся, и новый роман издатели и читатели оторвут с руками. Мне кажется, что дело тут в характере псевдонима. У Алексеевой-Марининой-Каменской уже настолько общая судьба, что даже в законный брак (по жизни и по сюжету) писательница и ее героиня вступили практически синхронно. Видимо, выход один: менять псевдоним. Писательница Марина Алексеева уже настолько популярна, что радикальная потеря читателя ей не грозит.

Теперь, наконец, переходим к псевдонимкам. От анонимок данные тексты отличаются тем, что всякий желающий может их прочесть. В литературном обиходе существуют псевдонимы, подобные фирмам, что создаются под конкретную разовую сделку либо под периодическую надобность увода денег из поля зрения инстанций и партнеров. Ни одна «надежная схема» не обходится без участия виртуальных «Рогов и копыт». В нашем случае рога и копыта называются «критик Сергей Васильев». Тот самый Сергей Васильев, что активизируется осенью, когда наступает Букеровский сезон, и публикует в журнале «Итоги» свои впечатления от годового урожая русского романа. Поскольку Васильев в «Итогах» за прошлый сентябрь очень сердился на мой роман «Один в зеркале», мне как будто не следует задевать «непредубежденного» критика, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не заподозрил тут сведение литературных счетов. Но, во-первых, в результате честного поиска более выразительной фигуры для данных заметок я не нашла. Во-вторых, если опубликованное хамство может служить универсальным средством, чтобы лишить оппонента права голоса, тогда для оперативных доброжелателей наступит слишком хорошая жизнь. На этом формальности считаю законченными.

Итак, перед нами персонаж, о котором мы можем судить, потому что он на виду. За персонажем (псевдонимом) скрывается собственно автор, о котором мы судить не можем, потому что ничего о нем не знаем. На самом деле это не так. Но сперва обратимся к поверхности явления. Есть много людей, имеющих конкретные претензии к Букеру, потому что Букер несовершенен. Однако существует и группа литераторов, которая относится к Букеру более глобально. В этом они напоминают кавказца из анекдота, которого спросили, любит ли он помидоры: «Кушать люблю, а так — нэт!» Раздражительность Сергея Васильева придает его текстам известную энергию и порождает тот особенный, довольно бойкий стиль, который напоминает елочные гирлянды с бегущими огоньками. Возникает иллюзия, будто мысль зажигается от мысли, одна раскавыченная читата будит другую. Однако если не поленишься и перечитать написанное, тут же обнаруживается, что крашенные лампочки критического остроумия сидят на проводе совершенно по отдельности, и эффект достигается не разбегом, но перемыканием мыслительного процесса. А главное — иллюминация никак не освещает того предмета, о котором, собственно, идет разговор.

Для Сергея Васильева, похоже, составляет большое неудобство необходимость одни произведения ругать, а другие хвалить. Критика сильно заносит на повороты, потому что в обоих случаях он бежит одну и ту же дистанцию. Умея отмечать в разбираемых текстах лишь ограниченный набор особенностей, Сергей Васильев вынужден аналогичные вещи подавать то со знаком «плюс», то со знаком «минус». У одного писателя «постмодернистские затеи» суть благо, у другого зло; в одном случае присутствие в романе идиота либо уroda комментируется как отражение сути и уровня

автора, в другом подается как признак мастерства. Не будучи апологетом тенденции либо выразителем сложившегося вкуса, критик ориентируется на конкретные писательские имена, поэтому между фактом из текста и оценочным суждением отсутствует аргумент. Неловкость приводит к тому, что Сергей Васильев, переходя от ругани к «положительной части», нередко впадает в интонации советской продавщицы, только что облаявшей одного покупателя и тут же обратившей на других всю имеющуюся в запасе культуру обслуживания (кстати, очень может быть, что Сергей Васильев — женщина или что-то в этом роде). При этом есть основания утверждать, что псевдоним играет по отношению к первичному автору понижающую роль.

Основания эти вот какие. Однажды Сергей Юрский, в своем писательском качестве не избалованный рецензентами, высказал точное наблюдение, что нынешние критики ругаются гениально, а вот хвалить не умеют совсем. В случае Сергея Васильева все ровно наоборот. Если у авторов, предназначенных для хваления, критик нередко видит реальные достоинства и указывает на них читателю, то псевдонимки, как бы ни были они эмоциональны, носят характер плоского удара. Что имеется в распоряжении критика? Ключевые слова «красивость» и «глупость», некоторые поверхностные аналогии плюс цитаты из романа, подвешенные на кавычках, будто белье на прищепках, — в расчете, видимо, на то, что читатель псевдонимки в них запутается. Убогий, прямо скажем, инструментарий. Конечно, белишко на веревке выглядит всегда комично и беззащитно — а ну как читатель, абстрагируясь от перевирающей интонации критика, вдумается в саму писательскую фразу? Выйдет конфуз. Между нами говоря, все мы профессионалы, и нам отлично известно, что любую прозу — хорошую, плохую — можно разнести настолько красиво, что выйдет фейерверк и полный хеллоуин. Отчего же у Сергея Васильева это не получается? Видимо, автор, скрытый за персонажем, «знает дома» некоторые вещи и не исключено, что, при неразности навыков анализа, любит литературу. Однако ношение шапки-невидимки сильно сказывается на работе его головы.

Я действительно не знаю, кто реальный стоит за «Сергеем Васильевым» — и, вероятно, не узнаю никогда. По непроверенным данным, журнал «Итоги» распространяет версию, будто это свободнотишущий преподаватель из провинции. Позволю себе заметить, что если наш доброжелатель и правда сельский учитель, то не в этом поколении: его выдает, например, снисходительное отношение к журналу «Волга». Никто, конечно, не может запретить человеку притворяться собственным дедушкой, но вот поверят или нет — это уж как получится. Мне же все вышесказанное дало основание выдвинуть Сергея Васильева на литературную премию «Лебядкин», которую предполагается присуждать раз в два года за выдающееся графоманское произведение, опубликованное в отчетный период либо представленное в рукописи. Предполагается, что присуждение премии будет приурочено к Курицынским чтениям в Екатеринбурге и впервые состоится в конце февраля 2001 года. Правда, я не уверена, что моя кандидатура пройдет: по номинации «критика» у Сергея Васильева уже есть по меньшей мере два серьезных конкурента.

А теперь признаюсь: у меня восемь псевдонимов. Среди моих персонажей — стильная девица с философским образованием, ныне отброшенным, как первая ракетная ступень; пятидесятилетняя тетка в костюме толстой шерсти, добрая и жалостливая, при этом большая взяточница (берет коробками конфет); тридцатилетний панк-переросток, фанат кровавого триллера, который часто ездит в Москву бить морду своему литературному обидчику, но, поскольку не знает обидчика в лицо, все время принимает за него кого-то другого и оказывается в милиции раньше, чем успевают добраться до нужного фейса. Все они, конечно, пописывают на сторону, но главным образом работают в газете «Книжный клуб». У других реальных сотрудников газеты также имеется по три-четыре двойника. Псевдонимы помогают нам разнообразить угол зрения и интонацию, а также справиться с нагрузками. Нас в газете настолько меньше на единицу газетной площади, чем это обыкновенно бывает в редакциях, что без виртуальной команды мы бы просто не вытягивали наш неплохой, как мне думается, еженедельник. Иногда мне кажется, будто виртуальная редакция где-то существует: пьет чай, конфликтует по производственным и непроизводственным вопросам, пьет водку, перемывает кости главному редактору, и что-то такое завязывается между панком и девицей, мне пока не совсем понятное... Очень может быть, что когда-нибудь эти фантомы, набирающие все больше человеческого, вынут меня написать про них детективный сериал.

Слово о Хаджи-Мурате

Есть такая иллюзия, что, вступая в новый век, год, квартал, короче говоря, в новый отчетный период, мы начинаем жизнь набело. Между тем даты не значат вообще ничего: в новый квартал, год или век мы вносим старое барахло.

Неизвестно, сколько бритоголовых солдат кончило свою жизнь для того, чтобы взять высоту или три дома у дороги, названных кем-то населенным пунктом, взять, отобрать у врага к какой-то дате — 23 февраля, к 7 ноября, к 1 мая. К 21 декабря, наконец. Мало кто помнит этот день — день рождения Сталина, а часто забыты и могилы убитых.

И все же мы тащим этот кровавый скарб в начинающееся время, что кажется нам новым.

Поэтому и будет рассказана соответственная история. История о повторяющемся времени.

Это история о человеке, превращенном в куст татарника.

Как склонять его имя — понятно, да не вполне. Порой даже возникает сомнение: а существовал ли он? Тем не менее имя его известно всем.

Люди делятся на тех, для кого Хаджи-Мурат герой литературный, и на тех, для кого он герой исторический. Или национальный. Его история похожа на историю Че Гевары. Та же отрубленная для идентификации голова, та же символичность жизни.

Виктор Шкловский пишет о том, что Толстой работал над повестью с 1896-го по 1904 год, но и в смертельной болезни писатель продолжал наводить справки, заказывать книги и искать в них подробности. «Истинной молитвой Толстого является рукопись Хаджи-Мурата», — говорит Шкловский. И добавляет: «Великий человек был зажат между империей Николая и возникающей деспотией Шамиля».

Можно спорить о величии родившегося в Аварии, близ Хунзаха, человека, но он уже превратился в татарник на краю поля. Бесспорно величие литературного героя.

Слова о Хаджи-Мурате, зажатом между Шамилем и Николаем, на самом деле слова об обстоятельствах, когда неправы все. Когда календарь пронизан жестокостью и герой — одна из деталей это кровавого механизма.

В последние годы двадцатого века человечество суматошно подводит итоги, будто готовится перед кем-то отчитаться, инвентаризовать события. И начинается лихорадочный поиск исторических аналогий.

Толстой пишет не историю, а человеческие чувства.

Он пишет о той земле, что стала Дагестаном, хотя в его повести есть и чеченцы. Но нет ничего хуже спекуляции на классике и причитаний: как оно, дескать, похоже! И когда снова начинают убивать, то все участники бойни ищут похожих сюжетов.

Между тем Хаджи-Мурат не раз и не два переходил из одного лагеря в другой. Русские дали Хаджи-Мурату чин прапорщика милиции. Потом он был обвинен в измене и арестован. Бежал и присоединился к Шамилю. Русских вытеснили из Аварии в 1843 году, и этому способствовал именно Хаджи-Мурат, притом всегда оставляя себе возможность маневра.

«Обладая личной отвагой и энергией, он в совершенстве овладел искусством войны в горах и стал одним из главных военных предводителей горцев в борьбе против царских колонизаторов», — вот как принято о нем писать.

Череди кровавых междоусобиц на Кавказе была связана не только с русским присутствием. Это была страшная потасовка всех со всеми.

После этого и произошла описываемая Толстым история.

Уже семь лет, как не было в живых Хаджи-Мурата, когда «25 августа 1859 г. русские войска при содействии горцев Дагестана штурмом овладели Гунибом — последним оплотом Шамиля, а сам он был взят в плен. Разгром реакционного мюридизма, задержавшего на несколько десятилетий развитие Дагестана, и ликвидация новой угрозы порабощения Дагестана феодальной отсталой Турцией способствовали развитию производительных сил страны, ускорили разложение патриархально-феодальных порядков, втянули Дагестан в новые, более высокие социально-экономические отношения».

Шамиля отвезли в Петербург, но через десять лет он умер на свободе, после паломничества в Мекку.

Все это излагают историки, время от времени меняя оценки, чередуя цитаты в разном порядке, но за убитым давным-давно человеком стоят буквы, сложившиеся в слова, строчки и страницы Толстого.

Именно в связке с Толстым продолжалась жизнь Хаджи-Мурата. Он стал известнее, а значит, главное тех, кто его убил, и тех, кого убил он сам.

«Сколько душ загубил, проклятый; теперь, поди, как его улагодворять будут», — говорят придуманные Толстым солдаты. Они говорят об этом, и нет сомнений, что так говорили и другие солдаты о множестве других разбойников, с которыми дружились их начальники.

Повесть Толстого дышит исторической достоверностью. Впрочем, есть мнение, что она приукрашивает Хаджи-Мурата. Это неверно.

Если внимательно читать Толстого, то понятно, что Хаджи-Мурат не более жесток, чем те солдаты, что говорят о нем. Он разбойник, и на нем не только орден Шамиля, круглая бляха с арабскими письменами, но и кровь тех людей, которых он мучил, не задумываясь о собственной жестокости.

«Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была продавлена, и дверь и столбы галерейки были сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и, не переставая, выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать с него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с таким трудом заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного».

Эта картина войны создана не только Толстым. В ином смысле она создана теми же солдатами, что справедливо полагали Хаджи-Мурата разбойником. Кстати, на стороне Шамиля билось несколько сотен русских старообрядцев.

История мешала людям, как карты в колоде. И их объединяла не кровь происхождения, а пролитая кровь.

Высота В 2352 м, иначе называемая Гуниб, остальному миру известна мало, но география всегда определяет политику. На картах Дагестана, тех, где есть еще Грозненская область, под Хунзахом стоит, будто печать, буква «Ф», часть надписи «РСФСР».

От границы Дагестана до Грозного — тридцать километров, до Гуниба — сто двадцать — сто тридцать. География живет рядом с историей, но, говоря о старых и новых руслах, обезвоживании и паводках, география не описывает реки крови, а именно пролитая кровь всегда подкрашивает историю. История навсегда обречена с политикой.

Они живут в неравном браке, насильственном, но прочном.

Ничего в этой истории не похоже ни на какой иной исторический период.

Похожи только человеческие чувства. Фраза: «Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, оружие и стрелять по укреплению» — может описывать любую из кавказских войн.

Похоже только это.

Похожи только некоторые слова, потому что есть у Толстого и милиционеры, которые ловят сбежавшего Хаджи-Мурата и тыкают кинжалами и шашками в его уже мертвое тело.

Сходство географии не так важно, как сходство человеческих переживаний.

Мать плачет о сыне одинаково солеными слезами, будь он замучен в чеченском плену или раздавлен русским танком. Мертвые старухи видят одинаковое небо одинаковыми пустыми глазами — косоварские и сербские, чеченские и курдские, они видят одно и то же небо, мало похожее на небо Аустерлица.

И дом горит одинаково, какая бы бомба в него ни попала, американская или русская.

Убитые дети теряют национальность.

Участники этнической войны слишком быстро становятся неотличимы, деление на правых и виноватых исчезает.

В этом бессмысленность и ужас войны и в том, что все в ней делают одни и те же хорошие люди, временно думающие о других людях, как о крысах и ядовитых пауках.

Теперь надо сказать о том, что происходило с Хаджи-Муратом после того, как его бритая голова перестала хватать ртом воздух.

Отрезанную голову отправили заместнику Воронцову. Затем она попала в Военно-медицинскую академию.

Есть такой термин «краниологическая коллекция». Это — собрание черепов. В нем оказался и Хаджи-Мурат — в окружении таких же безглазых людей, лишенных туловищ.

На его черепе уже были арабские и русские письма, подтверждавшие происхождение. В год смерти Сталина, хотя эти события вряд ли связаны, череп передали в Кунсткамеру. Там он лежал где-то рядом с черепом Миклухо-Маклая. Тому, правда, отрезали голову, вернее, отделили череп от скелета спустя много лет после смерти, согласно завещанию самого Миклухо-Маклая.

И вряд ли кого удивляло это соседство.

Череп тоже теряет свою национальность, и Хаджи-Мурату было все равно.

«Больше он ничего уже не чувствовал».

Потом его голову лепили заново, воссоздавая уши и губы. Это называется — реконструкция по Герасимову.

Хоронить этот череп трудно. Вообще формально трудно закопать в землю музейный экспонат. Непонятно также, где это сделать. Могила Хаджи-Мурата неизвестна. О ней спорят, как спорили греческие города о Гомере.

Он действительно превратился в татарник, на лепестках которого есть розовый отсвет крови.



Надежда ДАНИЛЕВИЧ. БАРОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН. ЖИЗНЬ РУССКОГО АРИСТОКРАТА. М., «Изобразительное искусство», 2000.

Он родился в России накануне первой мировой войны, в 1913 году. Но не сгинул в водовороте катастрофических событий. Оно и понятно — в его роду скрестились фамилии Фальц-Фейнов и Епанчиных. Последние дали России трех адмиралов. А первые создали для России заповедник Аскания-Нова. Наследник мореходов и обустроивателей не мог пропасть бесследно. Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский так характеризует героя книги: «Барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн — эмигрант, плейбой, спортсмен, деловой человек и меценат». Барон — единственный родственник Достоевского за границей. Остается добавить, что автор книги, Надежда Витольдовна Данилевич, с 1994 года является секретарем и пресс-атташе барона Фальц-Фейна.

Арсений ГУЛЫГА. ЭСТЕТИКА В СВЕТЕ АКСИОЛОГИИ. СПб., «Алетейя», 2000.

Тем, кто запомнил: аксиология — учение о ценностях. Книга известного советского философа, написанная в середине 90-х, увидела свет впервые. Во многом традиционная, работа отличается четкостью авторских позиций, не приемлющих постмодернизм. Именно последний-то и виновен в попытке разрушить ценности эстетические. Родословную «литературных хулиганов» автор возводит к нигилистам — к Базарову и Писареву.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ XX ВЕКА: Биографический словарь. М., «Большая Российская Энциклопедия»; «Рандеву-А», 2000.

Около 600 статей энциклопедии правке не подвергались. Так утверждают в издательстве. Таким образом энциклопедию можно назвать авторской. Написанный без строгого академизма, а порой и с мировоззренческими симпатиями, словарь все же создает целостную картину российской литературы века ушедшего. А сами литераторы, в словарь угодившие, теперь уже обречены находиться по соседству с теми, кто некогда представлялся чуть ли не врагом. Время оценило и примирило. Семен Бабаевский и писатели-эмигранты — все «нашенские».

Лев ТИХОМИРОВ. ТЕНИ ПРОШЛОГО. Воспоминания. М., Издательство журнала «Москва», 2000.

Лев Александрович Тихомиров, больной 66-летний старик, начинает свои мемуары, поселившись в Сергиевом Посаде, поближе к преподобному Сергию. Чего ожидать монархисту от 1918 года? Ничего, разве что пули. И ту жалко — так помрет. Но не для него пишет, завершив главные труды жизни, бывший революционер. Ровно подвиг совершает, не ведая, кто прочтет. Да ведь и молчать нельзя. Именно сейчас наиболее отчетливо вспомнились, услышались из небытия государственники Данилевский и Леонтьев, Ильин и Солоневич... Лев Тихомиров сполна отдал должное прошлому, рассмотрев его глазами Перовской и Плеханова, Киреева и Вл. Соловьева.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ. Антология сатиры и юмора России XX века. Том 9. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000.

Сколько лет пародии — неведомо. Ясно, что всю жизнь сопровождает она и переразвивает литературу большую. Не пропуская даже такой колосс, как «Илиада» Гомера. Уже в конце VI или в начале V века до нашей эры появилась шуточная поэма «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия»). Вместо Ахилла, Агамемнона и прочих доблестных героев друг с другом сражались мелкие представители фауны.

Такой вот поучительной исторической справкой и открывается том «Литературная пародия», выпущенный издательством «ЭКСМО-Пресс» в серии «Антология сатиры и юмора». Сама же «Антология» заявлена издателями как мегапроект, обещающий читателю 50 (пятьдесят) томов прозы и поэзии, а также пародий на них.

Михаил РОЩИН. ИВАН БУНИН/ Приложение: Бунин в Ялте. Рассказ; «Советская хроника» Ивана Бунина. Публ. Д. Черниговского. (Серия «Жизнь замечательных людей»). М., «Молодая гвардия», 2000.

«Я, словно луна от солнечного света, сиял бунинским отражением», — признается Михаил Рошин. Это не первая попытка автора определиться в отношениях с «князем» русской литературы. «Князем» называли Ивана Алексеевича в домашнем кругу. «Князь» назывался роман Михаила Рошина, опубликованный в прошлом году в журнале «Октябрь».

Нет, не избавиться Михаилу Рошину от «полнобуниния». Слишком дорог ему герой. Тот, что не терпел лжи и фальши, чураясь людей неинтересных и неталантливых. Тот, что строг и беспощаден был в литературных оценках.

В «Приложении» публикуется поистине детективная история бунинского архива, найденного, выкупленного Россией и вновь ею утраченного.

Александра ТОЛСТАЯ. ДОЧЬ. М., «ВАГРИУС», 2000.

В ночь с 17 на 18 июня 1884 года Лев Толстой взял котомку и отправился из Ясной Поляны, чтобы уйти навсегда. Но вернулся. Потому что в семействе ожидалось появление двенадцатого ребенка. Им стала Александра Львовна Толстая. Именно ей, младшенькой, доверял отец больше, чем кому-либо. На ее руках умирал. Именно она — может быть, глубже других — поняла и приняла мысли Толстого. И всю свою долгую жизнь посвятила помощи ближнему, став сестрой милосердия по призванию. Оказавшись узницей советских лагерей, Александра Львовна получила свободу благодаря ходатайству яснополянских крестьян. Международный комитет помощи всем нуждающимся русским появился на свет ее стараниями. Большая, щедрая жизнь дочери Толстого вместила многое.

Михаил ПЫЛЯЕВ. СТАРОЕ ЖИТЬЕ: Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни. СПб., Издательство журнала «Нева»; «Летний сад», 2000.

Утром, после чая, еще не одетый, Александр Васильевич Суворов начинал петь по нотам духовные концерты Бортнянского и Сорти. Пение продолжалось целый час. Пел Александр Васильевич басом. Так бы и нам свои дни начинать... Или хотя бы с прочтения книг достойных и поучительных. Одной из которых и является известное в прошлом сочинение бытописателя России и историка Михаила Ивановича Пыляева. Он расскажет нам о том, как ели в старину и во что играли, о моде и модниках прежнего времени, о театре времен Отечественной войны 1812 года, о старцах и юродивых, о привычках знаменитых людей земли российской. Тот же Суворов закусывал водку исключительно редькой. А кругозор расширял прочтением шести французских и шести немецких газет, а также «Ведомостей» — московских и санкт-петербургских.

Александр АМФИТЕАТРОВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 10 тт. Тт. 1,2. М., «Интелвак», 2000.

Александр Валентинович Амфитеатров (1862 — 1938) считался одним из самых читаемых романистов Серебряного века. Вместе со своим другом М. Горьким симпатизировал социал-демократам, что не помешало оказаться впоследствии в изгнании. Почему? Амфитеатров отвечает на этот вопрос в своей мемуарно-публицистической прозе. Первый том первого в новой России собрания сочинений автора включил роман-хронику в 2-х частях «Княжна», фантастический роман в 2-х частях «Жар-цвет» и повесть «Отравленная совесть». Во втором томе впервые полностью опубликована скандально известная диалогия о тайной проституции великосветских дам «Мария Лусьева» и «Мария Лусьева за границей», а также повесть «В стране любви». Как видим, секреты успехов беллетриста ничуть не обновились за прошедшие годы.

Пьер Паоло ПАЗОЛИНИ. ТЕОРЕМА: Сценарии, роман, повесть, рассказы, статьи, эссе, интервью. М., «Ладомир», 2000.

Почти неведомый нам Пазолини. Блестящий и удачливый литератор. Все его произведения, в любом жанре, неизменно привлекали внимание. А почти каждый поэтический сборник получал литературную премию. И вот уже четверть века прошла со дня его трагической гибели. Но только сейчас у нас появляется его первый полновесный сборник. Скандальный роман «Шпана», послуживший основанием для возбуждения против мэтра уголовного дела. Изысканная «Морская повесть». Пряные путевые очерки «Запах Индии». Поэзия. И много-много о кино. О своих фильмах и картинах коллег. Замыслы, неожиданные реплики и комментарии. И разговор с читателем в виде интервью, вопросы и ответы которого подробно рассыпаны по всей книге. Но главная страсть — кино: «Между мною и реальностью не существует ни-

каких символических или условных фильтров, как это бывает в литературе. Так кино вызвало взрыв любви к реальности».

Жан КОКТО. В 3 тт. С рисунками автора. Т. 1. Проза, поэзия, сценарии. М., «Аграф», 2000.

О популярности свидетельствуют анекдоты. О Жане Кокто (1889 — 1963) у нас их рассказывали. Лет двадцать назад. Личность уникальная своей многогранностью, Кокто умудрился в единственном лице представить целый пласт западноевропейской культуры. Сценарист и театральный деятель, кинорежиссер и художник, прозаик и поэт был отнесен любителями классификаций к стану авангардистов, сюрреалистов. Более того, объявлен их символом. На самом деле мэтру было все по плечу. Например, как художник он смело брался и за фрески, и за карикатуры. О графических талантах автора можно судить по иллюстрациям издания.

Выпущенный трехтомник дает довольно полное представление о литературном наследии Кокто. В первый том вошли крупные поэтические произведения («Ангел Эртебиз» и «Распятие»), а также лирика, отобранная из различных сборников. Произведения произведения условно можно назвать романами. Один из них, ранее переведившийся как «Трудные дети», в нынешнем издании получил название «Ужасные дети». Зато впервые на русский язык переведены кинороманы Кокто «Кровь поэта», «Орфей» и «Завещание Орфея».

Франсуа ДЕ КОЛЬЕР. О СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ГОСУДАРЯМИ (Серия «Классика дипломатии»). М., «Гендальф», 2000.

Россия укрепляющаяся немислима без умелых дипломатов. Видимо, этими соображениями руководствовались издатели, приступая к новой серии. Представленная книга ее открывает. Открывает достойно — переводом с первого французского издания классического труда по теории и практике дипломатии. Для понимания роли и сути государственного служащего конца XVII — начала XVIII в., к каковым и принадлежит автор (1645 — 1717), следует полностью привести название книги. Звучит оно чрезвычайно ответственно: «О способах ведения переговоров с государями. О пользе переговоров, о выборе послов и посланников и о личных качествах, необходимых для достижения успеха на этих должностях. Сочинение господина де Кольера, ординарного королевского советника в кабинете секретаря Его Величества, прежде бывшего Чрезвычайным и Полномочным послом покойного Короля при заключении мирных договоров в Ристике, члена Французской академии. Впервые издано в Париже Мишелем Брюне при журнале «Меркюр Галант» в 1716 году с одобрения Короля и при его благоволении».

После прочтения такого труда начинающий дипломат просто не может не стать государственным.

АЛЬМАНАХ ДАДА. М., «Гилея», 2000.

Самая агрессивная из европейских художественных группировок первой четверти XX века обрела себя в мирной Швейцарии. Как раз в то время, когда Европа погрузилась в безумие первой мировой войны. Анархистствующие интеллигенты ответили своим безумием. Французское словечко dada (деревянная лошадка, детский лепет) стало западной «пощечиной общественному вкусу». В цюрихском «Кабаре Вольтер» было решено, что дада: «... претендует на радикальность, грохочет, вопит, издевается и брыкается...» «Альманах дада», культовая книга всех тогдашних бунтарей, появился осенью 1920 года в Берлине. На его страницах опубликованы теоретические статьи и стихи, манифесты и газетные отклики, проза. Естественно, что и внешний вид издания отличался от общепринятого. В отечественном издании от многих выкрутасов пришлось отказаться ради уточнения словесной сущности.

РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII И XIX ВЕКОВ. ИЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАНОВА В 5 тт. Т. 5. М., «Три века истории», 2000.

В цифрах тиража — 600 экз. — не опечатка. Пяти томник уже стал библиографической редкостью. Великий князь в 1904 — 1909 годах поместил в первое издание портреты членов императорской фамилии, государственных и военных деятелей, царедворцев и дипломатов, писателей и ученых. Поскольку большинство оригиналов безвозвратно утрачены, ценность издания очевидна.

Александр ЯКОВЛЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;

для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;

годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Старосадский пер., 9.

Поздравляем ЮННУ МОРИЦ,
выдающегося поэта,
нашего постоянного автора,
с присуждением премии

«ТРИУМФ»!

*Мы будем жить, немного погодя...
Переплывем сначала эту реку,
потом — сквозь лес и далее везде,
в упор не видя, мимо проходя,
заглядывая в каждую прореху,
не находя ни в пище, ни в воде,—
шуршащие от ветра и дождя,
с песком в сандалях, исходивших Мекку,
за тем холмом, где в желтой борозде
пылится куст, как мумия гудя,
и ночью видно пьяную комету,
и комнату, и то мгновенье, где
мы будем жить, немного погодя.*

Из книги «Таким образом»
(«Диамант», «Золотой век».
Санкт-Петербург, 2000.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2001 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **...и семь гномов.** Из книги «Далее везде».

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Повесть.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Рассказы, эссе.**

Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни. Деревенские дневники.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛАНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики: Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ, Александр ЯКОВЛЕВ.